ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ

Санкт-Петербург
1997

«...нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто»

Апостол Павел. Послание к римлянам, 14:14

«...только циничное отношение к любви делает ее развратной»

М. Кузмин. Крылья

Анакреонт
Сапфо
Платон
Ксенофонт
Феокрит
Стратон
Цицерон
Катулл
Тибулл
Проперций
Сенека
Петроний
Ахилл Татий
Лукиан
Микеланджело

Монтень
Шекспир
Дидро
Де Сад
Гельдерлин
Лермонтов
Уайльд
Роллан
Зиновьева-Аннибал
Жид
Кузмин
Пруст
Моэм
Георге Ст.

Даниловский
Манн Т.
Цвейг Ст.
Пессоа
Ивнев
Есенин
Парандовский
Уильямс
Кеппен
Пратолини
Кортасар
Болдуин
Эко
Лимонов
Харитонов

ВВЕДЕНИЕ

Предисловие составителя

Любовь всегда любовь, если она подлинная. Что может быть желанней и выше любви человека к человеку? Каждый человек в любом возрасте обладает непреложным естественным правом любить любого человека. Нет и не может быть любви запретной.

Не может быть запретной и любовь людей одного пола.

Существует море специальной литературы, посвященной этому вопросу. В то же время э т а любовь не могла не найти широчайшего отражения в художественной литературе. Речь идет не только об эпизодах. Есть немало поэтических и прозаических шедевров, посвященных гомоэротическим и гомосексуальным отношениям. Величайшие поэты, всемирно известные писатели считали возможным воспеть однополую любовь. Они видели в ней проявление таких же высочайших свойств духа, как и в любви мужчины к женщине. Не принижая последнюю, следует, однако, отметить, что искусство, посвященное гомосексуальной любви, высвечивает такие нюансы и оттенки, какие порой трудно найти в традиционной интимной лирике.

В данной книге представлены тексты корифеев мировой литературы, а не биографии великих гомосексуалистов. В то же время некоторые произведения суть художественно-поэтическое отражение интимной жизненной драмы самого автора.

Составитель стремился привлечь внимание прежде всего к духовной стороне однополой любви, ее человечности, естественности. Думается, книга может убедить, что гомоэротические и гомосексуальные отношения не менее возвышенны и высокодраматичны, чем принятые статистическим большинством.

Думенков В. Н.

Е. В. Харитонов

ЛИСТОВКА

«Мы есть бесплодные гибельные цветы. И как цветы, нас надо собирать в букеты и ставить в вазу для красоты.

Наш вопрос кое в чем похож на еврейский.

Как, например, их гений, по общему антисемитскому мнению, расцветает чаще всего в коммерции, мимикрии, в фельетоне, в художестве без пафоса, в житейском такте, в искусстве выживания, и есть, можно сказать, какие-то сферы деятельности, нарочно созданные ими и для них — так и наш гений процвел, например, в самом пустом кисейном искусстве — балете. Ясно, что нами он и создан. Танец ли это буквально и всякий шлягер, или любое другое художество, когда в основе лежит услада. Как иудейские люди должны быть высмеяны в анекдоте и в сознании всего нееврейского человечества должен твердо держаться образ жида-воробья, чтобы юдофобия не угасала, — иначе, что же помешает евреям занять все места в мире? (и есть поверие, что это и будет концом света) — так и наша легковесная цветочная разновидность с неизвестно куда летящей пыльцой должна быть осмеяна и превращена прямым грубым здравым смыслом простого народа в ругательное слово. Чтобы юные глупые мальчики, пока мужское стремление не утвердилось в них до конца, не вздумали поддаться слабости влюбляться в самих себя. Ибо конечно же, и в этом не может быть (у нас) никаких сомнений, но мысль эта крайне вредна и не должна быть открыто пущена в мир (чтобы не приближать конца света с другой стороны), но это так: все вы — задушенные гомосексуалисты; и правильно, вы должны раз навсегда представить себе это занятие жалким и поганым и вообще его не представлять.

А что все вы — мы, ясно, как Божий день.

Иначе скажите, зачем вы так любите самих себя, то есть человека своего пола в зеркале? Зачем подростки платонически влюблены в главаря дворовой шайки? Зачем немолодые люди смотрят иногда со вздохом на молодых, видя в них себя, какими им уже не бывать? Зачем вы выставляете в Олимпиаду на всемирное любование красивых и юных? Конечно же, в ваших натуральных глазах все это никак не имеет любовного умысла! И не должно иметь! Иначе мир четко поляризуется, страсти полов замкнутся сами на себя и наступят Содом и Гоморра.

Мы как избранные и предназначенные должны быть очерчены неприязненной чертой, чтобы наш пример не заражал.

Наша избранность и назначение в том, чтобы жить одною любовию (неутолимо и бесконечно).

В то время, как вы, найдя смолоду себе друга жизни (подругу), если и заглядываетесь по сторонам и расходитесь, и потом сходитесь с новой, все вы живете в основном в семейном тепле и свободны от ежедневных любовных поисков, свободны для какого-либо дела ума, или ремесла, или хотя бы для пьянства. У нас же, у Цветов, союзы мимолетны, не связаны ни плодами, ни обязательствами. Живя ежечасно в ожидании новых встреч, мы, самые пустые люди, до гроба крутим пластинки с песнями о любви и смотрим нервными глазами по сторонам в ожидании новых и новых юных вас.

Но лучший цвет нашего пустого народа как никто призван танцевать танец невозможной любви и сладко о ней спеть.

Мы втайне правим вкусами мира. То, что вы находите красивым, зачастую установлено нами, но вы об этом не всегда догадываетесь (о чем догадался Розанов). Избегая в жизни многого, что разжигает вас, мы в разные века и времена выразились в своих знаках, а вы приняли их за выражение аскетической высоты или красоты распада, имеющей как будто бы всеобщий смысл.

Уже не говоря о том, что это мы часто диктуем вам моду в одежде, мы же и выставляем вам на любование женщин — таких, каких вы бы по своему прямому желанию, возможно, не выбрали. Если бы не мы, вы бы сильнее склонялись во вкусах к прямому, плотскому, кровопролитному. С оглядкой на нас, но не всегда отдавая себе в этом отчет, вы придали высокое значение игривому и нецелесообразному.

И ясно тоже как Божий день, что именно все изнеженное, лукавое, все ангелы падения, все, что в бусах, бумажных цветах и слезах, все у Бога под сердцем; им первое место в раю и Божий поцелуй. Лучших из наших юных погибших созданий он посадит к себе ближе всех. А все благочестивое, нормальное, бородатое, все, что на земле ставится в пример, Господь хоть и заверяет в своей любви, но сердцем втайне любит не слишком.

Западный закон позволяет нашим цветам открытые встречи, прямой показ нас в художестве, клубы, сходки и заявления прав — но каких? И на что?

В косной морали нашего Русского Советского Отечества свой умысел! Она делает вид, что нас нет, а ее Уголовное уложение видит в нашем цветочном существовании нарушение Закона; потому что чем мы будем заметнее, тем ближе Конец Света.

В. В. Розанов

ТРЕТИЙ ПОЛ

Во всех фактах... христианских и дохристианских мы имеем в зерне дела какое-то органическое, неодолимое, врожденное, свое собственное и невнушенное, отвращение к *совокуплению*, т. е. к соединению *своего* детородного органа с *дополняющим* его детородным органом другого пола. «Не хочу! Не хочу!» — как крик *самой природы*, вот что лежит в основе всех этих, казалось бы, столь противоприродных религиозных явлений. Крик... «самой природы»: и мы должны предположить, что в том как бы мировом котле, где замешивалась каша всемирной сущности, всемирной наличности, уже содержались какие-то элементы этого противоборства, этой противоприродности; что уже там в этом первозданном или, вернее, до-мирозданном котле бурлили *течения и противотечения*, ходили круги кипящей материи туда, сюда, *винтом*, кругообразно, а *отнюдь не по прямой линии*; и когда она застыла и родился *оформленный* мир, — мы так и видим в нем эти застывшие и переданные нам, т. е. *вложенные в природу существ*, движения «туда», «сюда», «винтом» и, словом, *не по прямой линии*. Пол был совершенно ясное или довольно ясное явление, если бы он состоял в периодически совершающемся совокуплении самца и самки для произведения новой особи: тогда это было бы то же, что стихии кислорода и водорода, образующие «в соединении» третье и «новое существо» — *воду*. Но кислород и водород *противотечений* не знают: и если бы мы увидали, что вдруг не частица кислорода, *жадно* соединяясь (как всегда в химическом сродстве) с частицей водорода, — порождают *каплю воды*, а, напротив, частица водорода, которая-нибудь одна и исключительная, вдруг начинает тоже с «жадностью» лезть *на себе подобную частицу* водорода же, убегая с отвращением от дополнительной для себя частицы кислорода, мы сказали бы: «Чудо! *Живое! Индивидуально*-отличное! Лицо!!» *Индивидуум* начался там, где вдруг сказано закону природы: «Стоп! *Не пускаю* сюда!» Тот, кто его не пустил, — и был первым «духом», «*не*-природою», «*не*-механикою». Итак, «лицо» в мире появилось там, где впервые произошло «нарушение закона». Нарушение его как единообразия и постоянства, как нормы и «обыкновенного», как «естественного» и «всеобщеожидаемого».

Тогда нам понятны будут «противоборства» в «котле», как такой процесс, в котором «от века» залагалось такое важное,

универсально-значительное для космоса, универсально-нужное миру начало, как *«лицо, личность*, индивидуализм», как «я» в мире. «Я» борется со всяким не-«я»: суть «я» и заключается в том, чтобы вечно утверждать о себе: «не *вы*», «не *они*». Суть «я» именно в *я*. Это и не добро, и не зло: точнее, «добро» *я* заключается в обособлении, в несмешивании, в противоборстве всему, а «зло» *я* заключается в слабости, в уступчивости, в том, что оно хотя бы ради «гармонии» и для избежания «ссоры» *мирится* с другим, *сливается* с ним. Тогда есть «мораль», но нет *лица:* ну, важно или не важно «лицо» для мира — об этом будут судить уже не одни «моралисты». Без «лица» мир не имел бы сиянья, — шли бы «облака» людей, народов, генераций... И, словом, без «лица» нет *духа и гения*.

Когда мир был сотворен, то он, конечно, был цел, «закончен»: но он был *матовый*. Бог (боги) сказал: «Дадим ему *сверканье*! И сотворили боги — *лицо*.

Я все сбиваюсь говорить по-старому «Бог», когда давно надо говорить *Боги*; ибо ведь их было *два*, *Эло-гим*, а не *Эло-ах* (ед. число). Пора оставлять эту навеянную нам богословским недомыслием ошибку. Два Бога — *мужская* сторона Его, и сторона *женская*. Эта последняя есть та «Вечная Женственность», мировая женственность, о которой теперь начали говорить повсюду. «По образу и подобию Богов (Элогим) сотворенное», все и стало или «мужем», или «женой», «самкой» или «самцом», от яблони и до человека. «Девочки» — конечно, в Отца Небесного, а мальчики — в Матерь Вселенной! Как и у людей: дочери — в отца, сыновья — в мать...

Предположение, что *пол* есть «цельная величина» и вообще *не* «текущее», породило ожидание, что всякий самец хочет самки и всякая самка хочет самца; ожидание, до того всеобщее, что оно перешло и в требование: «всякий самец *да пожелает* своей самки» и «всякая самка *да пожелает* себе самца»... «Оплодотворяйтесь и множитесь», конечно, это включает. Но навсегда останется тайной, отчего же при *универсальном* «оплодотворяйтесь», «множитесь», данном *всей* природе, *один* человек был создан в единичном лице *Адама*! Изумление еще увеличится, если мы обратим внимание, что позднее из Адама вышла Ева, «мать жизни» (по-еврейски — «мать жизней», яйценосная, живородящая «ad infinitum»), т. е. в существе Адама *скрыта была и Ева*, будившая в нем грезы о «подруге жизни»... Адам, «по образу и подобию Божию сотворенный», был в скрытой полноте своей *Адамо-Евою, и* самцом, и (in potentia), самкою, кои *разделились*, и это — было *сотворением Евы*, которою, как мы знаем, закончилось творение новых

тварей. «Больше нового не будет». Ева была *последней* новизной *в мире*, последней и *окончательной новизной*.

Лишь в силу всеобщего ожидания «всякий самец хочет самки» и т. д. образовалось и ожидание, что самые спаривания самцов и самок имеют течь «с правильностью обращения Луны вокруг Солнца» или по типу «соединяющихся кислорода и углерода» *без исключения*. Но все живое, начиная от грамматики языков, имеют «исключения»: и пол, т. е. начало *жизни*, был бы просто *не жив*, если бы он не имел в себе «исключений», и, конечно, тем более, чем он более жив, жизнен, жизнеспособен, животворящ... Не все знают, что уже в животном мире встречаются, но лишь в более редком виде, решительно все или почти все «уклонения», какие отмечены и у человека; у человека же, можно сказать, нельзя найти двух самочных пар, которые совокуплялись бы «точка в точку» одинаково. «Сколько почерков — столько людей», или наоборот: и совершенно *дико* даже ожидать, что если уж человек так *индивидуализирован* в столь ничтожной и не представляющей интереса и нужды вещи, как почерк, — чтобы он не был индивидуализирован также в совокуплениях. Конечно, «сколько людей — столько *лиц, обособлений* в течение половой жизни». Это не только всеобщее «так»: но было бы порочно, преступно, «нищелюбиво» и «нищеобразно», и совершенно уродливо, если бы это не было «так». Всякий «творит совокупление *по своему* образу и подобию», решительно не повторяя никого и совершенно не обязанный никому вторить: как в почерке, как в чертах лица...

«Всеобщее ожидание» в области, где вообще нет и *не должно* быть «всеобщего», породило ропот, осуждение, недовольство, пересуды: «Отчего та *пара* совокупляется не так, как *все*», причем разумеется собственно — «не так, как Я»... Ответ на это многообразен: «Да *вы*-то в точь ли в точь живете так, как *все*?» или: «Я не живу, как *вы*, по той причине, по которой вы не живете так, как *я*». Но, в итоге, эти «всеобщие ожидания», присмотревшись к которым можно заметить, что самых-то «ожиданий» столько, сколько людей, но только это особенное в каждом затаено про себя, — они породили давление *морального закона* там, где в общем его не может быть, так как вся-то область эта — *биологическая*, и не «моральная», и не *анти*-«моральная», а просто *своя*, «другая». Моральный закон, неправо вторгнувшись в не свою область, расслоил совокупления на «нормальные», т. е. ожидаемые, и «не нормальные», т. е. «не желаемые», причем эти «не желаемые» не желаются теми, которые их не желают, и в высшей степени желаются теми, которые их желают и в таком случае исполняют.

АНАКРЕОНТ

Анакреонт (ок. 570—487 гг. до н.э.) — древнегреческий поэт. Основные мотивы лирики Анакреонта, дошедшей до нас в незначительных фрагментах, — чувственная любовь, вино, беззаботная жизнь. Стихи на эти темы получили название анакреонтических.

О дитя с взглядом девичьим,
Жду тебя, ты же глух ко мне:
Ты не чуешь, что правишь мной, —
Правишь, словно возница.

САПФО

Сапфо (Сафо) — древнегреческая поэтесса 1-й пол. 6 в. до н. э. Родилась и жила на острове Лесбос. Основные темы ее поэзии — любовь к подругам и их красота, привязанности и горе разлуки.

Я к тебе взываю, Гонгила, — выйди
К нам в молочно-белой одежде!
Ты в ней так прекрасна. Любовь порхает
    Вновь над тобою.
Всех, кто в этом платье тебя увидит,
Ты в восторг приводишь. Я так рада!
Ведь самой глядеть на тебя завидно
    Кипророжденной!
К ней и молюсь я...

* * *

Мнится, легче разлуки смерть, —
Только вспомню те слезы в прощальный час,
Милый лепет и жалобы:
«Сапфо, Сапфо! Несчастны мы!
Сапфо! Как от тебя оторваться мне?»
Ей в ответ говорила я:
«Радость в сердце домой неси!
С нею — память! Лелеяла я тебя.
Будешь помнить?.. Припомни все
Невозвратных утех часы, —
Как с тобою красотой услаждались мы.
Сядем вместе, бывало, вьем
Из фиалок и роз венки,
Вязи вяжем из пестрых первин лугов, —
Нежной шеи живой убор,

Ожерелья душистые, —
Всю тебя, как Весну, уберу в цветы.
Мирром царским волну кудрей,
Грудь облив благовоньями,
С нами ляжешь и ты — вечерять и петь
И прекрасной своей рукой
Пирный кубок протянешь мне:
Хмель медвяный подруге я в кубок лью...»

* * *

Стоит лишь взглянуть на тебя, — такую
Кто же станет сравнивать с Гермионой!
Нет, тебя с Еленой сравнить не стыдно
Золотокудрой,
Если можно смертных равнять с богиней...

К ЖЕНЩИНАМ

Им сказала: женщины, круг мне милый,
До глубокой старости вспоминать вам
Обо всем, что делали мы совместно
В юности светлой.
Много мы прекрасного и святого
Совершили. Только во дни, когда вы
Город покидаете, изнываю,
Сердцем терзаясь.

* * *

У меня ли девочка
Есть родная, золотая,
Что весенний златоцвет —
Милая Клеида!
Не отдам ее за все
Золото на свете.

КСЕНОФОНТ

Ксенофонт Афинский (430 до н. э. — 355 или 354 гг. до н.э.) — древнегреческий писатель и историк, один из самых популярных авторов древности. Принадлежал к аристократическим слоям. Ученик Сократа. После падения олигархии Тридцати тиранов принял участие в походах Кира Младшего против его брата, царя Персии Артаксеркса II (401). Отступление греческого войска после гибели Кира описал в сочинении «Анабасис». С аристократических позиций дал описание событий, происходивших в Греции с 411 по 362 гг., в 7-ми книгах «Греческой истории». Огромной популярностью до сих пор пользуется триада «Сократических сочинений» Ксенофонта («Апология Сократа», «Воспоминания о Сократе» и «Пир»), посвященная изложению философии Сократа. Ряд произведений посвящены военным и экономическим вопросам («Киропедия», «Агесилай» и др.)

ПИР

Рассуждение Сократа об Эроте и о превосходстве любви духовной

Сиракузянин вышел и занялся приготовлениями, а Сократ опять завел новый разговор.

— Не следует ли нам, друзья, — сказал он, — вспомнить о великом боге, пребывающем у нас, который по времени ровесник присносущим богам, а по виду всех моложе, который своим величием объемлет весь мир, а помещается в душе человека, — об Эроте, тем более, что все мы почитатели его? Я со своей стороны не могу указать времени, когда бы не был в кого-нибудь влюблен; наш Хармид, как мне известно, имеет много влюбленных в него,

а к некоторым он и сам чувствует страсть; Критобул, хоть и любим, уже чувствует страсть к другим. Да и Никерат, как я слышал, влюблен в свою жену, которая сама влюблена в него. Про Гермогена кому из нас неизвестно, что он изнывает от любви к высокой нравственности, в чем бы она ни заключалась? Разве вы не видите, как серьезны у него брови, недвижим взор, умеренны речи, мягок голос, как светло все его существо? И, пользуясь дружбой высокочтимых богов, он не смотрит свысока на нас, людей! А ты, Антисфен, один ни в кого не влюблен?

— Клянусь богами, — отвечал Антисфен, — очень даже — в тебя!

Сократ шутливо, как бы заигрывая, сказал:

— Нет, теперь, в такое время, не приставай ко мне: ты видишь, я другим занят.

Антисфен отвечал:

— Как откровенно ты, сводник себя самого, всегда поступаешь в таких случаях! То ссылаешься на голос бога, чтобы не разговаривать со мною, то у тебя есть какое-то другое дело!

— Ради богов, Антисфен, — сказал Сократ, — только не бей меня; а твой тяжелый характер во всем остальном я переношу и буду переносить по-дружески. Однако будем скрывать от других твою любовь, тем более, что она — любовь не к душе моей, а к красоте.

— А что ты, Каллий, влюблен в Автолика, весь город это знает, да многие, думаю, из приезжих. Причина этого та, что оба вы — дети славных отцов и сами — люди видные. Я всегда был в восторге от тебя, а теперь еще гораздо больше, потому что вижу, что предмет твоей любви — не утопающий в неге, не расслабленный ничегонеделаньем, но всем показывающий силу, выносливость, мужество и самообладание. А страсть к таким людям служит

показателем натуры влюбленного. Одна ли Афродита, или две — небесная и всенародная, — не знаю: ведь и Зевс, по общему признанию один и тот же, имеет много прозваний; но, что отдельно для той и другой воздвигнуты алтари и храмы и приносятся жертвы, — для всенародной менее чистые, для небесной более чистые, — это я знаю. Можно предположить, что и любовь к телу — насылает всенародная, а к душе, к дружбе, к благородным подвигам — небесная. Этой любовью, мне кажется, одержим и ты, Каллий. Так сужу я на основании высоких качеств твоего любимца, а также по тому, что, как вижу, ты приглашаешь отца его на свои свидания с ним: конечно, у нравственно любящего нет никаких таких тайн от отца.

— Клянусь Герой, — заметил Гермоген, — многое в тебе, Сократ, приводит меня в восторг, между прочим и то, что теперь ты, говоря комплименты Каллию, в то же время учишь его, каким ему следует быть.

— Да, клянусь Зевсом, — отвечал Сократ, — а чтобы доставить ему еще больше радости, я хочу доказать ему, что любовь к душе и выше гораздо любви к телу. В самом деле, что без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности, это мы все знаем. А кто восхищается духовной стороной, у тех дружба называется приятной и добровольной потребностью; напротив, кто чувствует вожделение к телу, из тех многие бранят и ненавидят нрав своих любимцев; если же и полюбят и тело и душу, то цвет юности скоро, конечно, отцветает; а когда он исчезнет, необходимо должна с ним увянуть и дружба; напротив, душа все время, пока шествует по пути большей разумности, становится все более достойной любви. Далее, при пользовании внешностью бывает и некоторое пресыщение, так что по

отношению к любимому мальчику необходимо происходит то же, что по отношению к кушаньям при насыщении; а любовь к душе по своей чистоте не так скоро насыщается, однако по этой причине она не бывает менее приятной; нет, тут явно исполняется молитва, в которой мы просим богиню даровать нам приятные и слова и дела. И действительно, что восхищается любимцем и любит его душа, цветущая изящной внешностью и нравом скромным и благородным, которая способна уже среди сверстников первенствовать и отличается любезностью, — это не нуждается в доказательстве; а что такой любящий естественно должен пользоваться взаимной любовью и со стороны мальчика, я и это докажу. Так, прежде всего, кто может ненавидеть человека, который, как ему известно, считает его высоконравственным? Который, как он видит, о нравственности мальчика заботится больше, чем о своем собственном удовольствии? Если, сверх того, он верит, что дружба с его стороны не уменьшится, когда его юность пройдет или когда он от болезни потеряет красоту? А если люди взаимно любят друг друга, разве не станут они смотреть один на другого с удовольствием, разговаривать с благожелательностью, оказывать доверие друг к другу, вместе радоваться при счастливых обстоятельствах, вместе горевать, если постигнет какая неудача, радостно проводить время, когда они находятся вместе здоровыми, а если который заболеет, находиться при нем еще более неотлучно, в отсутствии заботиться друг о друге еше более, чем когда оба присутствуют? Все это разве не приятно? Благодаря таким поступкам они любят эту дружбу и доживают до старости с нею. А того, кто привязан только к телу, за что будет любить мальчик? За то, что он себе берет что ему хочется, а мальчику оставляет стыд

2 Заказ 773

и срам? Или за то, что, стремясь добиться от мальчика цели своих желаний, он старательно удаляет от него близких людей? Да и за то даже, что он действует на него не насилием, а убеждением, даже и за это он заслуживает скорее ненависти: ведь кто действует насилием, выставляет себя в дурном свете, а кто действует убеждением, развращает душу убеждаемого. Но даже и тот, кто за деньги продает свою красоту, за что будет любить покупателя больше, чем торговец на рынке? Конечно, и за то, что он, цветущий, имеет дело с отцветшим, красивый — с уже некрасивым, с влюбленным — невлюбленный, и за это он не будет любить его. И действительно, мальчик не делит с мужчиной, как женщина, наслаждения любви, а трезво смотрит на опьяненного страстью. Поэтому нисколько не удивительно, что в нем появляется даже презрение к влюбленному. Если присмотреться, то найдешь, что от тех, кого любят за нравственные качества, не исходит никакого зла, а от бесстыдной связи бывает много преступлений. Теперь я покажу, что для человека, любящего тело больше души, эта связь и унизительна. Кто учит говорить и поступать, как должно, имеет право пользоваться уважением, как Хирон и Финик со стороны Ахилла; а вожделеющий тела, конечно, будет ходить около него, как нищий: да, он всегда следует за ним, просит милостыню, всегда ему нужен еще или поцелуй или другое какое прикосновение. Не удивляйтесь, что я выражаюсь слишком грубо: вино побуждает меня, и всегдашний мой сожитель Эрот подгоняет меня, чтобы я говорил откровенно против враждебного ему Эрота. И в самом деле, человек, обращающий внимание только на наружность, мне кажется, похож на арендатора земельного участка: он заботится не о том, чтобы возвысить его ценность, а о том, чтобы

самому собрать с него как можно больший урожай. А кто жаждет дружбы, скорее похож на собственника именья: он отовсюду приносит, что может, и возвышает ценность своего любимца. То же бывает и с любимцами: мальчик, знающий, что, отдавая свою наружность, он будет властвовать над влюбленным, естественно, будет относиться ко всему остальному без внимания. Напротив, кто понимает, что, не будучи нравственным, он не удержит дружбу, тот должен более заботиться о добродетели. И действительно, если он сам поступает дурно, не может он близкого ему человека сделать хорошим, и, если он являет собой пример бесстыдства и неумеренности, не может он своему любимцу внушить умеренность и стыд. Я хочу тебе показать, Каллий, также и на основании примеров из мифологии, что не только люди, но и боги и герои любовь к душе ставят выше, чем наслаждение телом. Зевс, например, влюбляясь в прелести смертных женщин, после сочетания с ними оставлял их смертными; а в ком он восторгался добродетелями души, делал бессмертными; к числу их принадлежат Геракл и Диоскуры, да и другие, как говорят. Я тоже утверждаю, что и Ганимеда Зевс унес на Олимп не ради тела, но ради души. В пользу этого говорит и его имя: у Гомера есть выражение:

«ganytai de t'akoyon» —

это значит: «радуйся слушая». А где-то в другом месте есть такое выражение:

«pykina phresi medea eidos» —

это имеет смысл: «зная в уме мудрые мысли». Как видно из этих двух мест, Ганимед получил почет среди богов не потому, что был назван «радующий телом», но «радующий мыслями». Затем Никерат, и Ахилл, как говорит Гомер, с такой славой отомстил

за смерть Патрокла не как предмета любви, а как друга. Равным образом, Орест, Пилад, Фесей, Пирифой и многие другие доблестнейшие полубоги, по словам поэтов, совершали сообща такие великие и славные подвиги не потому, что спали вместе, а потому, что высоко ценили друг друга. А что? Не окажется ли, что и теперь все славные деяния совершают ради хвалы люди, готовые трудиться и подвергаться опасностям, более, чем люди, привыкшие предпочитать удовольствие славе? Правда, Павсаний, влюбленный в поэта Агафона, говорит в защиту погрязших в невоздержании, что и войско из влюбленных и любимых было бы очень сильно, потому что, сказал он, по его мнению, они более всего стыдились бы покидать друг друга. Странное мнение, будто люди, привыкшие относиться равнодушно к осуждению и быть бесстыдными друг перед другом, будут больше всех стыдиться какого-либо позорного поступка! В доказательство он приводит то, что также фиванцы и элейцы держатся этого мнения: по крайней мере, хотя любимые мальчики и спят с ними, они ставят их около себя во время сражения. Однако это — совершенно неподходящее доказательство. У них это законно, а у нас предосудительно. Мне кажется, люди, ставящие их около себя, как будто не надеются, что любимцы, находясь отдельно, будут совершать геройские подвиги. Спартанцы, напротив, убежденные, что человек, хоть только вожделеющий тела, не способен уже ни на какой благородный подвиг, делают из своих любимцев таких идеальных героев, что если они стоят в строю даже с чужеземцами, не в одном городе с любящим, все-таки стыдятся покидать товарищей: они признают богиней не Бесстыдство, а Стыдливость. Мне кажется, мы все можем прийти к мнению о предмете моей речи, если рассмотрим вопрос так:

при какой любви можно скорее доверить мальчику деньги или детей либо оказывать ему благодеяния в надежде на оплату с его стороны? Я со своей стороны думаю, что даже тот самый, кто пользуется наружностью любимца, скорее доверил бы все это достойному любви по душе. А твой долг, Каллий, думается мне, быть благодарным также и богам за то, что они внушили тебе любовь к Автолику. Что он честолюбив, это очевидно вполне, коль скоро он готов переносить много трудов, много мук для того, чтобы глашатай объявил его победителем в панкратии. А если он мечтает не только быть украшением себе и отцу, но получить возможность благодаря своим высоким нравственным качествам делать добро друзьям, возвеличить отечество, воздвигая трофеи по поводу побед над врагами, и через это стать известным и славным среди эллинов и варваров, то неужели ты думаешь, что он тому самому, в ком видит лучшего помощника в этом, не станет оказывать величайшее уважение? Таким образом, если хочешь ему нравиться, надо смотреть: какого рода знания дали Фемистоклу возможность освободить Элладу; смотреть, какого рода сведения доставили Периклу славу лучшего советника отечеству; надо исследовать также, какие философские размышления помогли Солону дать такие превосходные законы нашему городу; надо доискаться, наконец, какие упражнения способствуют спартанцам иметь репутацию лучших военачальников: ты — их проксен, и у тебя всегда останавливаются лучшие их представители. Поэтому город скоро доверил бы тебе руководство своими делами, если ты хочешь, будь в этом уверен. У тебя имеются очень важные качества для этого: ты — знатного рода, ты — жрец богов эрехфеевых, которые вместе с Иакхом ополчились против варваров, и теперь на празднике ты

считаешься из всех своих предков достойнейшим священного сана; собою ты красивее всех на взгляд в городе; у тебя достаточно сил переносить труд. Если вам кажется, что я говорю слишком серьезно для беседы за вином, не дивитесь и этому; я, наравне с другими горожанами, всегда влюблен в людей, одаренных от природы хорошими задатками и считающих для себя честью стремление к добродетели.

Начались разговоры по поводу этой речи, а Автолик не сводил глаз с Каллия. Каллий, искоса поглядывая на него, сказал:

— Итак, Сократ, ты будешь сводником между мною и городом, чтобы я занимался общественными делами и был всегда в милости у него?

— Да, клянусь Зевсом, — отвечал Сократ, — ты будешь таким, если граждане увидят, что ты не для вида только, а на самом деле стремишься к добродетели. Ложная слава скоро разоблачается опытом, а истинная добродетель, если бог не препятствует, своими деяниями приобретает себе все больший блеск славы!

ПЛАТОН

Платон (428 или 427 до н. э. — 348 или 347 до н. э.) — древнегреческий философ. Аристократ по происхождению. До встречи с Сократом занимался спортом, изучал искусство, сочинял стихи. Встретив Сократа и став его учеником, бросил занятия художественным творчеством, всецело посвятив себя философии. После смерти Сократа путешествовал. Затем в Афинах основал философскую школу, вошедшую в историю под наименованием Академия. Почти все сочинения Платона написаны в форме диалога, отличающегося высокими художественными достоинствами. В историю мировой художественной культуры Платон вошел не только как гениальный писатель и философ — основоположник объективного идеализма, но и как эстетик. В философии Платона красота рассматривается как абсолютное единство тела, души и разума, идеального и материального. При этом, познание не отделяется от любви, а любовь — от красоты (диалоги «Пир», «Федр»).

* * *

Душу свою на губах я почувствовал, друга целуя:
Бедная, верно, пришла, чтоб перелиться в него.

АСТЕРУ

1

Ты на звезды глядишь, о звезда моя!
Быть бы мне небом,
Чтоб мириадами глаз мог я глядеть на тебя.

2

Ты при жизни горел средь живущих денницей,
Астер мой,
Ныне вечерней звездой ты средь усопших горишь.

* * *

Стоило мне лишь однажды назвать Алексея
красавцем,
Как уж прохода ему нет от бесчисленных глаз;
Да, неразумно собакам показывать кость!
Не таким ли образом я своего Федра
навек потерял?

ПИР

...Эрот Афродиты пошлой поистине пошл и способен на что угодно; это как раз та любовь, которой любят люди ничтожные. А такие люди любят, во-первых, женщин не меньше, чем юношей; во-вторых, они любят своих любимых больше ради их тела, чем ради души, и, наконец, любят они тех, кто поглупее, заботясь только о том, чтобы добиться своего, и не задумываясь, прекрасно ли это. Вот почему они и способны на что угодно — на хорошее и на дурное в одинаковой степени. Ведь идет эта любовь как-никак от богини, которая не только гораздо моложе другой, но и по своему происхождению причастна и к женскому и к мужскому началу. Эрот же Афродиты небесной восходит к богине, которая, во-первых, причастна только к мужскому началу, но никак не к женскому, — недаром это любовь к юношам, — а во-вторых, она старше и чужда преступной дерзости. Поэтому-то одержимые такой любовью обращаются к мужскому полу, отдавая предпочтение тому, что сильней от природы и наделено большим умом...

...если учесть, что, по общему мнению, лучше любить открыто, чем тайно, юношей достойных и благородных, хотя бы они были и не так хороши

собой; если учесть, далее, что влюбленный встречает у всех удивительное сочувствие и ничего зазорного в его поведении никто не видит, что победа в любви — это, по общему мнению, благо, а поражение — позор; что обычай не только оправдывает, но одобряет любые уловки домогающегося победы поклонника, даже такие, которые, если к ним прибегнешь ради другой цели, наверняка вызовут всеобщее осуждение... если учесть, наконец, — и это самое поразительное, — что, по мнению большинства, боги прощают нарушение клятвы только влюбленному, поскольку, мол, любовная клятва — это не клятва, и что, следовательно, по здешним понятиям, и боги и люди предоставляют влюбленному любые права, — если учесть все это, вполне можно заключить, что любовь и благоволение к влюбленному в нашем государстве считается чем-то безупречно прекрасным.

...ни одно действие не бывает ни прекрасно, ни безобразно само по себе: если оно совершается прекрасно — оно прекрасно, если безобразно — безобразно. Безобразно, стало быть, угождать низкому человеку, и притом угождать низко, но прекрасно — и человеку достойному и достойнейшим образом. Низок же тот пошлый поклонник, который тело любит больше, чем душу; он к тому же и непостоянен, поскольку непостоянно то, что он любит. Стоит лишь отцвести телу, а тело-то он любит и любил, как он «упорхнет, улетая», посрамив все свои многословные обещания. А кто любит за высокие нравственные достоинства, тот остается верен всю жизнь, потому что он привязывается к чему-то постоянному.

...если поклонника, как бы рабски ни служил он по своей воле предмету любви, никто не упрекнет в позорном угодничестве, то и другой стороне

остается одна непозорная разновидность добровольного рабства, а именно рабства во имя совершенствования.

И в самом деле, если кто-нибудь оказывает кому-нибудь услуги, надеясь усовершенствоваться благодаря ему в какой-либо мудрости или в любой другой благодетели, то такое добровольное рабство не считается у нас ни позорным, ни унизительным. Так вот, если эти два обычая — любви к юношам и любви к мудрости и всяческой добродетели свести к одному, то и получится, что угождать поклоннику — прекрасно. Иными словами, если поклонник считает нужным оказывать уступившему ему юноше любые, справедливые, по его мнению, услуги, а юноша, в свою очередь, считает справедливым ни в чем не отказывать человеку, который делает его мудрым и добрым, и если поклонник способен сделать юношу умнее и добродетельнее, а юноша желает набраться образованности и мудрости, — так вот, если оба они сходятся на этом, только тогда угождать поклоннику прекрасно, а во всех остальных случаях — нет.

...каждый из нас — это половинка человека, рассеченного на две камбалоподобные части, — и поэтому каждый ищет всегда соответствующую ему половину. Мужчины, представляющие собой одну из частей этого двуполого прежде существа, которое называлось андрогином, охочи до женщин, и блудодеи в большинстве своем принадлежат именно к этой породе, а женщины такого происхождения падки до мужчин и распутны. Женщины же, представляющие собой половинку прежней женщины, к мужчинам не очень расположены, их больше привлекают женщины, и лесбиянки принадлежат именно к этой породе. Зато мужчин, представляющих собой половинку прежнего мужчины, влечет ко всему

мужскому: уже в детстве, будучи дольками существа мужского пола, они любят мужчин, им нравится лежать и обниматься с мужчинами. *Это самые лучшие из мальчиков и юношей*, ибо от природы они самые мужественные. Некоторые, правда, называют их бесстыдными, но это заблуждение: ведут себя они так не по своему бесстыдству, а по своей смелости, мужественности и храбрости, из пристрастия к своему подобию. Тому есть убедительное доказательство: в зрелые годы такие мужчины обращаются к государственной деятельности. Возмужав, они любят мальчиков, и у них нет природной склонности к деторождению и браку; к тому и другому их принуждает обычай, а сами они вполне довольствовались бы сожительством друг с другом без жен. Питая всегда пристрастие к родственному, такой человек непременно становится любителем юношей и другом влюбленных в него.

ФЕДР

...когда кто-нибудь смотрит на здешнюю красоту, припоминая при этом красоту истинную, он окрыляется, а окрылившись, стремится взлететь; но, еще не набрав сил, он наподобие птенца глядит вверх, пренебрегая тем, что внизу, — это и есть причина его неистового состояния. Из всех видов исступленности эта — наилучшая, уже по самому своему происхождению, как для обладающего ею, так и для того, кто ее с ним разделяет. Причастный к подобному неистовству, любитель прекрасного называется влюбленным.

...душа влюбленного следует за любимцем со стыдом и боязнью. Тот, кто не прикидывается влюбленным, а подлинно это переживает, чтит его

всячески как богоравного. Да и сам юноша по природе своей — друг почитателю. Если раньше его осуждали его школьные товарищи или еще кто-нибудь, говоря, что постыдно сближаться с влюбленным, и поэтому он отталкивал влюбленного, то с течением времени юный возраст и неизбежность приведут его к этому общению.

Ведь нет такого определения судьбы, чтоб дурной дурному был другом, а хороший хорошему — нет. Когда юноша допустит до себя влюбленного, вступит с ним в разговор и общение, близко увидит его благосклонность, он бывает поражен: он замечает, что дружба всех его близких и других его друзей вместе взятых, ничего не значит в сравнении с его боговдохновенным другом. Он постепенно сближается с влюбленным, соприкасается с ним в гимнасиях и в других собраниях, и тогда поток того истечения, которое Зевс, влюбленный в Ганимеда, назвал влечением, обильно изливаясь на влюбленного, частью проникает в него, а частью, когда он уже переполнен, вытекает наружу. Как дуновение или звук, отраженный гладкой и твердой поверхностью, снова несутся туда, откуда они исходили, так и поток красоты снова возвращается в красавца через очи, то есть другим путем, по которому ему свойственно проникать в душу, теперь уже окрыленную; он орошает проходы крыльев, вызывает их рост и наполняет любовью душу возлюбленного.

Он любит, но не знает, что именно. Он не понимает своего состояния и не умеет его выразить; наподобие заразившегося от другого глазной болезнью, он не может найти ее причину — от него утаилось, что во влюбленном, словно в зеркале, он видит самого себя; когда тот здесь, у возлюбленного, как и у него самого, утишается боль, когда его нет, возлюбленный тоскует по влюбленному так же, как

тот по нему: у юноши это всего лишь подобие, отображение любви, называет же он это, да и считает, не любовью, а дружбой. Как и у влюбленного, у него тоже возникает желание — только более слабое — видеть, прикасаться, целовать, лежать вместе, и в скором времени он, естественно, так и поступает. Когда они лежат вместе, безудержный конь влюбленного находит, что сказать возничему, и просит хоть малого наслаждения в награду за множества мук. Зато конь любимца не находит, что сказать; в волнении и смущении обнимает тот влюбленного, целует, ласкает его, как самого преданного друга, а когда они лягут вместе, он не способен отказать влюбленному в его доле наслаждения, если тот об этом просит.

...им назначена светлая жизнь и дано быть счастливыми, вместе странствовать и благодаря любви стать одинаково окрыленными, когда придет срок.

ФЕОКРИТ

Феокрит (конец 4 в. — 1-я половина 3 в. до н. э.) — древнегреческий поэт. Родился в Сиракузах (Сицилия). Является основоположником поэтического жанра ***идиллия****. В центре стихов Феокрита — образ пастуха, томящегося любовью.*

Дафнис, ты дремлешь, устав, на земле,
на листве прошлогодней,
Только что ты на горах всюду расставил силки.
Но сторожит тебя Пан, и Приап заодно
с ним подкрался,
Ласковый лик свой обвил он золотистым плющом.
Вместе в пещеру проникли. Скорее беги, скорее,
Сбросивши разом с себя сон, что тебя разморил.

СТРАТОН

Древнегреческий автор
II века до н. э.

РАЗНОВИДНОСТИ ЧЛЕНОВ

Три, Диодор, вида членов у мальчика есть,
из них каждый
Носит названье свое. Знай же об этом и ты:
Если не тронут еще, называется словом он «лалу».
При становлении он словом «коко» наречен.
«Ящеркой» называется тот, что тревожим руками, —
Этим же словом и твой следует, мальчик, назвать.

ЭПИЗОД В БАНЕ

Если в купальне ужалила жаром скамья зад Графика,
Что ж я тогда претерпел! —
Крепче мой дерева стал!

ПОЦЕЛУЙ ЮНОШИ

Не убегай от любви, о Филократ! Сам Эрос способен
Сердце мое растопить неугасимым огнем, —
Лучше отверзни уста для моих поцелуев! С годами
Милость подобную ты будешь просить у других.

ПРИОБЩЕНИЕ К ЛЮБВИ

Зевс, я поклялся тебе: никому, никогда
не признаюсь,
Даже себе самому, чем меня Теврес привлек.
Но в ликовании своем мое сердце, парившее в небе,
Больше не может уже радость пришедшую скрыть.
Зевс-отец, о прости меня, признаюсь: был моим он,
В первый раз в жизни свое высшее счастье
познал!

ЦИЦЕРОН

Марк Туллий Цицерон (106 до н. э. – 43 до н. э.) – древнеримский политический деятель, оратор, писатель. Принадлежал к сословию всадников, сенатор. Был в оппозиции к диктатуре Суллы. Прославился политическими речами в поддержку Помпея, раскрытием заговора Катилины, филиппиками против Марка Антония. Автор многих политических и судебных речей, 19 трактатов по риторике, политике, философии.

О ДРУЖБЕ

...Крепкая дружба... может утвердиться лишь тогда, когда люди, связанные взаимной привязанностью, научатся владеть своими страстями, а не служить им рабски, как другие, установят между собой полное равенство и справедливость, готовы будут для друга на все, зная, что потребовать он может лишь того, что честно и законно, — словом, когда они станут не только ценить и любить друг друга, но и друг перед другом стыдиться. Ибо там, где не испытываешь к другу высокого почтения, заставляющего стыдиться каждого дурного поступка, дружба лишается прекраснейшего своего украшения. Самое пагубное заблуждение – думать, будто в дружбе можно давать волю всем своим вожделениям и дурным наклонностям. Природа создала ее спутницей доблести, а не пособницей пороков, породила ее на свет, чтобы доблестная душа, соединившись с себе подобной, могла подняться на вершины, которых она в одиночестве достичь не в силах. И если у кого есть друзья, кто ведал дружбу в прошлом

или изведает дружбу в ее будущем, тот получит от природы самых лучших и прекрасных провожатых на пути к высшему благу. В таком содружестве заключается все, к чему, по общему мнению, надлежит стремиться — добродетель, слава, спокойствие души, безмятежное веселье; и жизнь человека, у которого все это есть, полна счастья, а тот, кто этого не изведал, вообще не жил. Если же высшее и подлинное благо заключено здесь и если именно его мы хотим добиться, то для этого и нужно в первую голову стремиться к доблести, так как без нее нет ни дружбы, ни всего остального, что должно желать. Те же, кто полагает, будто и без нее есть у них друзья, на горьком опыте поймут, насколько они ошиблись. Вот почему — и это следует повторить почаще — надо судить человека, прежде чем полюбил его, ибо полюбив, уже не судят. Мы же во многих делах позволяем себе быть небрежными, а тем пуще в выборе друзей и в отношениях с ними: здесь-то мы и бываем, как говорит старая пословица, задним умом крепки и стараемся переделать сделанное: когда повседневная близость и взаимные услуги завели нас слишком далеко, мы вдруг на что-нибудь обижаемся и внезапно рвем сложившиеся было дружеские связи.

В выборе друзей небрежность еще предосудительнее, чем в любом другом деле. Из всего, что дано человеку, только дружбу все в один голос признают благом. Многие осуждают самую доблесть, видя в ней бахвальство и что-то показное: многие презирают богатство и, довольные малым, находят радость в жизни легкой и простой; есть люди, которых томит жажда почестей, а ведь, на иной взгляд, нет ничего более вздорного и пустого! Так и во всех остальных делах — то, что у некоторых вызывает восхищение, большинство и в грош не

3 Заказ 773

ставит. Об одной лишь дружбе все судят одинаково — и те, кто занят делами государства, и те, кто черпает радость в науках и учении, и те, которые своим единственным делом почитают безделье, и те, наконец, кто с головой ушел в наслаждения, — все считают, что без дружбы нет жизни, по крайней мере такой, которая хоть в чем-то была бы достойна свободного человека. Неведомыми путями прокладывает себе дружба путь в жизни каждого, и ни одному возрасту не дано обойтись без нее. Даже тот, кого собственный суровый и дикий нрав заставляет, как некоего афинянина Тимона, ненавидеть людей и бежать их общества, и тот не в силах обойтись без человека, перед которым он мог бы излить всю желчь и горечь. Это стало бы еще очевиднее, если бы могло случиться так, что какой-то бог восхи́тил нас из общества людей, перенес в пустыню и, щедро снабдив всем, чего требует наша природа, навсегда лишил возможности видеть себе подобных. Найдется ли железный человек, способный выдержать такое существование и не лишиться в одиночестве всякой радости жизни. Поэтому-то и справедливы слова, которые любил повторять, кажется, тарентинец Архит — я слышал их от наших стариков, а те от других, живших еще раньше: «Если бы кто, взойдя один на небо, охватил взором изобилие вселенной и красоту тел небесных, то созерцание это не принесло бы ему никакой радости; и оно же исполнило бы его восторга, если бы было кому рассказать обо всем увиденном». Природа не выносит одиночества, каждый стремится найти опору в другом, и чем милее нам этот другой, тем опираться на него слаще…

КАТУЛЛ

Гай Валерий Катулл (ок. 87—ок. 54 до н. э.)—римский лирический поэт. Родился в Вероне. Испытал влияние Александрийской поэтической школы. Идеальный мир любви и дружбы противопоставляется миру житейской прозы. Основные жанры творчества лирическое стихотворение, эпиграмма, послание, эпиталама. Творчество Катулла оказало благотворное влияние на развитие европейской лирики.

* * *

Милый птенчик, любовь моей подружки!
На колени приняв, с тобой играет
И балует она и милый пальчик
Подставляет для яростных укусов.
Когда так, моя прелесть, жизнь, отрада
Забавляется, бог весть как, смеется,
Чтобы найти утешеньице в заботах,
Чтобы страсть (знаю — страсть!) не так пылала,
Тут и я поиграть с тобой хотел бы,
Чтоб печаль отлегла и стихло сердце.

* * *

Если только я тебе не в тягость,
То открой мне, прошу, куда ты скрылся.
Я тебя искал на Малом поле,
Был и в цирке, был и в книжных лавках,
Был и в храме Юпитера священном.
Я бродил под портиком Помпея,
Всех там останавливал девчонок,
Но они ни капли не смущались.
Я просил их: «Тотчас же верните
Мне Камерия, гадкие девчонки!»

Грудь открыв, одна из них сказала:
«Здесь он спрятан меж розовых сосочков!»
Нет, искать тебя — труд для Геркулеса...
Если б я был даже критским стражем,
Если б мчался я на коне крылатом,
Если б взял в сандалии Персея,
Или Реса проворную упряжку,
Если б был героем крылоногим
И носился повсюду, словно ветер, —
Если б все это дал ты мне, Кимерий,
Все равно бы мне кости разломило
После поисков таких, приятель,
Все равно бы усталость одолела.
Что молчишь? Откуда столько спеси?
Где ты будешь, скажи, откройся смело,
Выйди на свет, друг мой, без боязни.
К нежным девушкам, верно, в плен попал ты?
Коль язык ты держишь за зубами,
Наслаждений теряешь половину:
Болтовня всегда мила Венере.
Впрочем, можешь таиться, если хочешь,
Лишь бы вам любить друг друга крепче.

* * *

Ты, Вераний, из всех мне близких первый
Друг, имей я друзей хоть триста тысяч,
Ты ль вернулся домой к своим пенатам,
Братьям дружным и матери старушке?
Да, вернулся. Счастливое известье!
Видя целым тебя, вновь буду слушать
Об иберских краях, делах, народах
Твой подробный рассказ: обняв за шею,
Зацелую тебя в глаза и в губы.
О! Из всех на земле людей счастливых
Кто меня веселей, меня счастливей?

* * *

Если не был бы ты мне глаз дороже,
Кальв мой милый, тебя за твой гостинец
Ненавидел бы я тебя ватиниански.
Что такого сказал я или сделал,
Что поэтов ты шлешь меня прикончить?
Да накажут того клиента боги,
Кто набрал тебе стольких нечестивцев!
Небывалый подарок! Не иначе,
Это Суллы работа грамотея.
Что ж, оно хорошо, премило даже,
Что не зря для него ты потрудился.
Боги! Ужас! Проклятая книжонка!
Ты нарочно прислал ее Катуллу,
Чтобы он целый день сидел, как дурень,
В Сатурналии, в лучший праздник года!
Это так не пройдет тебе, забавник!
Нет, чуть свет побегу по книжным лавкам,
Там я Цезиев всех и всех Аквинов,
И Суффена куплю — набор всех ядов!
И тебе отдарю за муку мукой.
Вы же будьте здоровы, отправляйтесь
Вновь, откуда нелегкая несла вас,
Язва века, негодные поэты!

* * *

И себя, и любовь свою, Аврелий,
Поручаю тебе. Прошу о малом:
Если сам ты когда-нибудь пленялся
Чем-нибудь незапятнанным и чистым, —
Соблюди моего юнца невинность!
Говорю не о черни, опасаюсь
Я не тех, что на форуме толкутся,
Где у каждого есть свои заботы, —

Нет, тебя я боюсь, мне хрен твой страшен.
И дурным, и хорошим, всем опасный.
В ход пускай его, где и как захочешь,
Только выглянет он, готовый к бою,
Лишь юнца моего не тронь — смиренна
Эта просьба. Но если дурь больная
До того доведет тебя, негодный,
Что посмеешь на нас закинуть сети, —
Ой! Постигнет тебя презлая участь:
Раскорячут тебя, и без помехи
Хрен воткнется в тебя и ерш вопьется.

* * *

Очи сладостные твои, Ювенций,
Если бы только лобзать мне дали вдосталь,
Триста тысяч я раз их целовал бы.
Никогда я себя не счел бы сытым,
Если б даже тесней колосьев тощих
Поднялась поцелуев наших нива.

* * *

На досуге вчера, Лициний, долго
На табличках моих мы забавлялись,
Как утонченным людям подобает.
Оба в несколько строк стихи писали.
Изощрялись то в том, то в этом метре,
На вино и на шутки отвечая.
Я вернулся домой, твоим, Лициний,
Остроумьем зажжен и тонкой речью,
Так, что, бедный, к еде не прикасался,
Даже глаз не сомкнул мне сон спокойно:
Весь я словно горел, всю ночь в постели
Провертелся, скорей бы дня дождаться,

Чтоб с тобой говорить, чтоб быть нам вместе.
А потом, когда телом истомленным
На кровати лежал я полумертвый,
Это, милый, тебе сложил посланье;
Из него о моих узнаешь муках.
Так не будь гордецом и эту просьбу
Ты уважь, на нее не плюнь, мой милый,
Немесида тебя не покарала б, —
Берегись ей вредить: грозна богиня!

* * *

Руф, кого считал бескорыстным и преданным другом
(Так ли? Доверье мое мне дорого обошлось!), —
Ловко ко мне ты подполз и нутро мне пламенем выжег.
Как у несчастного смог все ты похитить добро?
Все же похитил, увы, ты, всей моей жизни отрава,
Жестокосердный, увы, ты, нашей дружбы чума!

* * *

Лесбий красавец, нет слов! И Лесбию он привлекает
Больше, чем ты, Катулл, даже со всею родней.
Пусть он, однако, продаст, красавец, Катулла с роднею,
Если найдет хоть троих поцеловать его в рот.

* * *

Геллий, скажи, почему твои губы, подобные розам,
Кажутся нынче белей зимних чистейших снегов,
Если взглянуть на тебя, когда утром ты из дому выйдешь
Или в восьмом часу полдневного сна?

Не приложу и ума, что сказать.
Но, может быть, правду
Шепчет молва, что ....
Да, конечно! О том вопиют изнуренные чресла
Виктора, и от того след у тебя на губах.

* * *

Как же ты мог не найти, Ювенций, в целом народе
Мужа достойней красы, с кем бы ты
сблизиться мог?
А полюбился тебе приезжий из сонной Пизавры,
Мраморных статуй бледней с раззолоченной
главой!
Сердце ты отдал ему, его предпочесть ты дерзаешь
Мне? Берегись же, пойми, что преступленье
творишь!

* * *

Не безнаказан был вор. О, помню, более часа
Думалось мне, что повис я в высоте на кресте.
Стал я прощенья просить, но не мог никакими
мольбами
Хоть бы на йоту смягчить твой
расходившийся гнев.
Лишь сотворил я беду, ты тотчас следы поцелуя
Истово начал с лица всей пятерней обтирать.
Словно затем, чтоб моей на лице не осталось заразы,
Будто пристала к нему уличной суки слюна!
Кроме того, не скупясь, предавал ты меня,
несчастливца,
Гневу Амура, меня всячески ты распинал.
Так что тот поцелуй мимолетный, амбросии слаще,
Стал мне казаться теперь горше полыни самой.
Если проступок любви караешь ты столь беспощадно,
То я могу обойтись без поцелуев твоих.

* * *

Целию мил Авфилен, а Квинтий пленен
Авфиленой, —
Сходят с ума от любви, юных веронцев краса,
Этот сестру полюбил, тот брата, — как говорится:
Вот он, сладостный всем, истинно братский союз.
Счастья кому ж пожелать? Мой Целий, тебе,
несомненно, —
Редкую дружбу свою ты доказал мне, когда
Неудержимая страсть у меня все нутро прожигала,
Будь же, мой Целий, счастлив, знай лишь
победы в любви.

ТИБУЛЛ

Альбий Тибулл (ок. 50 – 19 до н. э.) – римский поэт. До нас дошел сборник, состоящий из 3 книг элегий, посвященных дружбе, домашнему уюту, осуждению погони за славой и богатством.

* * *

День, что тебя мне послал, о Керинф,
пребудет священным
И среди праздничных дней будет
блистательней всех.
Парки рожденьем твоим возвестили красавицам
рабство
Новое, давши в удел гордое царство тебе.
Я же горю больше всех: но гореть, Керинф,
мне отрадно,
Если взаимным огнем пламя палит и тебя.
Будь же взаимна, любовь! Твоею сладчайшею
тайной,
Светом твоих очей, Гением жарко молю.
Гений великий, прими фимиам и внемли обетам,
Лишь бы пылал он, как я, в час,
когда вспомнит меня!
Если ж теперь упоен он другою случайной любовью,
Ты, о пресветлый, молю, брось вероломный
алтарь!
Несправедлива не будь, Венера: иль равно
пусть служит
Каждый из плененных тебе или сними мою цепь.
Лучше пусть каждый из нас заключен будет
крепко в оковы,
Пусть ни единый рассвет нас не дерзнет разлучить.
Юноша жаждет, как я, но он сокровеннее жаждет:

Стыдно ему, не таясь, вымолвить эти слова.
Ты же, рождения бог, кому все ведомы чувства,
Внемли: не все ли равно — тайно иль явно
просить.

* * *

Вот и любовь наконец; и скорее было б стыдно
Это скрывать, чем о ней каждому говорить,
Внявши каменам моим, любимого мне Киферея
И привела за собой, и положила на грудь.
Все мне Венера дала: об утехах моих пусть расскажет
Тот, про кого говорят, что он своих и не знал.
Я ничего не хочу вверять запечатанным письмам:
Пусть их кто хочет прочтет раньше
любимого мной.
Я забываться люблю, прикрываться личиной
от сплетен
Тошно. Пускай говорят: оба они хороши.

ПРОПЕРЦИЙ

Секст Проперций (ок. 50—ок. 15 до н. э.) — римский поэт. Автор 92 элегий, объединенных в 4 книги. Главная тема поэзии Проперция — любовь, ее радости и огорчения. Кроме того, Проперция интересовали мифологические сюжеты, вопросы военных и гражданских доблестей. Творчество Проперция оказало влияние на Овидия. Его стихами увлекались Ф. Петрарка, К. Батюшков, А. Майков, А. Фет.

* * *

Часто твоя госпожа досаждать будет тебе сначала,
Часто ты будешь просить, часто уйдешь со стыдом,
Будешь нередко ты грызть ни в чем не повинные ногти
И в раздраженье не раз топать со злости ногой.
Я понапрасну себе помадил волосы, зря я
Шел, замедляя шаги, и потихоньку входил.
Тут тебе не поможет ни трава, ни ночная Китея,
Ни Перимеды рукой сваренный зелия отвар.
Ибо, где мы усмотреть не можем причины болезни,
Как в темноте мы искать будем источник ее?
Здесь уже не нужен ни врач, ни мягкое ложе больному,
Ветер, ненастье ему вовсе не вредят.
Ходит себе он и вдруг друзей изумит своей смертью:
Неосмотрителен тот, кем овладела любовь!
Лживых каких колдунов не стал я желанной добычей?
Иль не толкуют мне сны ведьмы на десять ладов?
Только врагу своему пожелаю любить я красавиц,

Мальчика пускай любит мой искренний друг.
Вниз по спокойной реке поплывешь в челноке безопасно:
Страшны ли волны, коль ты к берегу можешь пристать?
Словом одним ты его всегда успокоишь,
Сердце же той не смягчит даже кровавый поток.

СЕНЕКА

Луций Анней Сенека (4 до н. э. — 65 до н. э.) — римский политический деятель, философ, писатель и драматург. Идеолог императорской оппозиции. Воспитатель юного Нерона. После неудачного заговора по приказу своего бывшего воспитанника покончил жизнь самоубийством. Сторонник стоицизма, утверждавший образ человека, преодолевшего страсти. Автор 12 диалогических трактатов, «Писем к Луцилию» на моральные темы. Автор 9 трагедий на мифологические сюжеты, развивавший мысли о власти рока, гибельности страстей, ухода от мира.

О СМЕРТИ ДРУГА

Отнят Крисп у меня, мой друг, навеки;
Если бы выкуп за друга дать я мог бы,
Я свои разделил бы тотчас годы,
Лучшей частью моей теперь я оставлен;
Крисп, опора моя, моя отрада,
Гавань, высшее счастье: мне отныне
Уж не будет ничто отрадой жизни.
Буду дни я влачить опустошенный:
Половина меня навеки погибла!

ПЕТРОНИЙ

Гай Петроний Арбитр (год рождения неизвестен—умер в 65 г. н.э.) — римский писатель, автор плутовского романа «Сатирикон».

САТИРИКОН

...Приехав в Азию на иждивение квестора, я остановился в Пергаме. Оставаясь там очень охотно, не столько ради благоустройства дома, сколько ради красоты хозяйского сына, я старался изыскать способ, чтобы отец не заподозрил моей любви. Как только за столом начинались разговоры о красивых мальчиках, я приходил в такой искренний раж, с такой суровой важностью отказывался позорить свой слух безнравственными разговорами, что все, особенно мать, стали смотреть на меня как на философа. Уже я начал водить мальчика в гимнастическую школу, руководить его занятиями, учить его и следить за тем, чтобы ни один охотник за красавцами не проникал в дом. Однажды в праздник, покончив уроки раньше обыкновенного, мы возлежали в триклинии, и ленивая истома, последствие долгого и веселого праздника, помешала нам добраться до наших комнат. Среди ночи я заметил, что мой мальчик бодрствует. Тогда я робким шепотом вознес моление:

— О, Венера, — сказал я, — владычица! Если я поцелую этого мальчика так, что он не почувствует, то наутро я подарю ему пару голубок.

Услышав награду за наслаждение, мальчик принялся храпеть. Тогда, приблизившись к притвор-

щику, я осыпал его поцелуями. Довольный таким началом, я поднялся ни свет, ни заря и принес ему ожидаемую пару отменных голубок, исполнив таким образом свой обет.

На следующую ночь в удобный момент я изменил текст молитвы:

— Если дерзкой рукой я поглажу его и он не почувствует, — сказал я, — я дам ему двух лучших боевых петухов.

При этом обещании милый ребенок сам придвинулся ко мне, опасаясь, думаю, чтобы я не заснул. Успокаивая его нетерпение, я с наслаждением гладил его тело, сколько мне было угодно. На другой же день, к великой его радости, принес ему обещанное. На третью ночь я при первой возможности придвинулся к уху притворно спящего.

— О, бессмертные боги! — шептал я. — Если я добьюсь от спящего полного счастья, полного и желанного, то за такое благополучие я завтра подарю мальчику превосходного македонского скакуна, при том, однако, условии, что он ничего не заметит.

Никогда еще мальчик не спал так крепко. Я сначала наполнил руки его белоснежной грудью, затем прильнул к нему с поцелуем и, наконец, слил все желания в одно. С раннего утра засел он в спальне, нетерпеливо ожидая обещанного. Но сам понимаешь, купить голубок или петухов куда легче, чем коня; да и побаивался я, как из-за столь крупного подарка не показалась бы щедрость моя подозрительной. Поэтому, проходив несколько часов, я вернулся домой и, взамен подарка, поцеловал мальчика. Но он, оглядевшись по сторонам, обвил мою шею руками и осведомился:

— Учитель, а где же скакун?

Хотя этой обидой я заградил себе проторенный путь, однако скоро вернулся я к прежним вольностям. Спустя несколько дней, попав снова в обстоятельства благоприятные и убедившись, что родитель храпит, я стал уговаривать отрока смилостивиться надо мной, то есть позволить мне удовлетворить свои желания, словом, все, что может сказать сдерживаемая страсть. Но он, рассердившись, твердил все время:

— Спи, или я скажу отцу.

Но нет трудностей, который не превозмогло бы нахальство. Пока он повторял: «разбужу отца», я подполз к нему и при очень слабом сопротивлении добился услады. Он же, далеко не раздосадованный моей проделкой, принялся жаловаться: и обманул-то я его, и насмеялся, и выставил на посмешище товарищам, перед которыми он хвастался моим богатством.

— Но ты увидишь, — заключил он, — я совсем на тебя не похож. Если ты чего-нибудь хочешь, то можешь повторить.

Итак, я, забыв все обиды, помирился с мальчиком и, использовав его благосклонность, погрузился в сон. Но отрок, бывший как раз в страдательном возрасте, не удовлетворился простым повторением. Поэтому он разбудил меня вопросом: «Хочешь еще?» Силы во мне еще оставались... Когда же он, при сильном с моей стороны охании и великом потении, получил желаемое, я, изнемогши от наслаждения, снова заснул. Менее чем через час он принялся меня тормошить, спрашивая:

— Почему мы больше ничего не делаем?

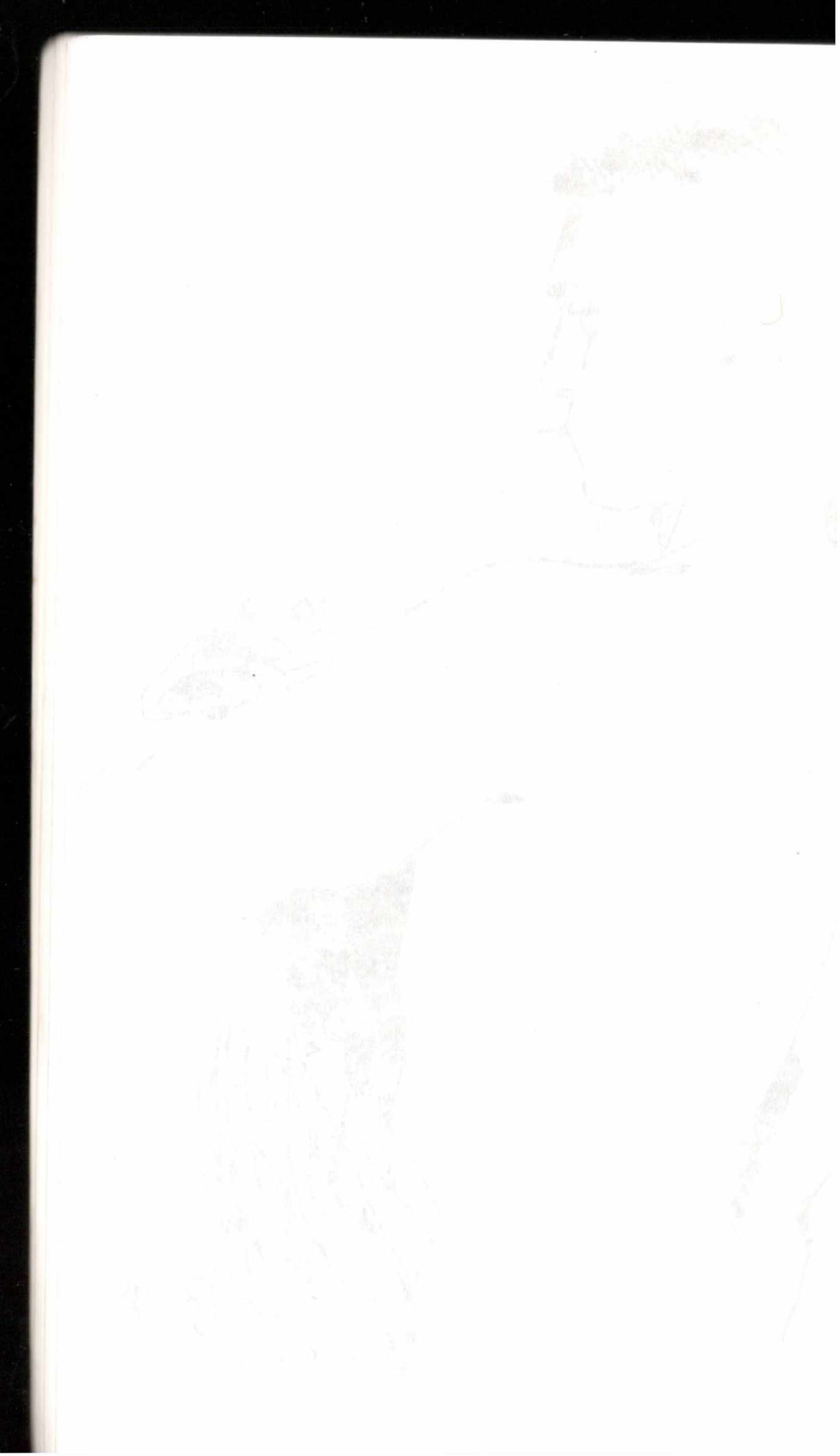
Тут я, в самом деле обозлившись на то, что он все время меня будит, ответил ему его же словами:

— Спи, или я скажу отцу!

* * *

Когда лобзал я мальчика
В уста полуоткрытые,
И аромат дыхания
Я пил губами жадными,
Мой дух, больной и раненый
Взобрался на уста мои,
И, мчась безостановочно
До мягких губок мальчика,
Сквозь них он ищет выхода
И убежать старается.
И если б лишь немножечко
Лобзание продолжилось,
Огнем любви прожженная
Душа б меня покинула.
И чудо совершилось:
Сам по себе я умер бы,
Но жил бы в сердце отрока.





АХИЛЛ ТАТИЙ

Ахилл Татий — древнегреческий писатель II в. н. э. Единственный дошедший до нас роман этого автора — «Левкиппа и Клитофонт».

ЛЕВКИППА И КЛИТОФОНТ

...Нас было шестеро: Левкиппа, Сатир, я, Клиний и двое его рабов. Мы поехали по Сидонской дороге и прибыли в Сидон на рассвете; не останавливаясь, мы двинулись в Бейрут, рассчитывая найти там стоящий на якоре корабль. И действительно! В Бейруте мы застали корабль, который вот-вот должен был сняться с якоря. Мы даже не стали спрашивать, куда он плывет, но немедленно на него перебрались. Начинало светать, когда мы были готовы к отплытию в Александрию, великий город на Ниле.

Увидев море, я очень обрадовался, хотя судно еще не покинуло гавани и покачивалось на волнах. Подул попутный ветер, благоприятный для отплытия, и на корабле началась страшная суматоха. Кормчий отдавал приказы, по палубе взад и вперед сновали матросы, натягивали канаты, вращали рею, спускали парус. Подняли якорь, и отчаливший корабль покинул гавань. Мы смотрели, как земля медленно исчезает вдали, словно уплывает сама. Все пели пэан и, призывая богов-спасителей, истово молили их о благополучном исходе плавания. Порыв ветра наполнил парус и повлек корабль в открытое море.

Случайно по соседству с нами расположился один юноша. Когда наступил час завтрака, он радушно предложил нам разделить с ним трапезу.

Сатир стал прислуживать. Мы выложили на середину все, что было у нас, и начали есть и беседовать. Я первый спросил:

— Откуда ты, юноша, и как твое имя?

— Меня зовут Менелай, родом я из Египта. А вы кто такие?

— Я Клитофонт, а он Клиний, мы оба из Финикии.

— По какой же причине отправились вы путешествовать?

— Расскажи нам о себе, тогда услышишь о нас.

— Завистливый Эрот и неудачная охота принудили меня пуститься в путешествие, — ответил Менелай. — Я любил прекрасного отрока, а он был страстным охотником. Я часто отговаривал его, но не мог справиться с его приверженностью к этому занятию. Не будучи в состоянии убедить его оставить охоту, я сам сопровождал его. Как-то мы с ним выехали на охоту верхом, и поначалу, пока мы преследовали мелких зверей, удача сопутствовала нам. Вдруг из леса выбежал вепрь, и мальчик, не раздумывая, бросился вдогонку за ним. Вепрь неожиданно повернул и помчался навстречу охотнику. Но тот не испугался и не повернул вспять, хотя я отчаяннно кричал и звал его:

— Осади коня, зверь опасен!

Вепрь сделал рывок и столкнулся с охотником. Когда я увидел это, меня бросило в дрожь. Боясь того, как бы в своем натиске вепрь не поразил коня, я поспешно, не прицелившись достаточно тщательно, пускаю в него стрелу. И она попадает в мальчика!

Может кто-нибудь представить себе, что творилось в моей душе, если она только не покинула меня в тот момент? Но самое трогательное заключалось в том, что, умирая, он обнял меня, вместо

того чтобы возненавидеть своего убийцу, и до последнего вздоха не выпускал из руки ту самую руку, которая поразила его.

Родители мальчика повели меня в суд, причем я нисколько не сопротивлялся. Когда мне предоставили слово, я и не подумал оправдываться, но сам сказал, что достоин смерти. Судьи были тронуты моим поведением и присудили меня всего лишь к трем годам изгнания. Теперь этот срок истекает, и я возвращаюсь на родину.

Во время рассказа Менелая Клиний несколько раз принимался плакать, будто бы о Патрокле, а на самом деле, конечно, вспоминал Харикла.

— Ты плачешь от того, что случилось со мной, или мое несчастье напоминает тебе твои собственные переживания? — спросил Менелай у Клиния.

Клиний тяжело вздохнул и поведал Менелаю о смерти Харикла, а потом и я рассказал о своих злоключениях.

Видя, что Менелай совсем пал духом, растравив душу воспоминаниями о возлюбленном, а Клиний утопает в слезах, думая о Харикле, я решил рассеять их грусть и завел речь о любовных утехах. Левкиппы в тот момент с нами не было, она уже спала в каюте. Я, улыбаясь, начал так:

— Ничего не поделаешь, Клиний теперь одержит верх надо мной. Ведь он, по обыкновению, хочет выступить против женщин. Но теперь, когда он нашел себе единомышленника, ему легче будет отстоять свою позицию. Никак не могу взять в толк, почему теперь так распространилась любовь к мальчикам?

— Но разве, — возразил мне Менелай, — эта любовь не превосходит во всех отношениях любовь к женщинам? Мальчики ведь в сравнении с жен-

щинами безыскусственны, а красота их доставляет более острое наслаждение.

— Как более острое?! — воскликнул я. — Ведь красота эта, едва мелькнув, исчезает и не дает любящему возможность насытиться ею. Ее можно сравнить с питьем Тантала. Любовник только начинает наслаждаться красотой возлюбленного, как она уже исчезает, и приходится покинуть волшебный источник, не испив из него. Словно питье жаждущего Тантала. Покидая мальчика, любовник никогда не испытывает полного удовлетворения, он жаждет по-прежнему.

— От тебя, Клитофонт, — сказал Менелай, — укрылось самое главное в наслаждении. Влечет к себе то, что не насыщает. То, что постоянно в твоих руках, постепенно пресыщает и теряет свою сладость. Похищенное же всегда ново, и сознание того, что вот-вот оно ускользнет от тебя, вызывает еще больший расцвет страсти. В страхе потери таится нестареющее наслаждение, и чем оно быстротечнее, тем сильнее.

Потому, мне кажется, и роза — самое прекрасное из растений, что красота ее исчезает на глазах. Я полагаю, что двум видам красоты суждено жить среди людей, красоте небесной и красоте земной. Небесная по самой своей природе стремится как можно скорее улетучиться, освободившись от тяготеющей ее смертной оболочки. Что касается земной красоты, то она более прочна и своей оболочки долго не покидает. В доказательство того, что красота небесная возносится на небо, я приведу тебе строки Гомера, послушай их:

Он-то богами и взят в небеса, виночерпцем Зевесу,
Отрок прекрасный, дабы обитал среди сонма
бессмертных.

Между тем ни одна женщина не удостоилась того, чтобы благодаря своей красоте стать небожительницей, а ведь Зевс дарил свою благосклонность и женщинам. Но уделом Алкмены стало горе и изгнание, Даная получила в дар ларец и море, Семела стала пищей огня. И только полюбив фригийского мальчика, Зевс даровал ему небо, чтобы отрок мог жить вместе с ним, разливая нектар; та же, что прежде исполняла обязанности виночерпия, своего места лишилась, — и, думаю, потому, что она была женщиной.

— Именно неумирающая красота женщин представляется мне небесной, — перебил я Менелая, — она непреходяща и тем приближается к божественности, в то время как быстрогибнущее подражает природе смертных и является обычным. Да, Зевс полюбил фригийского мальчика и вознес его на небо, но из-за красоты женщин, случалось, Зевс сам покидал небо и спускался на землю. Он мычал из-за женщин, он плясал из-за них, превратясь в сатира, обращался ради них в золото. Пусть Ганимед разливает вино, ведь средь богов пьет и Гера, и мальчик ей прислуживает. Чувство жалости вызывает во мне его похищение, хищная птица набросилась на него и унесла его на небо, уподобив повешенному, тем самым подвергнув его оскорбительному насилию. Позорное зрелище являл собой висящий в когтях хищника мальчик. Семелу же увлек на небо огонь, а не какая-нибудь птица. И не следует тебе удивляться тому, что с помощью огня попадают на небо, — так ведь и Геракл стал небожителем. Если же ты насмехаешься над ларцом Данаи, то почему молчишь о Персее? Алкмене же достаточно и того подарка, что Зевс ради нее украл у солнца целых три дня.

Но оставим мифы и поговорим о самой радости обладания. Должен признаться, что мой опыт в этом деле невелик, так как до сих пор я имел дело лишь с теми женщинами, которые продают утехи Афродиты за деньги. Возможно, человек более сведущий мог сказать бы больше, чем я. Все же я не промолчу о том, что узнал сам.

Заключенное в объятия тело женщины податливо, губы ее нежны при поцелуе. Поэтому, когда обнимаешь женщину, тело твое как будто полностью окутывается плотью, и любовник словно погружается в наслаждение. Целуя, она накладывает свои уста на уста возлюбленного как печать, искусны ее поцелуи, она умеет сделать их сладкими. Женщина хочет целовать не только губами, зубы ее тоже участвуют в поцелуе, и она упивается устами любовника, покусывая их. Особая радость таится в прикосновении к ее груди. На вершине наслаждения Афродиты она в исступлении обнимает возлюбленного и целует его, близкая к безумию. Языки стремятся коснуться друг друга и, встретившись, нежно ласкаются своими кончиками. Ведь если при поцелуе уста открыты, это еще больше усиливает радость обладания. Когда же предел наслаждения достигнут, женщина тяжело дышит, погруженная в зной страсти. Дыхание ее, слившись с любовным дуновением, на устах встречается с блуждающим на них поцелуем, который ищет дорогу. Поцелуй следует за дыханием и пронзает сердце, — пораженное поцелуем, оно трепещет. Если бы оно не было связано с другими внутренностями, то, без сомнения, выскочило бы из груди вслед за поцелуями.

Мальчики же целуются без всякого искусства, объятия их неловки, притязания Афродиты тщетны, наслаждения никакого.

— Однако ты вовсе не кажешься мне новичком в делах любви, — заметил Менелай, — тебе, оказывается, доподлинно известны все женские ухищрения. Что же, пришла твоя очередь послушать о мальчиках.

— Все у женщин поддельно, и речи их, и красота. Если женщина поначалу и кажется красивой, то это лишь следствие многочисленных притираний. Вся ее красота — это мирра, крашеные волосы и прочие выдумки. Если же лишить ее всех этих хитростей, то она уподобится галке из басни, с которой сняли чужие перья.

Красота мальчика не нуждается в помощи благовонной мирры и прочих чужих ароматов, — приятнее всех женских притираний запах пота отроческого тела. Еще до того, как заключить мальчика в любовные объятия, можно бороться с ним на палестре, когда тела сплетаются открыто, и нет в этом переплетении ничего постыдного. В объятиях тело мальчика не расслабляется из-за рыхлости его плоти, крепкие тела борются друг с другом за наслаждения. Поцелуи отрока, в отличие от женщины, бесхитростны, не сыщешь в его губах тех праздных обманчивых ухищрений, которым научены женщины, нет ничего искусственного в поцелуях мальчика, — он целует как дитя. Если бы сгустился нектар, то ты пил бы его с уст возлюбленного. И такие поцелуи не насыщали бы тебя, но вызывали еще большую жажду, и, наконец, ты бы оторвался от источника наслаждения, чтобы не ощутить его избыток.

ЛУКИАН

Лукиан из Самосата (ок. 120 – после 180 н. э.) – греческий писатель. Свои лучшие произведения создал в 165–180 гг. в Афинах. Любимый жанр Лукиана – остро сатирический диалог, написанный ясным языком, остроумный, пародирующий классические мифологические сюжеты. Диалоги пересыпаны шутками, поговорками, остротами. На творчество Лукиана значительное влияние оказала философия киников и стоиков («Менипп», «Пир», «Разговоры богов»). Творчество Лукиана оказало большое влияние на писателей эпохи Возрождения и Просвещения.

РАЗГОВОРЫ БОГОВ

4. ЗЕВС И ГАНИМЕД

1. Зевс. Ну, вот, Ганимед, мы пришли на место. Поцелуй меня и убедись, что у меня нет больше ни кривого клюва, ни острых когтей, ни крыльев, как раньше, когда я казался тебе птицей.

Ганимед. Разве ты, человек, не был только что орлом? Разве ты не слетел с высоты и не похитил меня из средины моего стада? Как же это так вдруг исчезли твои крылья и вид у тебя стал совсем другим?

Зевс. Милый мальчик, я не человек и не орел, а царь всех богов, и превратился в орла только потому, что для моей цели это было удобно.

Ганимед. Как же? Ты и есть тот самый Пан? Отчего же у тебя нет свирели, нет рогов и ноги у тебя не косматые?

Зевс. Так, значит, ты думаешь, что, кроме Пана, нет больше богов?

Ганимед. Конечно! Мы всегда приносим ему в жертву нехолощеного козла у пещеры, где он стоит. А ты, наверное, похитил меня затем, чтобы продать в рабство?

Зевс. Неужели ты никогда не слыхал имени Зевса и никогда не видал на Гаргаре алтаря бога, посылающего дождь, гром и молнию?

Ганимед. Так это ты, милейший, послал недавно такой ужасный град? Это про тебя говорят, что ты живешь на небе и поднимаешь такой шум? Значит, это тебе отец принес в жертву барана? Но что я-то сделал дурного? Зачем ты меня похитил, царь богов? Мои овцы остались одни; на них, наверное, нападут волки.

Зевс. Ты еще беспокоишься об овцах? Пойми, что ты сделался бессмертным и останешься здесь вместе с нами.

Ганимед. Как же? Ты меня не отведешь обратно на Иду?

Зевс. Нет! Мне тогда незачем было бы из бога делаться орлом.

Ганимед. Но отец станет меня искать и, не найдя, будет сердиться, а завтра побьет меня за то, что я бросил стадо.

Зевс. Да он тебя больше не увидит.

Ганимед. Нет, нет! Я хочу к отцу. Если ты отведешь меня обратно, я обещаю, что он принесет тебе в жертву барана как выкуп за меня; у нас есть один трехлетний, большой — он ходит вожаком стада.

Зевс. Как этот мальчик прост и невинен! Настоящий ребенок! Послушай, Ганимед, все это ты брось и позабудь обо всем: о стаде и об Иде. Ты теперь небожитель — и отсюда можешь много добра ниспослать отцу и родине. Вместо сыра и молока ты будешь есть амбросию и пить нектар;

его ты будешь всем нам разливать и подавать. А что всего важнее: ты не будешь больше человеком, а сделаешься бессмертным, звезда одного твоего имени засияет на небе, — одним словом, ждет тебя полное блаженство.

Ганимед. А если мне захочется поиграть, кто будет играть со мной? На Иде у меня было много товарищей!

Зевс. Здесь с тобой будет играть Эрот, а я тебе дам много-много бабок для игры. Будь только бодр и весел и не думай о том, что осталось внизу.

Ганимед. Но на что я вам здесь пригожусь? Разве и здесь надо будет пасти стадо?

Зевс. Нет, ты будешь нашим виночерпием, будешь разливать нектар и прислуживать нам за столом.

Ганимед. Это нетрудно: я знаю, как надо наливать и подавать чашку с молоком.

Зевс. Ну, вот, опять он вспоминает молоко и думает, что ему придется служить людям! Пойми, что мы сейчас на самом небе, и пьем мы, я говорил тебе уже, нектар.

Ганимед. Это вкуснее молока?

Зевс. Скоро узнаешь и, попробовав, не захочешь больше молока.

Ганимед. А где я буду спать ночью? Вместе с моим товарищем Эротом?

Зевс. Нет, для того-то я и похитил тебя, чтобы мы спали вместе.

Ганимед. Ты не можешь спать один и думаешь, что тебе будет приятнее со мной?

Зевс. Конечно, с таким красавцем, как ты.

Ганимед. Какая же может быть польза от красоты для сна?

Зевс. Красота обладает каким-то сладким очарованием и делает сон приятнее.

Ганимед. А мой отец, как раз наоборот, сердился, когда спал со мной, и утром рассказывал, что я не даю ему спать, ворочаюсь и толкаю его и что-то говорю во сне; из-за этого он, обыкновенно, посылал меня спать к матери. Смотри, если ты меня похитил для этого, то лучше верни обратно на Иду, а то тебе не будет сна от моего постоянного ворочанья.

Зевс. Это именно и будет приятнее всего; я хочу проводить с тобой ночи без сна, целуя тебя и обнимая.

Ганимед. Как знаешь! Я буду спать, а ты можешь целовать меня.

Зевс. Когда придет время, мы сами увидим, как нам быть. Гермес, возьми его с собой, дай ему испить бессмертия, научи, как надо подавать кубок, и приведи к нам на пир.

5. ГЕРА И ЗЕВС

Гера. С тех пор как ты похитил и привел сюда этого фригийского мальчишку, ты охладел ко мне, Зевс.

Зевс. Гера, ты ревнуешь даже к этому невинному и безобидному мальчику? Я думал, что ты ненавидишь только женщин, которые сходились со мной.

Гера. Конечно, это очень дурно и неприлично, что ты, владыка всех богов, оставляешь меня, твою законную супругу, и сходишь на землю для любовных похождений, превращаясь то в золото, то в сатира, то в быка. Но те по крайней мере остаются на земле, а этого ребенка ты, почтеннейший из богов, с Иды похитил и принес на небо, и вот, свалившись мне на голову, он живет с нами и на словах является виночерпием. Очень уж тебе не хватало виночерпия: разве Геба и Гефест отказались

нам прислуживать? Нет, дело в том, что ты не принимаешь от него кубка иначе, как поцеловав его на глазах у всех, и этот поцелуй для тебя слаще нектара; поэтому ты часто требуешь питья, совсем не чувствуя жажды. Бывает, что, отведав лишь немножко, ты возвращаешь мальчику кубок, даешь ему испить и, взяв у него кубок, выпиваешь остатки, а губы прикладываешь к тому месту, которого он коснулся, когда пил, чтобы таким образом в одно время и пить и целоваться. А на днях, ты, отец и царь всех богов, отложив в сторону эгиду и перун, уселся играть с ним в бабки, — ты, с твоей большой бородой! Не думай, что все это так и проходит незамеченным: я все прекрасно вижу.

З е в с. Что же в этом ужасного, Гера, поцеловать во время пира такого прекрасного мальчика и наслаждаться одновременно и поцелуем и нектаром? Если я ему прикажу хоть раз поцеловать тебя, ты не станешь больше бранить меня за то, что я ценю его поцелуй выше нектара?

Г е р а. Ты говоришь как развратитель мальчиков. Надеюсь, что я до такой степени не лишусь ума, чтобы позволить коснуться моих губ этому изнеженному, женоподобному фригийцу.

З е в с. Почтеннейшая, перестань бранить моего любимца; этот женоподобный, изнеженный варвар для меня милее и желаннее, чем... Но я не хочу договаривать, не стану раздражать тебя более.

Г е р а. Мне все равно, хоть женись на нем; я только тебе напоминаю, сколько оскорблений ты заставляешь меня сносить из-за твоего виночерпия.

З е в с. Да, конечно, за столом нам должен прислуживать твой хромой сын Гефест, который вваливается прямо из кузницы, весь покрытый угольной пылью, только что оставив клещи, а мы должны принимать кубок из этих милых ручек и

целовать его при этом, — а ведь даже ты, мать, не очень-то охотно поцеловала бы его, когда все его лицо вымазано сажей. Это приятнее, не правда ли? Такой виночерпий гораздо более подходит для пира богов, а Ганимеда следует отослать обратно на Иду; он ведь чист, и пальцы у него розовые, и он умело подает кубок, и — тебя это огорчает больше всего — целует слаще нектара.

Гера. Теперь Гефест у тебя и хром, и руки его недостойны твоего кубка, и вымазан сажей, и при виде его тебя тошнит, все с тех пор, как на Иде вырос этот кудрявый красавец; прежде ты ничего этого не видел, и ни угольная пыль, ни кузница не мешали тебе принимать от Гефеста напиток.

Зевс. Гера, ты сама себя мучаешь, — вот все, чего достигаешь, а моя любовь к мальчику только увеличивается от твоей ревности. А если тебе противно принимать кубок из рук красивого мальчика, то пусть тебе прислуживает твой сын; а ты, Ганимед, будешь подавать напиток только мне и каждый раз будешь целовать меня дважды, один раз подавая, а второй — беря у меня пустой кубок. Что это? Ты плачешь? Не бойся: плохо придется тому, кто захочет тебя обидеть.

ДВЕ ЛЮБВИ

Друзья мои... Оставьте эти беспорядочные и ни к чему не ведущие препирательства, пусть каждый из вас по очереди произнесет пространную речь в защиту своего мнения.

...предложил я им обоим тянуть жребий, кому говорить первым; он выпал Хариклу, и я повелел ему тотчас начать речь...

5 Заказ 773

«Вначале, когда люди еще жили и думали, как и в век героев, и старались приблизиться к богам своей добродетелью, они повиновались законам, установленным природой: достигнув должного возраста, мужчины сочетались браком с женщинами и становились отцами благородных детей. Но вскоре люди спустились с этой высоты в пучину удовольствий и проложили странные и невиданные пути к наслаждению. Сластолюбие, которое дерзает на все, преступило законы самой природы. Кто же первый взглянул на мужчину, как на женщину, прибегнув к одному из двух: или тираническому насилию, или к бесчестному обольщению? На одном ложе сошлись существа одной природы; видя самого себя в другом, они не стали стыдиться ни того, что делают, ни того, что испытывают. Они, как говорится, бросают себя на бесплодный камень, получая малое наслаждение ценою большого бесчестия.

Их дерзость дошла до такого тиранического насилия, что даже железом оскверняют они природу: истребив в мужчине его пол, они находят более обширные пределы для своих наслаждений. А те, жалкие и несчастные, чтобы дольше быть мальчиками, перестают быть мужчинами: двусмысленная загадка двойственной природы, они не остались тем, кем родились, и не приобрели качеств того пола, в который перешли. И то, что делается, дабы продлить цветение юности, заставляет их чахнуть и преждевременно стариться. Они считаются детьми — и одновременно успели стать стариками, даже недолгое время не побывав мужчинами. Так нечистое сластолюбие — наставник во всякой мерзости, — изобретая одно бесстыдное наслаждение за другим, доходит до такого порока, который и назвать прилично нельзя: лишь бы ни один вид беспутства не остался неиспытанным!

А если бы каждый придерживался законов, установленных для нас провиденьем, то мы довольствовались бы общением с женщинами, и жизнь очистилась бы от позора. В самом деле, сохраняется же закон природы в чистоте среди животных, которые не могут ничего испакостить своими дурными наклонностями: львы не беснуются от любви к львам, а своевременно возбуждает в них Афродита страстное стремление к львицам, бык — вожак стада — покрывает коров, а баран оплодотворяет мужским семенем целую отару. Что же? Разве кабаны не ищут самок? Разве не с волчицами спариваются волки? Вообще ни среди птиц, щебечущих на воздухе, ни среди тех, кому жребий выпал жить под водой, ни среди животных, обитающих на суше, никогда самец не стремится к общению с самцом, и незыблемыми остаются законы провидения. А вы, люди, напрасно хвалитесь своим разумом; на самом деле именно вы — негодные звери! Какой невиданный порок побуждает вас преступать законы и предаваться взаимному нечестию? Какая слепая бесчувственность окутала ваши души, если вы впали в двойной грех, избегая того, за чем следует гнаться, и гонясь за тем, чего следует избегать? Да если все люди один за другим решат, что лишь к этому следует стремиться, — не останется больше ни одного человека.

Здесь и появляются у последователей Сократа эти удивительные речи, которыми они морочат слух мальчиков, не обладающих еще зрелыми суждениями. Но человек, разум которого достиг расцвета, не может ими увлечься. Эти люди притворяются, будто любят душу, и, не стыдясь любить красоту тела, именуют себя любителями добродетели. Порою мне хочется просто смеяться над ними. Почему же вы, возвышенные философы, с презрением прене-

брегаете человеком, который дал себя испытать в течение долгого времени и показал, каков он есть, о чьей добродетели свидетельствует седина и старость? Почему вся ваша мудрая любовь стремится лишь к юным, о ком еще никак нельзя судить, к чему они обратятся в жизни? Или есть такой закон, что всякое внешнее безобразие нужно осудить за нравственную низость, а все красивое восхвалять как нравственно-прекрасное?..

Почему же ничью любовь не привлекает ум, справедливость и прочие прекрасные качества, которые достались в удел зрелым людям, а красота мальчиков вызывает сильнейшее волнение страстей? Конечно, следовало, о Платон, полюбить Федра за то, что он предал Лисия. Или пристойно было влюбиться в доблестного Алкивиада, который увечил статуи богов и за выпивкой разбалтывал тайны элевсинских мистерий? Какой человек признает себя любовником того, кто предал Афины, из-за кого Декелея была укреплена врагом, кто всю жизнь стремился к тирании? Но, как говорит божественный Платон, Алкивиад, пока не оброс бородой, был всем любезен; а когда, выйдя из отрочества и став мужчиной, он достиг того возраста, в котором несовершенный дотоле разум приобретает всю силу суждения, — все его возненавидели. Что же? Прикрывая постыдные страсти стыдливыми именами, эти люди — скорее любители юношей, чем любители мудрости — называют нравственным совершенством телесную красоту...

...я докажу, что связь с женщиной намного приятнее, чем с мальчиком. Во-первых, я думаю, что всякое удовольствие тем слаще, чем оно длительнее... женщина с девичества и до того возраста, когда пролегла, наконец, последняя морщина старости, желанная для мужских объятий и ласк, даже

если она перешагнула пору своего расцвета: ведь «опытность умеет говорить мудрее юности».

Если кто-нибудь попробует сойтись с двадцатилетним юношей, он, мне кажется, предастся противоестественной похоти, гонясь за сомнительными успехами. Жестки и массивны возмужавшие члены возлюбленного, шершав подбородок, прежде нежный, а теперь обросший молодой щетиной, и сильные бедра покрыты волосами, как грязью. Есть и не такие изъяны, но их я предоставляю знать вам, искушенным. А у любой женщины кожа всегда блистает прелестью и завитки густых локонов падают волнами, подобные прекрасно цветущим гиацинтам: одни распущены сзади и украшают спину, другие щедро вьются вокруг ушей и висков, кудрявее луговых трав. И все остальное тело, на котором не растет ни единого волоска, блистает ярче электра или сидонского стекла.

А разве в наслаждениях мы не должны стремиться к взаимности, к тому, чтобы обе стороны получали равное удовольствие?.. Сойдясь с женщиной, мы поровну даем друг другу одинаковое наслаждение, и радостно расстаются любящие, получив поровну... Однако никто еще не обезумел настолько, чтобы сказать, будто и с мальчиками дело обстоит так же. Наоборот, совратитель удаляется, получив изысканное, по его мнению, наслаждение, а на долю обесчещенного остаются поначалу только боль и слезы. Потом, когда с течением времени боль немного уменьшится, остается, как говорят, только докука, удовольствие же не испытывает ни капли...»

Все это Харикл говорил горячо, со все возрастающим напряжением; когда же он кончил, грозно и дико смотрели исподлобья его глаза. Мне казалось, что он совершает какой-то очистительный обряд против любви к мальчикам.

Калликратид, выждав немного... начал ответную речь: ...«раз уж прилично произносить мужчинам речи в защиту женщин, то выступим же и мы — мужчины — в защиту мужчин... я с радостью ...докажу, что только в любви к мальчикам наслаждение сочетается с добродетелью...

Брак изобретен как средство, необходимое для продолжения рода, но только любовь к мужчине достойно повелевает душой философа. Ведь все, чем занимаемся мы не ради нужды, а ради красоты и изящества, ценится больше, чем нужное для непосредственного употребления, и всегда прекрасное выше необходимого. Пока жизнь людей протекала в невежестве и не было у них досуга, чтобы каждый день искать лучшего, они поневоле ограничивались самым необходимым, потому что недостаток времени не давал им возможности открыть, как жить хорошо. Потом, когда не стало уже этой вечно тяготеющей нужды, умы потомков, освобожденные от уз необходимости, приобрели свободное время, чтобы придумать что-нибудь получше, отчего постепенно возросли разные знания. Это можно видеть на примере самых совершенных искусств. Когда появились первые люди, они старались только каждый день утолить свой голод. Недостаток необходимого не позволял им выбирать, и, в плену у постоянной нужды, они питались первой попавшейся травой, выкапывали мягкие корешки, и чаще всего ели желуди. Но со временем увидев, как благодаря новооткрытым трудам земледельца ежегодно приносит новый плод посев пшеницы и ячменя, люди оставили прежнюю пищу на долю бессловесных животных. И никто не станет настолько безумен, чтобы сказать, что дуб лучше колоса.

Дальше...

...пусть никто не ищет в древности любви к мальчикам: ведь необходимо было сходиться с женщинами, чтобы наш род не погиб совершенно, лишенный оплодотворения. Но только в наш век... появились на свет разнообразные знания и те стремления, которые возбуждает в нас благородная жажда прекрасного. Тогда вместе с божественной философией расцвела и любовь к мальчикам... Харикл ...не считай, что общение с женщинами лучше любви к мальчикам только потому, что оно несет печать более древних времен. Будем же считать древние привычки необходимыми; но разве не заслуживает большого уважения то, что жизнь открыла, когда люди приобрели досуг для размышлений.

Я тут едва удержался от смеха, когда Харикл... заявил: «Не сходятся друг с другом самцы ни у львов, ни у медведей, ни у кабанов: лишь стремление к самкам властвует над ними». А что в этом странного? Ведь существам, лишенным разума и способности мыслить, недоступно то, что люди избирают разумным суждением... Самцы львов не живут друг с другом — но ведь они не занимаются и философией. Не сходятся друг с другом медведи-самцы — но ведь им неведома вся красота дружбы. А человеческий разум и знания, из частных опытов выбрав лучшее, признали любовь к мальчикам самой верной...

Пока дело касается детей — пусть сохраняют значение женщины; но во всем остальном — прочь, знать не хочу! Кто же в здравом уме мог бы перенести женщину, которая с раннего утра прикрашивается с помощью неестественных ухищрений? Ее подлинный вид безобразен, и лишь искусственные украшения скрадывают природную неприглядность... Вместо того, чтобы, смыв чистой струей воды сонное оцепенение, тотчас взяться за какое-

нибудь важное дело, женщина разными сочетаниями присыпок делает светлой и блестящей кожу лица... Но больше всего времени и сил тратят они на укладку волос... Затем пестрые сандалии затягивают ногу так, что ремни врезаются в тело. Для приличия надевают они тонкотканную одежду... Все, что под этой одеждой, более открыто, чем лицо, — кроме безобразно отвисающих грудей, которые женщины стягивают повязками. Зачем распространяться и о других негодных вещах, которые стоят еще дороже?..

А как проводят они время после таких приготовлений? Сразу же уходят из дому, чтобы поклоняться всяким богам, гибельным для мужей... По приходе оттуда, дома — тотчас же долгое умывание и обильная, клянусь Зевсом, еда, и при этом — великое жеманство перед мужчинами... при этом рассказывают о своих ночах, проведенных с мужчиной, о постели, полной женской неги, так что каждый, встав с нее, нуждается в немедленном омовении.

Теперь стоит противопоставить женским порокам мужественный образ юноши. Рано встав с одинокого ложа, простою водой смыв с глаз остатки сна и надев священную хламиду, он уходит от отцовского очага и идет, потупившись и не глядя ни на кого из встречных... за юношей несут складные таблички, книги... и сладкозвучную лиру.

Укрепив душу философскими познаниями и насытив разум благами всестороннего образования, юноша совершенствует тело достойными свободного человека упражнениями. Он занят фессалийскими конями, а потом закаляет свою юность, в мирное время изучает военное дело, бросая дротики и пуская стрелы меткою рукой. Потом — умащения палестры; под зноем полуденного солнца покрывается пылью крепкое тело, и каплями стекает пот

трудных состязаний. После этого — недолгое умывание и умеренная трапеза, подкрепляющая юношу для предстоящих вскоре трудов; и снова с ним учителя и записи, в которых намеками или прямо рассказано о делах древности: кто из героев был храбр, кто проявил высокий разум или кто был предан справедливости и умеренности... Когда же вечер прекратит его труды, юноша умеренно отдает необходимую дань потребностям желудка и, успокоенный дневной усталостью, спит сладким, достойным зависти сном.

Так кто же мог бы не влюбиться в такого юношу? Кто настолько слеп, у кого настолько поврежден разум? Как не полюбить его..? Ведь он, смертный телом, стремится достичь божественной доблести. А по мне, боги небесные, пусть бы вся моя жизнь прошла так, чтобы я сидел против друга и слышал вблизи его милые речи... во всяком деле был вместе с ним... Но если уж... его постигнет болезнь, — я буду болеть вместе с ним, когда он страдает. Если в зимнюю непогоду он выйдет в море, я поплыву вместе с ним. Если насилие тирана наденет на него оковы, я сам себя закую в такое же железо. Всякий, кто ненавидит его, будет и моим врагом, и другом будет тот, кто к нему расположен... А если бы он умер, не вынес бы жизни и я; как мою последнюю волю, я завещаю тем, кого после него я любил больше всех, чтобы над нами обоими насыпали общий могильный холм и, смешав кости с костями, не разделяли бы нашего безгласного праха.

Не моя любовь к тем, кто ее достоин, первой предначертала это. Нет, дух героев, близкий богам, установил закон, чтобы эта любовь к друзьям жила до самой смерти и улетучивалась лишь с последними вздохами. С младенческого возраста соединила Фокида Ореста с Пиладом... Эту влюбленную дружбу

они не ограничили пределами Эллады... Когда эта чистая любовь... возмужает и будет донесена до того возраста, в котором человек уже может мыслить разумно, тот, кто был любим, платит ответной любовью, и трудно разобрать, кто же в кого влюблен, ибо привязанность любимого как зеркало отражает точное подобие чувства любящего... Сократ к прочим своим учениям, которые приносят пользу в жизни, прибавил завет любви к мальчикам, потому что она в высшей степени полезна.

Любить юношей следует так, как любил Алкивиада Сократ, спавший с ним под одним плащом сном отца. А я, кончая свою речь, с удовольствием бы прибавил ко всему сказанному слова Каллимаха:

Если бы вы, что глядите на юношей
алчущим взором,
Так их любили, как вам Эрхий любить повелел, —
Был бы ваш город тогда мужами добрыми полон.

Помните это, юноши, и целомудренно подходите к мальчикам, добрым нравом!.. Тех, кто был этому предан, после земли принимает эфир, и после смерти они получают лучшую жизнь как нетленную награду за добродетели».

Когда они (спорящие. — *составитель*) попросили меня объявить свое мнение, я, подумав недолгое время и взвесив речи обоих, сказал:



«Браки полезны людям в жизни и, в случае удачи, бывают счастливыми. А любовь к мальчикам, поскольку она завязывает узы непорочной дружбы, является, по-моему, делом одной философии. Поэтому жениться следует всем, а любить мальчиков будет позволено одним только мудрецам. Ведь ни одна женщина не обладает полной мерой добродетели...»

МИКЕЛАНДЖЕЛО

Микеланджело Буонаротти (1475–1564) – итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт.

Творчество Микеланджело определило развитие европейского искусства XVI в. В нем нашли выражение идеалы Высокого Возрождения, стремление отразить красоту и мощь человеческой личности. К поэтическому творчеству Микеланджело обратился в последние 30 лет своей жизни. Его лирика отмечена глубиной мысли и трагическим мироощущением. В своих стихах Микеланджело рассказывал о любви, стремлении к красоте и гармонии. Излюбленная поэтическая форма Микеланджело – мадригал и сонет. Стихи Микеланджело при жизни не публиковались. Первое их издание было осуществлено в 1623 г.

СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ТОММАЗО КАВАЛЬЕРИ

36

Скорбит и стонет разум надо мной,
Как мог в любви я счастьем обольститься!
И доводом и притчею живой
Меня корит и молит вразумиться:
«Что черпаешь в стихии огневой?
– Не только ль смерть? Ведь ты же
не жар-птица?»
Но я молчу: нельзя чужой рукой
Спасти того, кто к смерти сам стремится.
Мне ведом путь и блага и страстей,
Но втайне мной другое сердце правит;
Его насилье слаб я побороть.
Мой властелин живет меж двух смертей:

Одна страшна, другая же лукавит,
И вот томлюсь, и чахнут дух и плоть.

44

Будь чист, огонь, будь милосерден, дух,
Будь одинаков жребий двух влюбленных,
Будь равен гнет судеб неблагосклонных,
Будь равносильно мужеству у двух,
Будь на одних крылах в небесный круг
Восхищена душа двух тел плененных,
Будь пронзено двух грудей воспаленных
Единою стрелою сердце вдруг.
Будь каждый каждому опорой,
Чтоб, избавляя друга от обуз,
К одной мечте идти двойною волей,
Будь тьмы соблазнов только сотой долей,
Вот этих верных и любовных уз, —
Ужель разрушить их случайной ссорой?

46

Я отлучен, изгнанник, от огня:
Я никну там, где все произрастает;
Мне пищей то, что жжет и отравляет;
И что других мертвит, — живит меня.

47

Скорблю, горю, томлюсь — и сердце в этом
Себе находит пищу. Сладкий рок!
Кто б жить одним лишь умираньем мог,
Как я, теснимый злобой и наветом?
Ты, лютый Лучник, знаешь по приметам,
Когда настал твоей десницы срок
Нам дать покой от жизненных тревог,
Но вечно жить, в ком смерть живым бьет светом.

48

Будь у огня равенство с красотой,
Являющей исток свой в ваших взорах,
Не знал бы мир тех льдистых стран, в которых,
Как огнемет, не запылал бы зной.
Но небо страждет страшной маетой
И вашу прелесть держит на запорах,
Чтоб нам не пасть из-за нее в раздорах
И в скорбной жизни обрести покой.
Так не равны краса и пламень силой,
И лишь пред тем любовью мы горим,
Что нам доступно прелестью своею;
Таков и я в свой век, Синьор мой милый:
Горю и гибну, но огонь незрим,
Затем, что вьявь пылать я не умею.

50

Вот так же, как чернила, карандаш,
Таят стиль низкий, средний и высокий,
А мрамор — образ мощный иль убогий,
Подстать тому, что может гений наш, —
Так, мой Сеньор, покров сердечный ваш
Скрывает, рядом с гордостью, истоки
Участливости нежной, дороги
Мне к ней еще не открывает страж.
Заклятья, камни, звери и растенья,
Враги недугов, — будь язык у них, —
О вас сказали б тоже в подтвержденье:
И может быть, я впрямь от бед моих
У вас найду защиту и целенье.
....

69

Ждет издали меня холодный лик,
Но в нем самом растет оледененье.

В двух стройных дланях — сила без движенья,
Хоть каждый груз им был бы невелик.
Редчайший дух, чью суть лишь я постиг,
Нетленный сам, но разносящий тленье,
Не полоня, ввергает в заточенье
И весел тем, что горестно я сник.
Но боже, как столь чудный облик может
Во мне такой обратный дать итог?
Как одарять, достатка не имея!
Не так же ль он во мне беспечность гложет,
Как солнце жжет, — не будь к сравненью строг! —
Вселенную, все больше леденея?

70

Лишь вашим взором вижу сладкий свет,
Которого своим, слепым, не вижу;
Лишь вашими стопами цель приближу,
К которой мне пути, хромому, нет;
Бескрылый сам, на ваших крыльях, вслед
За вашей думой, ввысь себя я движу;
Послушен вам — люблю и ненавижу,
И зябну в зной, и в холоде согрет.
Своею волей весь я в вашей воле,
И ваше сердце мысль мою живит,
И речь моя — часть вашего дыханья.
Я — как луна, что на небесном поле
Невидима, пока не отразит
В ней солнца отблеск своего сиянья.

71

Кто сотворил, из ничего создав,
Бег времени, не бывшего дотоле, —
Двоя одно, дав солнце первой доле,
Второй луне, соседку нашу, дав.

Судьбы, удачи, случая устав
Был порожден в единый миг оттоле, —
И мне пришлось притти на свет не в холе,
Но темный жребий на себя приняв.
И вот как тот, кто сам собой томится,
Как, подвигаясь, ночь густеет мглой, —
Так я за грех казню себя все злее;
Но я утешен тем, что стал светлее
Мой мрак от солнца, что дано судьбой
Вам в спутники, чтоб в этот мир явиться.

85

Верните вы, ручьи и реки, взорам
Поток не ваших и соленых вод,
Чей быстрый бег сильней меня несет,
Чем вы своим медлительным напором.
И ты, туман, верни глазам, которым
От слез невидим звездный небосвод,
Их скорбь, и пусть твой хмурый лик блеснет
В мой жадный зрак яснеющим простором.
Верни, земля, следы моим стопам,
Чтоб встать в траве, примятой мной сурово,
И ты, глухое эхо, — рокот мой;
И взгляды, вы, — святой огонь очам,
Чтоб новой красоте я отдал снова
Мою любовь, не взятую тобой.

88

В ком тело — пакля, сердце — горстка серы,
Состав костей — валежник, сухостой;
Душа — скакун, не сдержанный уздой:
Порыв кипуч, желания — без меры;
Ум — слеп и хром и полн ребячьей веры,
Хоть мир — капкан и стережет бедой:
Тот может, встретясь с искоркой простой,

Вдруг молнией сверкнуть с небесной сферы.
Так и в искусстве, свыше вдохновлен,
Над естеством художник торжествует,
Как ни в упор с ним борется оно;
Так, если я не глух, не ослеплен
И творческий огонь во мне бушует, —
Повинен тот, кем сердце зажжено.

89

Я стал себе дороже, чем бывало,
С тех пор, как ты — здесь, на сердце моем;
Так мрамор, обработанный резцом,
Ценней куска, что дал ему начало.
Лист, где искусство образ начертало,
Неравночтим с тряпицей иль клочком.
Так и моя мишень твоим челом
Означена, — и горд я тем немало.
Я прохожу бестрепетно везде,
Как тот, кого в пути вооруженье
Иль талисман от напастей хранит;
Я неподвластен памяти, воде, —
Твоим гербом слепцам дарую зренье,
Своей слюной уничтожаю яд.

Томас Манн

ЭРОТИКА МИКЕЛАНДЖЕЛО

Большинство стихотворений Микеланджело, вернее, почти все — это любовные песни, создавались на протяжении многих десятилетий: начиная с 1504 года до середины века и много позже. Он всегда одержим любовью, всегда влюблен, и она глубоко трогательна, эта бессмертная одержимость гения, уже давно пере-

шагнувшего возраст любви, одержимость волшебством человеческого лица — красотой ли цветущего юноши или прелестью царственно величавой женщины; глубоко трогательна негаснущая его чувствительность к «силе прекрасного лица» — в этой силе он видит единственное счастье, даруемое жизнью; ее он, бесконечно сетуя на жестокость бога любви и проклиная эту жестокость, называет благодатью, которая при жизни возносит его к сонму блаженных, ибо ничто не дарит ему подобного счастья!..

Великое, страждущее, неукротимо страстное сердце! Я ничего не знаю о Томмазо Кавальери, которому оно принадлежало целое десятилетие. Ученым, вероятно, кое-что известно о нем. Видимо, он был молодым дворянином или патрицием (разумеется, с красивыми глазами), потому что Микеланджело постоянно именует его «господин», «мой господин», «мой дорогой господин», и в этом, очевидно, следует видеть не только преданность влюбленного, но и обычную форму обращения к мужчине. Хочу верить, что Томмазо был славный, доброжелательный мальчик, сознававший, какую честь оказал ему гений, отдав ему свое сердце. Нет сомнений, что он ни единым словом не выдал себя, но в пятьдесят восемь лет великий ваятель, уже изнуренный титаническим трудом, считал возможным, что

> ...более, чем я осмелюсь верить,
> Твой дух, который это пламя зрит,
> Меня немой взаимностью дарит.

Взаимностью? Микеланджело никогда не любил ради взаимности, никогда не хотел и не мог в нее верить. Для него, истинного платоника, божество обитает в любящем, а не в любимом, который всего лишь источник божественного вдохновенья, и как бы страстно ни томился он по тому блаженному дню, несбыточному и обетованному, когда солнце остановится на своем извечном пути и когда он — недостойный! недостойный! — навсегда заключит в объятия «господина своих желаний», — день этот не более чем химера, равно как и всякая «взаимность», ибо эротика Микеланджело, по всей видимости, принципиально

6 Заказ 773

основана на противоположности красоты и безобразной старости, которая любит и которой нечего ожидать в ответ, разве чуточку «сострадания, доброты и милости».

В самом деле, почти все свои любовные стихи он создал на склоне жизни, — он писал их, даже когда перешагнул за седьмой десяток, — и в них все снова и снова повторяется одна и та же мысль: его безобразная старость должна еще выше вознести красоту избранного им существа. Таким было его отношение и к «Жестокой женщине», а, обращаясь к Кавальери, он говорит прямо: единственным утешеньем ему то, что темная ночь (ночь души и тела) служит любимому зеркалом, что благодаря ей еще ярче сияет солнце, которое «в спутники ему дано рожденьем»...

МОНТЕНЬ

Мишель де Монтень (1533—1592) — французский просветитель, философ-скептик, политический деятель. В 1580—1588 гг. опубликовал свое основное сочинение «Опыты» в трех книгах. Создатель нового жанра «эссе» («опыты»), для которого характерны размышления над конкретными историческими фактами, бытом и нравами людей разного социального положения и уровня культуры.

Все размышления сопровождаются рассказом о личном опыте, склонностях и убеждениях писателя.

О ДРУЖБЕ

Распущенность древних греков в любви, имеющая совсем особый характер, при наших нынешних нравах справедливо внушает отвращение. Но, кроме того, эта любовь, согласно принятому у них обычаю, неизбежно предполагала такое неравенство в возрасте и такое различие в общественном положении между любящими, что ни в малой мере не представляла собой того совершенного единения и соответствия, о которых мы здесь говорим. Что же представляет собой эта влюбленность друзей? Почему никто не полюбит безобразного юношу или красивого старца? И даже то изображение любви, которое дает Академия, не отнимает, как я полагаю, у меня права сказать со своей стороны следующее: когда сын Венеры поражает впервые сердце влюбленного страстью к предмету его обожания, пребывающему во цвете своей нежной юности, — по отношению к которой греки позволяли себе любые бесстыдные и пылкие домогательства, какие только может породить безудержное желание, — то эта

страсть может иметь своим основанием исключительно внешнюю красоту, только обманчивый образ телесной сущности. Ибо о духе тут не могло быть и речи, поскольку он не успел еще обнаружить себя, поскольку он только еще зарождается и не достиг той поры, когда происходит его созревание. Если такой страстью воспламенялась низменная душа, то средствами, к которым она прибегала для достижения своей цели, были богатство, подарки, обещание впоследствии обеспечить высокие должности и прочие низменные приманки, которые порицались философами. Если она западала в более благородную душу, то и приемы завлечения были более благородными, а именно: наставление в философии, увещания чтить религию, повиноваться законам, отдать жизнь, если понадобится, за благо родины, беседы, в которых приводились образцы доблести, благоразумия, справедливости; при этом любящий прилагал всяческие усилия дабы увеличить свою привлекательность добрым расположением и красотой своей души, понимая, что красота его тела увяла уже давно, и надеясь с помощью этого умственного обещания установить более длительную и прочную связь с любимым. И когда усилия после долгих стараний увенчивались успехом (ибо, если от любящего и не требовалось осторожности и осмотрительности в выражении чувств, то эти качества обязательно требовались от любимого, которому надлежало оценить внутреннюю красоту, обычно неясную и трудно различимую), тогда в любимом рождалось желание духовно зачать от духовной красоты любящего. Последнее для него было главным, а плотское — случайным и второстепенным, тогда как у любящего было все наоборот. Именно по этой причине любимого древние греки ставили выше, утверждая, что и боги придерживаются того

же. По этой же причине порицали они Эсхилла, который, изображая любовь Ахилла к Патроклу, отвел роль любящего Ахиллу, хотя он был безбородым юношей, только-только вступившим в пору своего цветения и к тому же прекраснейшим среди греков. Поскольку в том целом, которое представляет собой это содружество, главная и наиболее достойная сторона выполняет свое назначение и господствует, оно, по их словам, порождает плоды, приносящие огромную пользу как отдельным лицам, так и всему обществу; они говорят, что именно в этом заключалась сила тех стран, где был принят этот обычай, что он был главным оплотом равенства и свободы и что свидетельством этого является столь благодетельная любовь Гармодия и Аристогитона. Они называют ее поэтому божественной и священной. И лишь произвол тиранов и трусость народов могут, по их мнению, противиться ей. В конце концов, все, что можно сказать в оправдание Академии, сводится лишь к тому, что эта любовь заканчивалась подлинной дружбой, а это уж не так далеко от определения любви стоиками: любовь есть стремление добиться дружбы того, кто привлекает своей красотой.

ШЕКСПИР

Уильям Шекспир (1564—1616) — английский поэт и драматург. С конца 1580-х годов — актер и драматург в Лондоне. Поэтическую известность Шекспиру принесли поэмы «Венера и Адонис» (1593) и «Лукреция» (1594), развивавшие традиции философской лирики Возрождения. Между 1592 и 1606 гг. созданы 154 сонета. Сюжетная их основа — любовь лирического героя к другу (1—126) и возлюбленной (127—152) — по всей видимости, автобиографична. Шекспир — автор 37 пьес.

СОНЕТЫ

22

Лгут зеркала — какой же я старик!
Я молодость твою делю с тобою.
Но если дни избороздят твой лик,
Я буду знать, что побежден судьбою.

Как в зеркало глядясь в твои черты,
Я самому себе кажусь моложе,
Мне молодое сердце даришь ты,
И я тебе свое вручаю тоже.

Старайся же себя оберегать —
Не для себя: хранишь ты сердце друга.
А я готов, как любящая мать,
Беречь твое от горя и недуга.

Одна судьба у наших двух сердец:
Замрет мое — и твоему конец.

36

Признаюсь я, что двое мы с тобой,
Хотя в любви мы существо одно,
Я не хочу, чтоб мой порок любой
На честь твою ложился как пятно.

Пусть нас в любви одна связует нить,
Но в жизни горечь разная у нас.
Она любовь не может изменить,
Но у любви крадет за часом час.

Как осужденный, права я лишен
Тебя при всех открыто узнавать,
И ты принять не можешь мой поклон,
Чтоб не легла на честь твою печать.

Ну, что ж, пускай!.. Я так тебя люблю,
Что весь я твой и честь твою делю.

68

Его лицо — одно из отражений
Тех дней, когда на свете красота
Цвела свободно, как цветок весенний,
И не рядилась в ложные цвета,

Когда никто в кладбищенской ограде
Не смел нарушить мертвенный покой
И дать забытой золотистой пряди
Вторую жизнь на голове другой.

Его лицо приветливо и скромно.
Уста поддельных красок лишены,
В его весне нет зелени заемной
И новизна не грабит седины.

Его хранит природа для сравненья
Прекрасной правды с ложью украшенья.

90

Уж если ты разлюбишь, — так теперь,
Теперь, когда весь мир со мной в раздоре.
Будь самой горькой из моих потерь,
Но только не последней каплей горя!

И если скорбь дано мне превозмочь,
Не наноси удара из засады.
Пусть бурная не разрешится ночь
Дождливым утром — утром без отрады.

Оставь меня, но не в последний миг,
Когда от мелких бед я ослабею.
Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг,
Что это горе всех невзгод больнее,

Что нет невзгод, а есть одна беда —
Твоей любви лишиться навсегда.

100

Где муза? Что молчат ее уста
О том, кто вдохновлял ее полет?
Иль, песенкой дешевой занята,
Она ничтожным славу воздает?

Пой, суетная муза, для того,
Кто может оценить твою игру,
Кто придает и блеск, и мастерство,
И благородство твоему перу.

Вглядись в его прекрасные черты
И, если в них морщинку ты найдешь,
Изобличи убийцу красоты,
Строфою гневной заклейми грабеж.

Пока не поздно, времени быстрей
Бессмертные черты запечатлей!

120

То, что мой друг бывал жесток со мною,
Полезно мне. Сам испытав печаль,
Я должен гнуться под своей виною,
Коль это сердце — сердце, а не сталь.

И если я потряс обидой друга,
Как он меня, — его терзает ад,
И у меня не может быть досуга
Припоминать обид минувших яд.

Пускай та ночь печали и томленья
Напомнит мне, что чувствовал я сам,
Чтоб другу я принес для исцеленья,
Как он тогда, раскаянья бальзам.

Я все простил, что испытал когда-то.
И ты прости, — взаимная расплата!

Оскар Уайльд

ПОРТРЕТ МИСТЕРА W. H.

Это был портрет во весь рост молодого человека в костюме конца XVI века. Он стоял у стола, правая рука его лежала на открытой книге.

Ему казалось лет семнадцать, он был удивительно красив, хотя с несколько женственными чертами лица. Если бы не костюм и не коротко остриженные волосы, можно было бы сказать, что это лицо девушки, такие у него были замечательные, задумчивые глаза и нежные, алые губы. Манерой рисунка, особенно в изображении руки, портрет напоминал последние произведения Франсуа Клуэ. Черный бархатный камзол с золотистыми шнурами и сизый фон, на котором вся фигура выделялась и который придавал такую яркость ее

краскам, были несомненно в стиле Клуэ; а две маски Трагедии и Комедии, висевшие на мраморном пьедестале, отличались суровою строгостью рисунка, лишенного легкой грации итальянцев, — строгостью, которую великий фламандский художник не утратил даже при французском дворе и которая всегда оставляет характерную особенность северного творчества.

— Какая прелестная вещь! — вскричал я: — но кто же этот восхитительный юноша, красоту которого, к счастью, сохранило для нас искусство?

— Это портрет мистера W. H., — отвечал Эрскин с грустной улыбкой. Может быть, это была случайная игра света, но мне показалось, что в глазах его блестят слезы.

— Мистер W. H.! — вскричал я, — кто же это такой?

— Не помните? — отвечал он: — посмотрите на книгу, на которой лежит его рука.

— Я вижу, что на ней что-то написано, но не могу разобрать, что именно.

— Возьмите это увеличительное стекло и попробуйте, — предложил Эрскин с той же печальной улыбкой.

Я взял стекло и, придвинув лампу, начал с трудом разбирать неразборчивый почерк XVI столетия. «Единственному вдохновителю этих сонетов»... — Господи! — вскричал я: — это шекспировский мистер W. H.?

— Так уверял Кирилл Грэхем, — проговорил Эрскин.

— Но он нисколько не похож на лорда Пемброка, — возразил я. — Я знаю очень хорошо его портреты, я видел их всего несколько недель тому назад.

— А вы думаете, что сонеты действительно относятся к лорду Пемброку? — спросил он.

— Я в этом уверен, — отвечал я. — Пемброк, Шекспир и миссис Мэри Фиттон играют роль во всех сонетах; в этом не может быть сомнения.

— Да, я с вами согласен, — сказал Эрскин, — но я не всегда держался этого мнения. Я верил... да, признаться, я верил в Кирилла Грэхема и его теорию...

— А что же это за теория? — спросил я, продолжая смотреть на удивительный портрет, который начинал производить на меня какое-то странное очарование.

— Это длинная история, — сказал Эрскин, взяв от меня картину как-то слишком быстро, — так мне, по крайней мере, показалось в то время: — очень длинная история; если она вас интересует, я вам, пожалуй, ее расскажу...

... — Я должен сначала сказать несколько слов о самом Кирилле Грэхеме. Мы с ним товарищи по Итону. Я был на год-два старше его, но мы были величайшие друзья, вместе и учились и играли. По правде сказать, игр у нас было больше, чем ученья, но я не скажу, что жалею об этом. Для человека всегда очень хорошо, если он не получил основательного коммерческого образования, а то, чему я научился на наших итонских играх, было для меня менее полезно, чем знания, приобретенные мною в Кембридже. Должен вам сказать, что отец и мать Кирилла оба умерли. Они потонули при ужасном крушении яхты около острова Уайта. Отец его служил по дипломатической части и женился на дочери, на единственной дочери старого лорда Кредитона, который сделался опекуном Кирилла после смерти его родителей. Кажется, лорд Кредитон не очень любил Кирилла. Он никак не мог простить своей дочери замужество с человеком нетитулованным. Сам он был старый аристократ, но ругался, как лавочник, и держал себя, как мужик. Помню, я видел его один раз после заседания парламента. Он сердито поглядел на меня, дал мне золотой и сказал, чтобы я, пожалуйста, не сделался таким же «проклятым радикалом», как мой отец. Кирилл не любил его и с удовольствием проводил большую часть праздников с нами в Шотландии. Они совсем не подходили друг другу. Кирилл называл его медведем, а он Кирилла — бабой. В некоторых отношениях у Кирилла действительно было нечто женственное, но он отлично ездил верхом и превосходно фехтовал. В Итоне он выучился очень хорошо драться на рапирах. Но он казался вялым, очень заботился о своей наружности и терпеть не мог игры в футбол. Только две вещи доставляли ему истинное удовольствие: поэзия и актерство. В Итоне он постоянно наряжался в разные костюмы и декламировал Шекспира, а когда перешел в университет, то на первом же семестре вступил в студенческое драматическое общество. Помню, я всегда очень зави-

довал его сценическому таланту. Вообще, я был до нелепости предан ему: может быть, потому, что мы во многом составляли противоположность друг другу. Я был застенчивый, болезненный мальчик с длинными ногами и веснушчатым лицом. Веснушки передаются в некоторых семьях Шотландии по наследству, как подагра в Англии. Кирилл часто говорил, что из этих двух зол предпочитает подагру. Он придавал слишком большое значение красоте и однажды прочел в нашем кружке реферат, в котором доказывал, что быть красивее лучше, чем быть добрым. Сам он был замечательно красив. Люди, не любившие его, филистеры, классные наставники и студенты, готовившиеся к духовному званию, находили, что у него просто смазливое личико. Но это не правда, лицо его было более, чем смазливым. Кажется, я никогда не видел человека более красивого. Движения его были исполнены грации, манеры привлекательны. Он очаровывал всех, кого стоило очаровывать, иногда и тех, кого не стоило. Он часто бывал своеволен и капризен, и я находил его ужасно неискренним. Но это, вероятно, происходило от его непомерного желания нравиться. Бедный Кирилл! Я ему сказал один раз, что он довольствуется весьма дешевыми успехами, но он только засмеялся. Он был страшно избалован; я думаю, что все красавцы бывают избалованы, это обусловливается их привлекательностью.

Впрочем, я должен вам рассказать об игре Кирилла в театре. Вы знаете, что в студенческом драматическом обществе не позволяют играть актрисам. По крайней мере, так было в мое время, не знаю, как это теперь. Ну, Кириллу постоянно оставляли женские роли. В пьесе «Как вам это понравится» он исполнял роль Розалинды, и, право, исполнял превосходно. Кирилл Грэхем был единственной безукоризненной Розалиндой, какую я когда-либо видел. Я не могу описать вам всю красоту, нежность, тонкость его игры. Она имела громадный успех, и маленький, дрянной театр, каким он был в то время, собирал каждый вечер толпу зрителей. До сих пор всякий раз, когда я перечитываю пьесу, я невольно вспоминаю Кирилла. Роль была как будто специально для него написана. В следующий семестр он кончил университет и переехал в Лондон

готовиться к дипломатической карьере. Но он ничего не делал для этой подготовки. Он проводил дни в чтении сонетов Шекспира, а каждый вечер бывал в театре. Он страстно жаждал поступить на сцену...

Однажды я получил от него письмо, в котором он просил меня прийти к нему в этот вечер. Он занимал прелестные комнаты на Пикадилли против Грин-парка, и так как я обыкновенно заходил к нему каждый день, то я очень удивился, что он вздумал меня приглашать. Я, конечно, пошел к нему и нашел его в сильном возбуждении. Он рассказал мне, что, наконец, открыл настоящий смысл сонетов Шекспира; что все ученые и критики заблуждаются, и что он первый, основываясь на внутреннем убеждении, узнал, кто такой в действительности мистер W. H. Он был в полном восторге и долго не хотел открыть мне своей теории. Наконец, он достал связку заметок, достал из шкапа книгу сонетов, сел и прочел мне целую лекцию...

Задача, поставленная им, заключалась в следующем: кто был молодой человек, современник Шекспира, незнатного происхождения и даже не очень благородный по натуре, к которому он обращался со словами такого страстного обожания, что мы можем лишь удивляться этому поклонению и почти боимся повернуть ключ, открывающий тайну сердца поэта? Кто это такой, чья физическая красота сделалась краеугольным камнем искусства Шекспира, источником его вдохновения, воплощением его мечты? Видеть в нем лишь объект любовных стихотворений — значит совершенно не понимать смысла этих стихов: то искусство, о котором Шекспир говорит в сонетах, — не есть искусство писать сонеты, — он смотрел на них как на вещь, не стоящую большого внимания и не предназначенную для публики, — это драматическое искусство. И тот, кому Шекспир говорит:

Искусство же мое живет тобою,
Взнесенное твоей ученостью благою, —

тот, кому он обещает бессмертие:

И будешь вечно жить в устах людей живых, —

был, несомненно, не кто иной, как молодой актер, для которого он создал Виолу и Имогену, Джульетту и Розалинду, Порцию и Дездемону, даже Клеопатру. В этом и состояла теория Кирилла Грэхема, выведенная, как видите, из содержания самих сонетов и основанная не столько на ясных доказательствах и на очевидных фактах, сколько на известного рода художественном чутье, без которого нельзя понять настоящий смысл этих стихотворений...

Очевидно, что в труппе Шекспира был какой-нибудь удивительно красивый молодой актер, которому он представлял роли своих благородных героинь; известно, что Шекспир был столько же практический директор театра, сколько и плодовитый поэт, и Кирилл Грэхем открыл имя этого молодого актера. Его звали Вилли Хьюс...

Мне было неясно, почему Шекспир придавал такое большое значение тому, чтобы его молодой друг женился. Сам он женился рано и был несчастлив в браке, странно было, что он советовал Вилли Хьюсу повторить ту же ошибку. Молодой актер, исполнявший роль Розалинды, ничего не мог бы выиграть от брака или от переживания реальной страсти...

...Наконец, я дошел до своего великого открытия. Брак, который Шекспир предлагает Вилли Хьюсу, есть «брак с его Музою».

...Дети, которых он просит родить, не были детьми из плоти и крови, а бессмертными детьми неувядаемой славы...

Ты должен создать что-либо для искусства: «Мои стихотворения — твои, они *порождены* тобою»: только слушай меня, и я *произведу* на свет множество стихов, и они проживут долгое время, и ты населишь существами, созданными по твоему подобию, фантастический мир сцены. Эти дети, которых ты породишь, — продолжает Шекспир, — не уйдут от тебя, как уходят смертные дети, ты будешь жить в них и в моих драмах.

Подобие свое создай хоть для меня,
Чтоб красота жила во всех тебе подобных...

...Никакие мраморные и позолоченные памятники князей, — говорит Шекспир, — не переживут этого могучего стиха. В том, что он выражает, ты будешь сиять с большим блеском, чем камень, который может загрязнить беспощадное время. Опустошительные войны потрясут устои государства и междоусобия разрушат крепкие здания, но меч Марса и огонь войны не уничтожат память о тебе. Ты будешь жить несмотря ни на смерть, ни на всезабывающую вражду, твоя слава найдет себе место в глазах потомков, которые будут жить до конца света. Да, пока сам ты не воскреснешь для суда, ты будешь жить в этом произведении, жить в глазах твоих поклонников...

В сонетах рассыпано множество намеков на то сильное впечатление, какое Вилли Хьюс производил на зрителей; но самое лучшее описание его удивительного аристократического таланта находим мы в «Жалобе влюбленного», где Шекспир говорит о нем:

Как он искусно вдруг преображался!
С коварством он освоился душой:
То вспыхивал, то плакать принимался,
То весь бледнел, как призрак гробовой.
Чем нужно было, всем он притворялся:
То весь в слезах, стыдливо он краснел,
То в миг один испуганно бледнел.
....
Блестящей речью, гибкой и прекрасной,
Всех без труда красавиц убеждал
И чудеса порою совершал:
Он плачущих заставить мог смеяться,
Смеющихся — рыдать и сокрушаться.

ДИДРО

Дени Дидро (1713—1784) — французский философ-материалист, писатель и эстетик, просветитель, глава энциклопедистов. Идеолог третьего сословия. Критик христианской церкви и религии. Автор выдающихся философских произведений («Разговор с Д'Аламбером», «Сон Д'Аламбера», «Парадокс об актере» и мн. др.), драм, романов и повестей («Монахиня», «Племянник Рамо», «Жак-фаталист и его хозяин»).

МОНАХИНЯ

Не знаю, видели ли вы Арпанжонский монастырь. Это квадратное здание; с одной стороны его — большая дорога, с другой — поля и сады... Настоятельница вышла ко мне навстречу с распростертыми объятиями, поцеловала меня, взяла за руку и повела в монастырский зал, куда успели придти некоторые монахини и сбежались остальные...

Порядок сменялся в монастыре беспорядком... И тогда достаточно малейшего упущения, и настоятельница зовет монахиню в свою келью, распекает ее, приказывает раздеться и нанести себе двадцать ударов бичом. Монахиня повинуется, раздевается, берет свой бич и начинает истязать себя, но едва она наносит несколько ударов, как настоятельница, сделавшись сострадательной, вырывает у нее орудие покаяния, принимается плакать, говорит, что чувствует себя несчастной оттого, что наказала ее, целует ей лоб, глаза, рот, плечи, ласкает и расхваливает: «Какая у нее белая и нежная кожа! Какая округлость форм! Какая прекрасная шея! Какие волосы!.. Сестра Августина, да ты с ума сошла, чего ты стыдишься, сбрось это белье: я

женщина и твоя настоятельница. О! Какая прекрасная грудь! Как она тверда! — и неужели я потерпела бы, чтобы острие бича разодрало это тело? Нет, нет, этого не будет никогда»... Она опять целует монахиню, поднимает ее, одевает сама, говорит с ней очень нежно, освобождает от церковной службы и отсылает в келью. Плохо иметь дело с женщинами такого рода: никогда не знаешь, как им угодить, что надо делать и чего избегать... И вот ей-то я дала торжественный обет послушания...

Я вошла с нею; она вела меня, обняв за талию...

Настоятельница выпроводила остальных и пошла сама водворить меня в моей келье. Она проявила необычайное радушие; показывая на божницу, она сказала: «Там мой дружок будет молиться богу; я хочу, чтобы на эту скамеечку положили подушку, а то она натрет тебе коленочки. В кропильнице нет ни капли святой воды, — сестра Доротея вечно забудет что-нибудь. Сядьте в кресло, посмотрите, удобно ли вам в нем».

Говоря так, она усадила меня, прислонила мою голову к спинке кресла и поцеловала в лоб. Подошла к окну, чтобы удостовериться, легко ли поднимаются и опускаются рамы, к моей кровати, где отдернула и задернула полог, чтобы посмотреть, хорошо ли он закрывается. Оглядела одеяло: «Одеяло хорошее». Взяла подушку и, взбивая ее, сказала: «Дорогой головке будет на ней очень хорошо; эти простыни недостаточно тонки, но в монастыре у всех такие; эти матрацы хороши»... После этой сцены я подумала про себя: «Что за безумное создание!» И ждала в будущем и хорошего, и плохого...

Настоятельница посетила меня в первый же вечер. Она пришла в ту минуту, когда я хотела раздеваться. Она сама сняла с меня покрывало и нагрудник,

7 Заказ 773

сама причесала на ночь, сама раздела. Она наговорила мне кучу нежных слов и заласкала меня. Все это немного смущало меня, не знаю почему, так как ни я, ни она не видели в этом ничего особенного; даже в настоящее время, размышляя об этом, я не понимаю, что могло быть тут предосудительного?.. Она поцеловала мне шею, плечи, руки, похвалила мои формы и талию и уложила в постель; подоткнула одеяло с обеих сторон, поцеловала в глаза, задернула полог и ушла...

На следующий день, в девять часов, я услышала легкий стук в дверь; я еще лежала; я ответила, вошли; это была монахиня, она сказала мне довольно ворчливым голосом, что уже поздно, что мать-настоятельница зовет меня. Я встала, поспешно оделась и пошла к ней... Монахини исчезали одна за другой, и я осталась с настоятельницей почти одна. Разговор шел о музыке. Она сидела, я стояла. Она взяла мои руки и сказала, пожимая их: «Мало того, что она хорошо играет: ни у кого в мире нет таких красивых пальцев, посмотрите-ка, сестра Тереза»... Сестра Тереза опустила глаза, покраснела и пробормотала что-то; красивые у меня пальцы или нет, правильно замечание настоятельницы или ошибочно, все же странно, что это произвело такое впечатление на эту сестру. Настоятельница обняла меня за талию и нашла, что у меня замечательно красивая талия. Она привлекла меня к себе, посадила на колени, приподняла мне голову руками, упрашивая смотреть на нее, хвалила мои глаза, рот, щеки, цвет лица. Я ничего не отвечала, потупила глаза и позволяла ласкать себя как угодно, точно дурочка. Сестра Тереза была рассеянна, беспокойна, ходила по келье туда и сюда, дотрагивалась до всего безо всякой нужды, не зная, куда деваться, глядела в окно,

притворялась, будто слышит стук в дверь, и настоятельница сказала ей:

— Тереза, ты можешь уйти, если тебе скучно.

— Мне не скучно, матушка.

— Но мне надо о многом расспросить эту девочку.

— Верю.

— Я хочу знать всю ее историю... Сюзанна, когда же я узнаю все?

— Когда прикажете, матушка.

— Я прошу тебя рассказать сейчас же, если у нас есть еще время. Который час?

Сестра Тереза ответила:

— Пять часов, матушка, сейчас ударят к вечерне.

— Ну, что ж, пусть начинают!

— Но, матушка, вы обещали мне уделить минутку перед вечерней — утешить меня...

— Нет, нет, — сказала настоятельница, — у тебя какие-то безумные мысли. Держу пари, я знаю в чем дело; мы поговорим об этом завтра...

— Право, Тереза, все твои тревоги страшно мне надоели. Я уже говорила тебе: это мне не нравится, это меня стесняет; я не хочу никаких стеснений.

— Я знаю это, но я не могу ничего с собой поделать, и я хотела бы, но не могу...

Тем временем она ушла...

...Положительно, она точно была влюблена. Она сказала мне затем, наваливаясь на меня, как будто ей стало дурно: «Дайте сюда ваш лоб, я поцелую его»... Я нагнулась, и она поцеловала меня в лоб. С той поры, как только случалось, что какая-нибудь монахиня провинится, я заступалась за нее в полной уверенности, что добьюсь помилования, разрешая настоятельнице какую-нибудь невинную ласку. Это всегда был поцелуй в лоб, в шею, в глаза, в щеки, в рот, в руки, в грудь, в плечо, но чаще всего в

рот, — она находила, что у меня чистое дыхание, белые зубы и свежие алые губы.

Если бы я заслужила хоть сотую долю похвал, которые она мне расточала, то в самом деле была бы писаной красавицей. По ее словам, у меня белый, гладкий, очаровательной формы лоб; единственные в своем роде, словно точеные, округлые руки с маленькими пухлыми кистями; грудь твердая, как камень, и дивной формы; шея, какой не было ни у кого из сестер — изысканной и редкой красоты. Всего, что она мне говорила, не перескажешь. Кое-что в ее похвалах было, конечно, верно, но все было преувеличено. Иногда, оглядывая меня с ног до головы и любуясь мной с таким видом, какого я не замечала ни у кого из женщин, она говорила: «Право, величайшее счастье, что бог призвал ее в монастырь: с такой наружностью, живя в миру, она погубила бы поголовно всех мужчин, которые увидели бы ее, и сама погибла бы с ними. Бог делает все к лучшему...»

...Тем временем она приподняла воротник моей сорочки и опустила руку на мое голое плечо; концы ее пальцев касались моей груди. Она вздыхала, казалась подавленной, тяжело дышала. Рука, которую она держала на моем плече, сначала сильно сжимала его, потом выпустила, как будто обессилев и сделавшись безжизненной; ее голова склонилась на мою голову. Право, эта безумная женщина была невероятно чувствительна и чрезвычайно сильно увлекалась музыкой. Мне никогда не приходилось встречать человека, на которого музыка производила бы такое необычайное действие...

...Я видела, что нежность, которую настоятельница возымела ко мне, растет с каждым днем. Я беспрестанно заходила в ее келью, или она бывала в моей. При малейшем нездоровье она приказывала

мне идти в лазарет; освобождала от посещения церковной службы, отсылала рано ложиться спать, запрещала являться на утреннюю молитву. На хорах, в трапезной, в рекреационном зале, везде она находила средство высказать мне свою дружбу. Если, во время пребывания на хорах, встречался какой-нибудь стих, в котором звучало чувство привязанности и нежности, то она пела его, обращаясь в мою сторону, или смотрела на меня, если его пели другие. В трапезной она всегда посылала мне что-нибудь из тех изысканных блюд, которые подавались ей. В рекреационном зале обнимала меня за талию, осыпала ласковыми словами и любезностями. Она делилась со мной всякими подношениями, которые делались ей, что бы это ни было: шоколад, сахар, кофе, ликер, табак, белье, носовые платки. Чтобы украсить мою келью, она опустошила свою, перенеся украшавшие ее гравюры, утварь, мебель, множество приятных и удобных вещей. Стоило мне отлучиться на минутку, и, вернувшись, я почти всегда находила какой-нибудь новый подарок. Я шла благодарить ее, и она испытывала невыразимую радость, обнимала меня, ласкала, сажала себе на колени, посвящала в самые секретные дела монастыря и выражала надежду на жизнь в тысячу крат более счастливую, нежели та, которую она вела раньше в миру, только бы я ее любила. После этого она останавливалась, смотрела на меня нежными глазами и говорила:

— Сестра Сюзанна, любите ли вы меня?

— Как же я вас могу не любить? У меня была бы тогда очень неблагодарная душа.

— Это правда.

— Вы проявляете ко мне такие добрые чувства.

— Скажите лучше, такую склонность.

Произнося эти слова, она опускала глаза; рука, которой она обнимала меня, сжимала сильнее; рука, которой она опиралась на мое колено, давила на него; она привлекала меня к себе; мое лицо оказывалось у ее лица, она вздыхала, откинувшись на спинку стула, дрожала, как будто хотела сказать мне что-то по секрету и не смела; из глаз ее текли слезы, и потом она говорила:

— Ах, сестра Сюзанна, вы меня не любите!

— Я не люблю вас, дорогая матушка?

— Нет.

— Так скажите мне, чем я должна доказать вам свою любовь?

— Вы сами должны догадаться.

— Я стараюсь, но не догадываюсь.

Тем временем настоятельница приподняла воротник и положила мою руку к себе на грудь; она безмолвствовала, я также молчала; она, по-видимому, испытывала величайшее наслаждение. Она упрашивала меня целовать ее лоб, щеки, глаза и рот, и я повиновалась. Не думаю, что это было дурно, между тем ее наслаждение все возрастало; и так как мне очень хотелось увеличить ее счастье таким невинным способом, то я опять поцеловала ей лоб, щеки, глаза и рот. Рука, которую она положила на мое колено, прогуливалась по всей моей одежде, от ступней до пояса, сжимала меня то в одном, то в другом месте. Запинаясь, настоятельница умоляла меня изменившимся тихим голосом усилить мои ласки, и я усиливала их. Наконец, наступило мгновенье, не знаю, было ли это наслаждение или боль, когда она сделалась бледна, как смерть; глаза ее закрылись, все ее тело судорожно вытянулось, губы, крепко сжатые, сначала стали влажными, как будто подернувшись легкой пеной; затем ее рот полуоткрылся, и мне показалось, что она умирает,





испуская глубокий вздох. Я вскочила, думая, что ей нехорошо, хотела выйти, звать на помощь. Она едва приоткрыла глаза и сказала замирающим голосом: «Какая невинность! Не беспокойтесь! Куда вы? Остановитесь...» Я тупо смотрела на нее, не зная, оставаться ли мне или уходить. Она снова открыла глаза, не будучи в состоянии произнести ни слова, знаком велела мне подойти поближе и снова сесть к ней на колени. Не знаю, что происходило со мной. Я боялась, дрожала, сердце мое трепетало, я дышала с трудом, чувствовала себя смущенной, подавленной, возбужденной, мне было страшно и казалось, что силы покинули меня, что я сейчас лишусь чувств; однако нельзя сказать, что испытываемое мною ощущение было болезненно. Я подошла к ней; она еще раз сделала мне знак рукой, предлагая сесть на колени; я села. Она казалась мертвой, и я как будто собиралась умереть. Мы обе оставались долго в этом состоянии. Если бы внезапно вошла какая-нибудь монахиня, то, право, она перепугалась бы; она вообразила бы, что или нам дурно, или мы заснули. Между тем мне показалось, что добрая настоятельница... пришла в себя. Она по-прежнему полулежала на стуле; глаза ее все еще были закрыты, но на лице заиграл румянец; она взяла мою руку и стала ее целовать; я сказала:

— Ах, дорогая матушка, как вы меня напугали.

Она слабо улыбнулась, не открывая глаз.

— Разве вам плохо, матушка?

— Нет.

— А я думала, что вам плохо.

— Какая невинность! Ах, дорогая простушка! Как она мне нравится!

С этими словами она поднялась, снова уселась на стуле, обхватила меня поперек тела руками и стала осыпать щеки поцелуями; затем сказала:

— Сколько вам лет?

— Нет еще двадцати.

— Это непостижимо.

— Это правда, дорогая матушка.

— Я хочу знать всю вашу жизнь; вы расскажете мне ее?

— Да, матушка.

— Всю?

— Всю.

— Но могут войти, пойдемте сядем у клавесина: вы дадите мне урок.

Мы подошли к клавесину. Не знаю, что со мной было: руки мои дрожали, ноты сливались в глазах, я не могла играть. Я сказала ей это; она рассмеялась, села на мое место, но у нее выходило еще хуже: она едва могла держать руки на клавишах.

— Дитя мое, — сказала она, — я вижу, что вы не в состоянии давать мне урок, а я не в состоянии учиться; я немного утомлена, мне надо отдохнуть, до свидания. Завтра я хочу без промедления знать все, что происходило в этой дорогой душе, до свидания...

Когда я выходила, она обычно провожала меня до дверей своей кельи и следила глазами, пока я шла по коридору до моей; посылала мне воздушные поцелуи и возвращалась к себе только после того, как я входила в свою келью. В этот раз она едва приподнялась и могла лишь с трудом дотащиться до кресла, стоявшего рядом с кроватью; она села, опустила голову на подушку, послала мне поцелуй; глаза ее закрылись, и я ушла...

На следующий день после заутрени настоятельница сказала мне:

— Сестра Сюзанна, я надеюсь узнать сегодня все, что с вами произошло, приходите ко мне.

Я пошла к ней. Она усадила меня в кресло рядом со своей кроватью, а сама поместилась на стуле, который был ниже кресла; я немного возвышалась над ней, так как я и ростом выше ее, да и сиденье мое было выше. Она придвинулась ко мне так близко, что мои колени переплелись с ее коленями, и облокотилась на кровать. После минутного молчания я сказала:

— Несмотря на свою молодость, я много перестрадала; скоро будет двадцать лет с тех пор, как я появилась на свет, и все эти двадцать лет я страдаю. Не знаю, рассказывать ли вам все, хватит ли у вас терпения выслушать меня, мучения у моих родителей, муки в монастыре св. Марии, муки в лоншанском монастыре, везде одни муки. С чего же мне начать, матушка?

— С самого начала.

— Но, дорогая матушка, это будет очень длинно и очень тоскливо, а я не хотела бы так долго наводить на вас скуку.

— Не бойся ничего, — я люблю поплакать. Проливать слезы — что может быть приятнее для нежной души? И ты, вероятно, любишь плакать, — ты утрешь мои слезы, а я утру твои и, может быть, мы будем счастливы во время рассказа о твоих страданиях. Кто знает, к чему может привести умиление?..

Произнося последние слова, она посмотрела на меня снизу вверх уже влажными глазами, взяла мои руки, подвинулась ко мне еще ближе, так что мы прикасались друг к другу.

— Рассказывай, дитя мое, — сказала она, — я жду, я чувствую сильнейшее желание растрогаться; я думаю, что в моей жизни не было ни одного дня, когда душа моя была бы столь полна сострадания и любви...

Итак, я начала свой рассказ. Я не нахожу слов, чтобы описать ...действие, которое он произвел на нее; испускаемые ею вздохи, пролитые слезы, проявление негодования против моих жестоких родителей, против ужасных сестер монастыря св. Марии, против сестер лоншанского монастыря. Когда я дошла до конца и замолчала, она некоторое время оставалась полулежа на своей кровати... я сказала ей:

— Дорогая матушка, прошу вас простить меня за причиненные вам огорчения; я предупреждала вас, но вы сами хотели...

И она ответила мне следующими словами:

— Какие злые твари! Какие омерзительные твари! Только в монастырях может до такой степени угасать человечность!.. Но как могло такое слабое здоровье устоять против стольких мучителей? Как уцелели все эти маленькие члены? Как не разрушился весь этот хрупкий механизм? Как не погас от слез блеск этих глаз? Жестокосердые! Скручивать веревками эти руки!.. И она брала мои руки и целовала их. «Затопить слезами эти глаза!» И она целовала их. «Вырывать жалобы и стоны из этого рта!» И она целовала его. «Беспрестанно омрачать это очаровательное и безмятежное лицо тучами печали!» И она целовала его. «Иссушить розы этих щек!» И она ласкала их рукой и целовала. «Обезображивать эту голову! Вырывать эти волосы! Отягчать этот лоб заботами!» И она целовала мне голову, лоб, волосы. «Осмелиться накинуть веревку на эту шею и раздирать эти плечи остриями!..» И она отодвигала покрывало с моей шеи и головы; приоткрывала верх моего платья; мои волосы рассыпались по открытым плечам; моя грудь была наполовину обнажена, и она осыпала своими поцелуями мою шею, открытые плечи и полуобнаженную грудь.

Я заметила тогда по охватившей ее дрожи, по сбивчивости ее речи, по блужданию глаз и рук, по тому, как ее колени стиснули мои, по пылкости, с какой она меня сжимала, и по неистовству ее объятий, что приступ ее болезни готов повториться. Не знаю, что происходило со мной, но меня охватил ужас, я трепетала и чувствовала внезапный упадок сил, все это подтвердило мои подозрения, возникшие у меня, что болезнь ее заразительна.

Я сказала ей:

— Дорогая матушка, посмотрите, в какой беспорядок вы меня привели. Если войдут...

— Останься, останься, — сказала она сдавленным голосом, — не войдут...

Однако я сделала усилие, чтобы подняться и вырваться от нее, и сказала:

— Дорогая матушка, остерегайтесь, как бы ваша болезнь не поразила вас снова. Разрешите мне уйти...

Я хотела удалиться... но не могла...

— Дорогая матушка, не знаю, что со мной, мне нехорошо.

— И мне также, — сказала она, — но отдохни минутку, это пройдет, это ничего.

Мы хранили молчание; настоятельница первая нарушила его; она сказала:

— Сюзанна, мне показалось, судя по тому, что вы мне рассказали о вашей первой настоятельнице, что вы очень ее любили.

— Очень.

— Она любила вас не больше, чем я. Но вы любили ее больше... Что же вы не отвечаете?

— Я была несчастна, она смягчала мои горести.

— Но откуда у вас такое отвращение к монашеской жизни? Сюзанна, вы мне не все сказали.

— Простите, матушка.

— При вашем обаянии, дитя мое, — а вы сами знаете, как оно велико? Не может быть, чтобы никто не говорил вам этого.

— Мне это говорили.

— И тот, кто говорил вам это, не был вам антипатичен?

— Нет.

— И вы увлекались им?

— Ничуть.

— Как, ваше сердце никогда ничего не чувствовало?

— Ничего.

— Так, значит, не страсть, тайная или осуждаемая вашими родителями, вызвала в вас это отвращение к монастырю? Доверьте мне свою тайну, — я снисходительна.

— У меня нет никакой тайны, матушка, которую я могла бы доверить вам.

— Но еще раз спрашиваю вас, отчего происходит ваше отвращение к монашеской жизни?

— Сама эта жизнь вызывает во мне отвращение. Я ненавижу весь монастырский уклад, затворничество, принуждение. Мне кажется, у меня иное призвание.

— Но почему вам это кажется?

— Меня гнетет тоска, я скучаю.

— Даже здесь?

— Да, матушка, даже здесь, несмотря на всю вашу доброту ко мне.

— Но не испытываете ли вы тайных волнений, желаний?

— Никаких.

— Верю этому; у вас, кажется, спокойный характер.

— Довольно спокойный.

— Даже холодный.

— Не знаю.

— Вы не знаете мирской жизни.

— Я плохо ее знаю.

— Чем же тогда она вас может привлекать?

— Я не могу этого объяснить как следует; но все же, должно быть, в ней есть что-то привлекательное.

— Не жалеете ли вы о свободе?

— Да, и, может быть, о многом другом.

— Что же это другое? Друг мой, говорите со мной откровенно: вы хотели бы выйти замуж?

— Я предпочла бы замужество тому положению, в каком я нахожусь, — это верно.

— Откуда это предпочтение?

— Не знаю.

— Вы не знаете этого? Но, скажите мне, какое впечатление производит на вас присутствие мужчин?

— Никакого; если он умен и хорошо говорит, я слушаю его с удовольствием; если у него красивое лицо, я замечаю это.

— И ваше сердце спокойно?

— До настоящего времени оно не знало волнений.

— Как! Когда мужчины смотрели загоревшимися глазами в ваши глаза, неужели вы не чувствовали...

— Иногда некоторое замешательство, — они заставляли меня опускать глаза.

— И никакого волнения?

— Никакого.

— И ваши чувства ничего вам не говорили?

— Я не знаю, что такое язык чувств.

— Однако они имеют его.

— Может быть.

— И вы не знаете его?

— Не имею о нем понятия.

— Как! Вы... Этот язык очень приятен: хотели бы вы узнать его?

— Нет, дорогая матушка, чему это послужило бы?

— Это рассеяло бы вашу скуку.

— Может быть, увеличило бы ее. И кроме того, какое значение имеет язык чувств, когда не с кем говорить.

— Если говорят, то всегда обращаются к кому-нибудь, это, без сомнения, лучше, чем беседовать с самим собой наедине, хотя и это не лишено удовольствия.

— Я ничего не понимаю в этом.

— Если хочешь, дорогое дитя, я разъясню тебе это.

— Нет, матушка, нет, я не знаю ничего и предпочитаю ничего не знать, чем приобретать знания, которые сделали бы меня еще более достойной жалости, нежели теперь. Мне чужды какие бы то ни было желания, и я вовсе не стремлюсь к таким, каких не могла бы удовлетворить.

— Почему же не могли?

— А как же я могла бы удовлетворить эти желания?

— Как я.

— Как вы! Но в этом монастыре нет никого.

— Я здесь, дорогой друг; вы здесь.

— Ну, и что же? Что я вам? И что вы мне?

— О, какая невинность!

— О, это верно, матушка, я совершенно невинна и предпочла бы умереть, нежели перестать быть ею.

Не знаю почему эти слова расстроили настоятельницу, но лицо ее вдруг изменилось; она сделалась серьезной, пришла в замешательство; рука, которую она держала на моем колене, сначала перестала ее сжимать, потом она отняла ее; глаза ее были опущены.

Я сказала ей:

— Что же случилось, матушка? Неужели у меня сорвалось какое-нибудь слово, которое могло оскорбить вас? Простите меня. Я злоупотребляю предоставленной мне вами свободой: не взвешиваю всего из того, что говорю вам, и, кроме того, если бы я даже взвешивала свои слова, то сказала бы то же самое, а может быть, что-нибудь еще более неуместное. Предметы, о которых мы беседуем, так чужды мне... Простите меня...

Говоря эти последние слова, я обвила руками ее шею и положила голову к ней на плечо. Она порывисто обняла меня и очень нежно поцеловала. Мы так оставались несколько мгновений; затем к ней вернулась ее нежность и хорошее настроение, и она сказала мне:

— Сюзанна, вы хорошо спите?

— Очень хорошо, в особенности в последнее время.

— Вы сейчас же засыпаете?

— Обыкновенно, да.

— А когда вы не можете сразу заснуть, о чем вы думаете?

— О своей прошлой жизни, о будущем, или молюсь богу, или плачу, — о чем же мне еще думать?

— А утром, когда вы просыпаетесь?

— Я встаю.

— Сейчас же?

— Сейчас же.

— Значит, вы не любите мечтать?

— Нет.

— Понежиться на подушке?

— Нет.

— Насладиться приятной теплотой постели?

— Нет.

— Никогда?

Она остановилась на этом слове, и не без основания. Нехорошо было спрашивать о том, о чем она собиралась меня спросить, и, может быть, еще хуже говорить об этом, но я решила ничего не скрывать.

— У вас никогда не являлось искушения взглянуть на себя, полюбоваться своей красотой?

— Нет, матушка. Я не знаю, так ли я красива, как вы говорите; и кроме того, если бы это было и так, то красота существует для других, а не для себя.

— Вам никогда не приходила мысль провести руками по этой прекрасной груди, по этим бедрам, по этому животу, по всему этому твердому, нежному, белому телу?

— О, конечно, никогда, — ведь это грех, и если бы это случилось со мной, то не знаю, как я созналась бы в этом на исповеди.

Не помню, что мы говорили еще, как вдруг пришли доложить настоятельнице, что ее просят в приемную. Мне показалось, что этот визит раздосадовал ее и что она предпочла бы разговор со мной, хотя мы говорили о таких вещах, что не стоило бы об этом жалеть; тем не менее мы расстались...

За только что писанной мною сценой последовало множество других в том же роде... — я пропускаю их. Вот продолжение первой.

...В то время как я спала, кто-то вошел, сел возле моей кровати, отдернул полог, освещая мне лицо тоненькой свечкой; державшая ее смотрела, как я сплю; по крайней мере, так истолковала я ее позу, когда открыла глаза, — это была настоятельница.

Я вскочила; она заметила мой испуг и промолвила:

— Сюзанна, успокойтесь, это я...

Я снова положила голову на подушку и сказала ей:

— Матушка, что вы делаете здесь в такое время? Что могло вас привести сюда? Почему вы не спите?

— Я не могу заснуть, — ответила она, — я давно не сплю. Меня мучают кошмары... Я довольно долго сижу возле и боюсь разбудить вас... Я смотрела на вас: вы так прекрасны, даже во время сна!

— Как вы добры, матушка!

— Я простудилась, но знаю теперь, что мне нечего бояться за свое дитя, я думаю, что усну. Дайте мне вашу руку.

Я дала ей руку.

— Как спокоен пульс! Как он ровен! Ничего не волнует ее.

— У меня довольно спокойный сон.

— Какая вы счастливица!

— Матушка, вы еще более простудитесь.

— Вы правы, до свидания, прекрасный друг, до свидания, я ухожу.

Однако она и не думала уходить и продолжала смотреть на меня; две слезы катились из ее глаз.

— Дорогая матушка, — сказала я, — что с вами? Вы плачете. Как мне досадно, что я рассказала вам о своих горестях...

Она мигом заперла дверь, погасила свечу и кинулась ко мне. Держа меня в своих объятиях, она легла на одеяло рядом со мной, ее лицо прильнуло к моему, ее слезы мочили мои щеки. Она вздыхала и говорила мне жалобным прерывающимся голосом:

— Дорогой друг, сжальтесь надо мной!

— Что с вами, матушка? Вам нехорошо? Что же я должна сделать?

— Я дрожу, у меня озноб; смертельный холод разливается по моему телу.

— Хотите, я встану и уступлю вам свою кровать?

— Нет, вам незачем вставать; приподнимите только немного одеяло, чтобы я могла быть поближе к вам; дайте мне согреться, и я выздоровлю.

— Но это запрещено, матушка. Что скажут, если узнают это?..

— Дорогой друг, — сказала она, — все спят вокруг нас, никто ничего не узнает. Я награждаю и караю... Сюзанна, неужели у своих родителей вы никогда не спали в одной постели с вашей сестрой?

— Нет, никогда...

— Дайте мне вашу руку...

Я дала ей руку.

— Вот, — сказала она, — пощупайте, видите, я дрожу, у меня озноб, я как ледышка...

И это была правда...

— О, дорогая матушка, вы заболеете. Но погодите, я отодвинусь к краю, и вы ляжете на теплое место...

— Сюзанна, друг мой, подвиньтесь поближе...

Она протянула руки; я повернулась к ней спиной; она осторожно взяла меня и привлекла к себе; правую руку просунула под мое туловище, а левую положила сверху и сказала:

— Я замерзла; мне так холодно, что я боюсь дотронуться до вас; вы заболеете.

— Дорогая матушка, не бойтесь ничего.

Она тотчас же положила одну руку на мою грудь, а другой обвила мне талию; ее ступни были под моими ступнями, и я сжимала их, чтобы согреть; и матушка сказала:

— Ах, дорогой друг, видите, как скоро согрелись мои ноги, оттого что ничто не отделяет их от ваших.

— Но, — сказала я, — что же мешает вам согреть все тело таким же образом?

— Ничего, если вы хотите.

Я повернулась к ней, она подняла свою рубашку, а я собиралась поднять свою, как вдруг в дверь неистово застучали. Я в ужасе соскочила с кровати в одну сторону, а настоятельница в другую. Мы стали прислушиваться и услышали, что кто-то на цыпочках подходит к соседней келье.

— Ах, — сказала я, — это сестра Тереза; она видела, как вы пошли по коридору и вошли ко мне; она подслушала нас, она услышала наш разговор; что она скажет?..

Я была ни жива, ни мертва.

— Да, это она, — сказала настоятельница раздраженным тоном, — это она, я не сомневаюсь в этом, но я надеюсь, что она долго будет помнить свою дерзкую выходку.

— Ах, матушка, не делайте ей ничего дурного!

— Сюзанна, прощайте, покойной ночи. Ложитесь, усните, освобождаю вас от утренней молитвы. Я пойду к этой сумасбродке. Дайте мне вашу руку...

Я протянула ей руку с одного края кровати к другому; она подняла рукав и, вздыхая, всю ее покрыла поцелуями — от конца пальцев до плеча; затем она вышла, заявляя, что дерзкая, осмелившаяся ее потревожить, попомнит это...

ДЕ САД

Маркиз Донасьен-Альфонс-Франсуа де Сад родился в Париже в 1740 г. в семье графа. Мать будущего писателя — фрейлина принцессы де Конде. Учился в школе иезуитов, артиллерийской школе, участник Семилетней войны 1756—1763 гг. В 1763 г. женился, в том же году за скандальное поведение был заключен в Венсенский замок. В 1768 г. вновь арестовывается за избиение женщины и помещается в тюрьму Консьержери. В 1770 г. поступает на военную службу. С 1782 г. маркиз создает серию романов, пьес и публицистических произведений, выдержанных в духе той философии, которая со временем получила наименование «садизма». Среди его сочинений романы «Философия в будуаре», «120 дней Содома», «Несчастная судьба добродетели», «Жюльетта», пьесы «Жан Лене или осада Бове», «Дни Флорбеля или разоблаченная природа» и др. Последние 11 лет и 8 месяцев своей жизни маркиз проводит в клинике для душевнобольных Шарантон, в которой ставит многие свои пьесы, на представление которых съезжался «весь Париж». Умер в 1814 г. Более 150 лет творчество де Сада было под запретом. В 1990 г. во Франции торжественно отмечается 250-летие со дня рождения автора «120 дней Содома», а его замок в Провансе превращается в музей.

ФИЛОСОФИЯ В БУДУАРЕ

ДИАЛОГ ЧЕТВЕРТЫЙ

Ш е в а л ь е. Умоляю, прелестная Эжени, не сомневайтесь в моей деликатности, она абсолютна. Вот моя сестра, вот мой друг, оба могут поручиться за меня.

Д о л ь м а н с е. Чтобы одним махом покончить с этими смешными церемониями, я вижу только

один способ. Шевалье, мы воспитываем эту красавицу, научим всему, что обязаны знать девушки ее возраста и прибавим к теории чуточку практики для лучшего результата; она должна видеть спускающий хуй. Не хочешь ли послужить натурщиком?

Шевалье. Это предложение настолько лестно для меня, что я не посмею отказаться; а у мадемуазель столько приманок, что результат урока не заставит себя ждать.

Г-жа де Сент-Анж. Ну хорошо, ближе к делу!

Эжени. О! По правде сказать, это слишком; вы злоупотребляете моей неопытностью... за кого принимает меня этот господин?

Шевалье. За очаровательную девочку, Эжени... за самое восхитительное создание, когда-либо виденное мною. (Он целует ее и ощупывает все ее прелести). О! Боже! Какое все юное, какое маленькое! Какая сказка!..

Дольмансе. Поменьше болтовни, шевалье, и побольше дела! Я буду руководить сценой, это мое право; наша цель — показать Эжени механизм эякуляции. Сомнительно, чтобы она наблюдала сей феномен хладнокровно, поэтому мы сядем все четверо лицом друг к другу и вплотную. Вы будете дрочить подругу, мадам; я займусь шевалье. Когда речь идет о мастурбации, мужчина подходит для мужчины куда лучше женщины. Раз он знает, что надо ему, он знает и то, что надо другим... Садимся же. (Все располагаются).

Г-жа де Сент-Анж. Не слишком ли мы близко друг к другу сидим?

Дольмансе (Завладев уже шевалье). Все в порядке, мадам. Грудь и лицо вашей подружки должны быть залиты доказательствами мужественности вашего брата. Надо, чтобы он выстрелил, что

называется, в самый нос. Хозяин насоса, я буду направлять струи так, что Эжени покроется ими совершенно. Хорошенько дрочите ее все это время, щекочите эрогенные места. Эжени, полностью предайтесь разврату. На ваших глазах разворачивается прекраснейшая мистерия. Осознайте это, растопчите всякую сдержанность: стыд никогда не был добродетелью. Если бы природа пожелала, чтобы мы прятали какие-то участки нашего тела, она сама позаботилась бы об этом. Однако она создала нас голыми, следовательно, хочет, чтобы мы ходили голыми. Одежда оскорбила бы ее законы. Дети, у которых нет еще никакой теории удовольствия, а следовательно, необходимости разжигать его скромностью, показывают все, что у них есть. Иногда встречается большая странность: есть края, где принято носить одежду, но скромность там и не ночевала. На Таити девушки одеты, а юбки задирают по первому требованию!

Г-жа де Сент-Анж. Что я люблю в Дольмансе, так это то, что он не теряет времени. Посмотрите, как, разговаривая, он действует. С какой нежностью исследует великолепную жопу моего брата, как сладостно дрочит его! За дело, Эжени! Смотри: трубка насоса поднята; скоро мы будем затоплены.

Эжени. Ах, моя дорогая, какой чудовищный хуй!.. Я вряд ли смогла его обхватить!.. О Боже! Они все такие большие?

Дольмансе. Вы видите, Эжени, мой намного меньше. Такие снаряды страшны для девушки. Этот не смог бы вас проткнуть, не причинив боли.

Эжени (уже дрочимая г-жой де Сент-Анж). Ах! Ради наслаждения я не побоюсь ни одного!

Дольмансе. И вы будете абсолютно правы: девушка никогда не должна страшиться таких вещей.

Природа к вашим услугам. Она обрушивает на вас волны удовольствия, эти волны быстро освобождают от незначительной боли, которая предшествует наслаждению. Я видал девушек моложе вас. Они выдерживали куда более могучие елдаки. Смелая и терпеливая девушка преодолевает все препятствия. Тот, кто воображает, что следует дефлорировать девушку только крошечными хуями, — идиот. Я уверен, что девушка, напротив, должна давать самым большим снарядам, связки плевы будут разорваны, и наслаждение вспыхивает быстрее. Правда, если девушка привыкнет к такому режиму, ей нелегко будет возвращаться к посредственным хуям. Но, если она богата, молода и красива, то найдет уйму достойных. Если же встретится не слишком большой, а она все равно захочет отведать, пусть вставит себе в жопу.

Г-жа де Сент-Анж. Да, для полного счастья девушке надо пользоваться тем и другим одновременно. Она колышет того, кто ебет ее спереди и ускоряет оргазм того, кто ебет ее сзади. Затопленная малофьей обоих, она обязана выбросить свою, умирая от наслаждения.

Дольмансе. (Во время диалога дрочение не прекращается). Мне кажется, что в замысленную вами картину, мадам, надо ввести еще два-три хуя. Разве женщина, о которой вы только что упомянули, не могла бы выдержать один хуй во рту и по одному в каждой руке?

Г-жа де Сент-Анж. Они должны быть подмышками и в волосах. Вокруг нее должно собраться по возможности тридцать, в эти минуты она должна прикасаться к елдакам, видеть только их, пожирать только их. Она должна быть залита всеми одновременно в тот миг, когда спускает сама. Ах! Дольмансе, какой бы шлюхой... вы ни были,

бьюсь об заклад, что я не хуже вас вела себя в сладострастных схватках... Я творила все, что можно было натворить.

Э ж е н и. (Ее по-прежнему дрочит подруга, в то время как Дольмансе дрочит шевалье.) Ах! Милая... ты мне вскружила голову!.. Как! Я могу отдаться куче мужчин!.. Ах, какое счастье!.. Как ты дрочишь меня, дорогая!.. Ты сама богиня удовольствия!.. А этот прекрасный хуй, как он наполнился!.. Как набухла его царственная головка!.. Какая она золотистая!

Д о л ь м а н с е. Развязка близка.

Ш е в а л ь е. Эжени... сестрица... ближе... Ах! Какие божественные груди!.. Какие нежные и пухленькие ляжки!.. Спускайте!.. Спускайте обе, моя сперма присоединится к вашей!.. Она течет!.. Ах, мать твою...

Дольмансе во время этого кризиса заботливо направляет потоки спермы своего друга на обеих женщин и особенно на Эжени, которая вся оказалась залитой.

Э ж е н и. Какое прекрасное, какое благородное и величественное зрелище!.. Я вся покрыта... она допрыгнула мне до самых глаз.

Г-ж а д е С е н т-А н ж. Подожди, киска; я соберу эти драгоценные перлы; я натру ими твой клитор, чтобы ты поскорее спустила.

Э ж е н и. Ах! Моя добрая, ах! Да, это восхитительно... сделай так, и я буду твоей.

Г-ж а д е С е н т-А н ж. Дивный ребенок, целуй меня... Хочу сосать твой язык... хочу пить твое дыхание... Ах, блядь! Я спускаю сама!.. Братец, доконай меня, умоляю!..

Д о л ь м а н с е. Да, шевалье... да... подрочите сестру.

Шевалье. Я бы лучше ее выеб: у меня еще стоит.

Дольмансе. Ну хорошо, вставьте, а мне дайте ваш зад: я вас выжоплю во время этого сладострастного инцеста. Эжени, вооружившись этим годмише, выжопит меня. В один прекрасный день она сыграет различные роли; она должна проделать сейчас все упражнения.

Эжени (вооружившись годмише). О! С удовольствием! Вы не упрекнете меня ни в чем; отныне наслаждение — мое единственное божество, единственное правило, единственная основа всех действий. (Она протыкает Дольмансе.) Так, дорогой учитель? Я делаю правильно?

Дольмансе. Изумительно!.. По правде сказать, маленькая плутовка ебет меня, как мужчина!.. Прекрасно! Мне кажется, что теперь мы слиты все четверо: теперь самое время действовать.

Г-жа де Сент-Анж. Ах! Я умираю, шевалье!.. Невозможно выдержать восхитительные удары милого елдака!..

Дольмансе. Мать твою! Сколько удовольствия доставляет мне эта прелестная жопа!.. Ах! Блядь! Спустим все одновременно! Мать твою!.. Умираю!.. Подыхаю!.. Ах!.. В жизни не спускал сладостнее! Ты потерял сперму, шевалье?

Шевалье. Взгляни на эту пипиську, она вся замарана.

Дольмансе. Ах! Дружище, ну почему у меня нет такого же в жопе!

Г-жа де Сент-Анж. Передохнем, больше не могу.

Дольмансе (целуя Эжени). Эта очаровательная девочка выебла меня, как бог.

Эжени. По правде сказать, я испытала от этого удовольствие.

Дольмансе. Все излишества доставляют его во время разврата; самое лучшее, что должна делать женщина, — это преступать границы возможного.

Г-жа де Сент-Анж. У моего нотариуса хранится пятьсот луи для того, кто научит меня неведомой мне страсти и кто погрузит меня в еще не испытанное наслаждение.

Сейчас собеседники, приводя себя в порядок, только разговаривают.

Дольмансе. Мысль потрясающая, и я ею воспользуюсь, только опасаюсь, мадам, не аналогично ли это причудливое желание жалким удовольствиям, которые вы только что испытали?

Г-жа де Сент-Анж. Как это?

Дольмансе. По чести, я не знаю ничего более скучного, чем наслаждение передом. Не понимаю, как можно этим интересоваться, если хотя бы разок вкусить как вы, мадам, удовольствия жопы?

Г-жа де Сент-Анж. Все зависит от привычки. Когда настроен, как я, хочешь быть выебленной всюду, независимо от того, что протыкает снаряд: счастье — чувствовать его в себе. Но я согласна с вами; сладострастницы должны знать: наслаждение, которое они испытывают от ебли в жопу, всегда будет превосходить еблю в пизду. Они могут положиться на слова европейской женщины, испробовавшей и тот, и другой способ. Уверяю: не может быть никакого сравнения. Им нелегко будет вернуться к переду после того, как они сделают опыт в заду.

Шевалье. А вот я так не думаю. Я, конечно, готов ко всему, что от меня захотят, но, по правде сказать, люблю в женщинах только алтарь, указанный природой для воздаяния им славы. Таков мой вкус.

Дольмансе. Прекрасно! Но это жопа! Дорогой мой шевалье, если ты тщательно исследуешь законы природы, она не укажет тебе иных алтарей, нежели дырка задницы. Природа позволяет остальное, а это приказывает. Ах, блядь! Если бы она не хотела, чтобы мы ебли жопы, разве сделала бы их отверстия пропорциональными нашим хуям? Но продолжим воспитание. Эжени только что с удовольствием проникла в высшую тайну оргазма. Теперь она должна научиться управлять ручьями.

Г-жа де Сент-Анж. Вы оба обессилели; трудновато будет это сделать.

Дольмансе. Согласен. Вот почему я бы хотел, чтобы здесь оказался какой-нибудь крепкий парень: он послужил бы манекеном; мы могли бы проводить на нем лекции.

Г-жа де Сент-Анж. Я придумала, как вам помочь.

Дольмансе. Это, случайно, не тот садовник лет восемнадцати-двадцати, с восхитительной фигурой! Я только что видел, как он обрабатывал грядку.

Г-жа де Сент-Анж. Огюстен? Да, именно Огюстен. У него елдак – тринадцать дюймов в длину на восемь с половиной в окружности!

Дольмансе. Ах! Небо! Ну и чудовище! И стреляет?

Г-жа де Сент-Анж. О! Какой поток! Пойду-ка поищу его..

120 ДНЕЙ СОДОМА

...Много сомнительных состояний, поражающих роскошью и отмеченных пороками, скрываемыми столь же тщательно, как и тайны обогащения хозяев, возникло в конце правления Людовика XIV, впрочем

на редкость помпезного, быть может, даже одной из вершин величия Франции...

Было бы ошибкой думать, что незаконным взиманием налогов занимались люди низшего звания. Отнюдь нет — к этому была причастна самая верхушка общества. Герцог Бланжи и его брат Епископ из..., оба баснословно разбогатевшие на налогах, являются неоспоримым доказательством того, что благородное происхождение подчас совсем не мешает обогащению подобными средствами. Оба этих знаменитых персонажа, тесно связанные деловыми отношениями и погоней за удовольствиями с неким Дюрсе и Председателем Кюрвалем, стали актерами одной пьесы с ужасными оргиями, занавес которой мы здесь и приоткроем...

Общество создало общественную стипендию, которую в течение шести месяцев получал каждый из четырех. Фонды этой стипендии, которая служила лишь удовольствиям, были безграничны. Огромные суммы расходовались на самые сомнительные вещи, и читатель совсем не должен удивляться, когда ему скажут, что два миллиона франков в год было израсходовано только на удовольствия и услаждения похоти четырех развратников.

Четыре владелицы публичных домов и четыре сводника, вербующие мужчин, не знали иных забот в Париже и провинции, кроме удовлетворения потребностей их плоти. В четырех загородных домах под Парижем регулярно организовывались четыре ужина в неделю.

На первый из них, целью которого были удовольствия в духе Содома, приглашались только мужчины. Туда постоянно приезжали шестнадцать молодых людей в возрасте от двадцати до тридцати лет для совокупления с нашими четырьмя героями, которые играли роли женщин. Молодых людей

подбирали по размеру полового члена. Было необходимо, чтобы член достигал такого великолепия, что не мог войти ни в одну женщину. Это был важный пункт договора, и поскольку деньги текли рекой, и за ценой не стояли, условия редко не выполнялись. Чтобы испить все удовольствия разом, к шестнадцати молодым мужчинам добавлялось такое же число более молодых юношей, которые выполняли роль женщин, в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет.

Чтобы быть принятыми, они должны были обладать свежестью, грацией, красотой лица, невинностью и душевной чистотой — и всем этим в наивысшей степени. Ни одна женщина не допускалась на мужские оргии, где претворялось на практике все, что только Содом и Гоморра изобрели наиболее утонченного.

Второй ужин был посвящен девушкам из хороших семей, которые из-за больших денег вынуждены были согласиться выставить себя напоказ и позволять обращаться с собой самым недостойным образом, отдаваться причудливым капризам развратников и даже терпеть от них оскорбления. Девушек обычно приглашали по двенадцать, и так как Париж не всегда мог поставить нужное число благородных жертв, на вечера иногда приглашались дамы из другого сословия, жены прокуроров и офицеров...

Третий ужин был посвящен созданиям с самого дна общества, наиболее низким и непристойным, каких только можно встретить. Тем, кто знаком с прихотями разврата, эта «утонченность» покажется естественной. Порок обожает валяние в грязи, погружение в нечистоты с самыми грязными шлюхами. В этом находят полное падение, и эти удовольствия, сравнимые с теми, которые испытали накануне с самыми утонченными девушками из общества, при-

дают особую остроту наслаждению и в том, и в другом случаях...

Четвертый вечер касался девственниц. Их отбирали в возрасте от семи до пятнадцати лет...

Помимо этих четырех вечеров по пятницам устраивались тайные и обособленные встречи, менее многочисленные, чем четыре вышеописанные, хотя, может быть, еще более расточительные. На эти вечера приглашались только четыре молодые особы из состоятельных семей, вырванные у их родителей силой или с помощью денег. Жены наших развратников почти всегда разделяли их оргию, и полное послушание, заботы, а главное, само их участие делало эти вечера еще более пикантными...

Среди истинных любителей секса существует мнение, что сведения, полученные из первых уст с помощью органов слуха, тоже в высшей степени возбуждают и дают самые живые впечатления. Наши четыре развратника, пожелавшие вкусить порок во всей полноте и глубине, придавали слуховым ощущениям особое значение. Вот почему и зашла речь о том, чтобы освоить все способы сладострастия и все возможные его разновидности и оттенки, словом, о самом глубоком постижении самого языка порока... После бесчисленных консультаций и долгих поисков были, наконец, найдены четыре женщины, обладающие большим сексуальным опытом.., чья жизнь прошла в самом разнузданном разврате: мадам Дюкло, мадам Шамвиль, Ла Мертен и Ла Гранж...

Теперь, когда женщины найдены и соответствуют тем критериям, которые к ним предъявлены, можно заняться «аксессуарами». Прежде всего, наших героев надо было окружить самыми изысканными объектами сладострастия обоих полов. Местом действия был избран замок в Швейцарии, принадлежащий Дюрсе.., но так как замок не мог вместить

слишком большое число участников, к тому же не хотелось привлекать внимание соседей, — ограничились тридцатью двумя артистами, включая и четырех рассказчиц. Сюда входило четверо наших героев из высшей знати, восемь девушек и восемь юношей, восемь мужланов, обладающих чудовищными орудиями для занятия содомией (назовем их «работягами»), и четыре служанки. На подбор участников понадобилось время. Целый год прошел в обсуждении деталей, было израсходовано много денег, искали возможности отобрать самых красивых и изысканных девушек Франции.

Шестнадцать ловких владелиц публичных домов, каждая с двумя помощницами, были отправлены в шестнадцать главных провинций Франции, в то время как семнадцать борделей было в одном только Париже. Ровно через десять месяцев все они должны были в указанное время приехать в поместье герцога под Парижем и привезти с собой каждая по девять девушек. Вместе все это должно было составить сто сорок четыре девушки, из которых надо было отобрать только восемь... Отбор занял тринадцать дней...

Первую звали ОГЮСТИН: ей было пятнадцать лет, она была дочерью барона де Лангедока и была похищена из монастыря в Монпелье.

Вторую звали ФАННИ: она была дочерью советника парламента Бретани и была похищена из замка своего отца.

Третью звали ЗЕЛМИР: ей было пятнадцать лет и она была дочерью графа де Тревиля...

Четвертую звали СОФИ: ей было четырнадцать лет, она была дочкой богатого дворянина...

Пятую звали КОЛОМБ: она была из Парижа. Ей было тринадцать лет, она была схвачена по дороге с детского бала в монастырь...

9 Заказ 773

Шестую звали ЭБЕ: ей было двенадцать лет, она была дочерью капитана кавалерии, аристократа, живущего в Орлеане.

Седьмую звали РОЗЕТТА: ей было тринадцать лет, она была дочерью генерала...

Последнюю звали МИМИ или МИШЕТТА: ей было тринадцать лет, она была дочерью маркиза де Сенаж и была увезена из поместья своего отца в Бурбонэ...

...наступил момент экзамена для юношей. Поскольку условия были нетрудные, их число было большим. Сводники набрали сто пятьдесят мальчиков, и я не преувеличу, если скажу, что по красоте лица и детской грации они не уступали высокому классу девочек... Вот эти восемь юношей и краткие сведения о каждом из них... Что касается их портретов, то я бессилен описать этих божественных ангелов — все мои слова здесь недостаточны.

ЗЕЛАМИРУ было тринадцать лет, он был единственным сыном дворянина из Пуату...

КУПИДОНУ тоже было тринадцать. Сын дворянина, жившего в окрестностях города Ла Флеш, он учился в колледже в этом городе. Мальчика выследили и похитили во время воскресной прогулки школьников...

НАРЦИССУ было двенадцать лет. Он был сыном Кавалера Мальты...

ЗЕФИР, самый прелестный из восьми, был из Парижа. Его необыкновенная красота упростила выбор. Он учился в престижном пансионе. Его отец был генералом и сделал все возможное, чтобы отыскать сына, но безуспешно. С помощью денег подкупили директора пансиона, но дали меньше, чем обещали, и он обиделся на герцога. Герцог же сказал, что если за то, чтобы всадить в зад этому

мальчишке, потребуется даже миллион, он готов его заплатить немедленно...

СЕЛАДОН был сыном судьи из Нанси. Ему только что исполнилось четырнадцать.

АДОНИСУ было пятнадцать. Он был похищен из колледжа в Плесси. Его отец был Председателем Большой Палаты. Кюрваль увидел его в доме его отца и два года сходил по нему с ума. Он лично выделил средства и дал необходимые указания для захвата мальчика. Его приятели были даже удивлены таким достойным выбором со стороны недостойного Кюрваля; тот, в свою очередь, был горд, доказав им, что способен проявить хороший вкус. Мальчик узнал его и заплакал, но Председатель успокоил его, сообщив, что лично лишит его невинности. Это трогательное сообщение он сопроводил похлопыванием своего огромного орудия по ягодицам мальчика. Председатель выпросил его у ассамблеи для себя и без труда получил согласие.

ГИАЦИНТУ было четырнадцать лет. Он был сыном офицера...

ЖИТОНУ было тринадцать лет. Его схватили в Версале у большой конюшни...

Пришло время выбирать «работяг» — содомистов... Приехало пятьдесят претендентов. Среди двадцати самых крупных отобрали восемь наиболее молодых и миловидных. Мы опишем четырех из них, наиболее сильных.

ГЕРАКЛ — скроенный, поистине, как бог, откуда и знаменитое его имя, был двадцати шести лет. Обладал инструментом толщиной в восемь дюймов, а в длину — тринадцать. Трудно было найти подобный член, который всегда был в состоянии боевой готовности и способен к восьми извержениям за вечер. Ему устроили экзамен: набралась целая круж-

ка спермы! По характеру он был добрым и внешне приятным.

АНТИНОЙ — обладал не только самым красивым щекотуном в мире, но еще и самым сладострастным задом, что встречается очень редко. Ему было тридцать лет, и он к тому же был очень красив.

«БРИЗ-КЮЛЬ» («Разорванный Зад») — на заднем проходе у него было кольцо, из-за которого в зад невозможно было войти, не разорвав его, откуда и прозвище «разорванный зад»...

«БАНД-О-СЪЕЛ» («Струя-В-Небо») — был так назван потому, что его эрекция была постоянной...

Четыре других из этой восьмерки были примерно такого рода и телосложения...

Осталось выбрать четырех служанок, и это было, без сомнения, весьма возбуждающее занятие... В Париже после тщательных поисков были отобраны четыре создания, портреты которых вы увидите ниже. Первую звали Мари. Она была служанкой знаменитого грабителя, которого недавно наказали, а ее отстегали розгой. Вторую звали Луизон. Ей было шестьдесят лет. Маленького роста, горбатая, хромая, одноглазая, она обладала хорошим для своего возраста задом и еще свежей кожей. Терезе было шестьдесят два года. Она была высокой и худой, с голым черепом, похожим на скелет. Во рту у нее не было ни одного зуба... Фаншон звали четвертую. Ей шесть раз грозила виселица. Не было, наверное, такого преступления на Земле, которого она не совершила. Ей было шестьдесят девять лет, она была курносая, низкорослая и толстая, к тому же косая... Эти четыре женщины должны были участвовать во всех ассамблеях, чтобы выполнять поручения и услуги, которые от них потребуются.

Все нужные меры были приняты, а поскольку лето уже начиналось, то главными заботами стали перевозки всевозможных вещей, которые должны были сделать пребывание в замке Дюрсе в течение четырех месяцев удобным и приятным. Туда перевозили в большом количестве мебель и зеркала, запасы продовольствия, вина и ликеры; туда отправляли рабочих, а понемногу и участников спектакля, которых Дюрсе принимал и размещал...

Наконец, все было готово, все были размещены по квартирам. Герцог, епископ, Кюрваль и их жены вместе с четырьмя содомистами прибыли в замок 29 октября. Дюрсе, как мы уже говорили, его жена и первая группа участников прибыли раньше. Как только последние приехали, Дюрсе приказал обрубить мост. Но это еще не все. Герцог, осмотрев окрестности, решил, что, поскольку продовольствия в замке было в избытке, и не было необходимости за чем-либо выезжать за его пределы, следует предотвратить атаки снаружи и бегства изнутри. Посему он велел замуровать все двери, через которые проникали во двор, и, вообще, все возможные выходы, превратив замок в подобие тюрьмы. Не осталось ни щелочки ни для врагов, ни для дезертиров. Теперь вообще было трудно определить, где раньше были двери.

Два последних дня до ноября были отданы на отдых «объектов», чтобы они появились на сцене свежими в момент открытия представления. Сами же четыре друга использовали это время для составления правил, которым все участники должны были подчиняться безоговорочно. Подписав их, они обнародовали правила перед всеми объектами. Прежде чем перейти к действию, познакомим читателя с этими правилами.

ПРАВИЛА

Подъем во все дни спектакля и для всех в десять часов утра. К этому моменту содомисты, которые не будут заняты ночью, придут к друзьям и приведут с собой каждый по одному мальчику. Переходя из комнаты в комнату, они будут удовлетворять желания друзей. Однако мальчики, которых они с собой приведут, вначале будут лишь «перспективой», поскольку друзья договорились, что девственницы будут использованы лишь в декабре, а юноши-девственники — только в январе. В одиннадцать часов друзья идут в квартиру девушек. Там будет сервирован завтрак с горячим шоколадом... Если друзья пожелают обладать девушками за завтраком или после него, девушки обязаны им безропотно подчиняться, иначе их ждет наказание. Договорились, что по утрам это будет происходить на глазах у всех... Затем друзья идут на квартиру юношей, чтобы сделать подобный же осмотр и установить виновных. Четыре мальчика, которые вместе с содомистами не заходили утром в комнату друзей, должны при их появлении снять штаны. Четверо других этого делать не будут, а сами должны безмолвно стоять рядом в ожидании приказов. Друзья могут позабавиться с ними на глазах у всех: в это время уединенные «тет-а-тет» не положены.

С двух до трех часов — обед у юношей и девушек. Друзьям обед сервируют в гостиной. «Работяги» — содомисты — единственные, кому оказана честь присутствовать. За обедом прислуживают четыре жены, совершенно голые, им помогают четыре служанки, одетые, как колдуньи.

В пять часов обед заканчивается. Содомисты свободны до ассамблеи, а друзья переходят в салон, где два юноши и две девочки, каждый день новые, но всегда голые, подносят им кофе и ликеры. Здесь положены невинные шутки и игры.

Около шести часов юноши идут переодеваться к спектаклю в торжественную одежду. А в шесть часов господа перейдут в зал ассамблеи, предназначенный для рассказчиц.

Каждый разместится в своей нише. Дальше порядок будет такой. На трон взойдет рассказчица. На ступенях трона разместятся шестнадцать детей... Четыре содомиста могут воздержаться от присутствия на ассамблее... Что касается четырех других, то каждый из них будет в нише одного из организаторов представления; тот будет восседать на диване рядом со своей женой. Жена будет всегда голой...

Ровно в шесть часов рассказчица начнет свое повествование, которое друзья могут прервать, когда захотят. Рассказ будет длиться до десяти часов вечера; поскольку друзья будут воспламеняться, позволены любые виды наслаждения, кроме одного: лишения девственности. Зато они могут делать все, что им вздумается, с содомистами, женами, катреном, старухой при нем и даже тремя рассказчицами, если фантазия их захватит. В момент получения удовольствия рассказ будет прерван, а по его окончании — возобновлен.

В десять часов — ужин. Жены, рассказчица и восемь девушек ужинают вместе или порознь, но женщинам не положено ужинать вместе с мужчинами. Друзья ужинают с четырьмя содомистами, не занятыми ночью, и четырьмя мальчиками. Четыре других будут ужинать отдельно, им будут прислуживать старухи. После ужина все вновь встречаются в салоне ассамблеи на церемонии, носящей название

«оргии». Голыми будут все, в том числе и сами друзья... Позволено все, кроме лишения невинности, когда же это случится, с ребенком можно делать все, что придет в голову.

В два часа утра оргия заканчивается. Четыре содомиста, предназначенных для ночи, войдут в зал в легких элегантных одеждах и подойдут к каждому из четырех друзей; тот, в свою очередь, уведет с собой одну из жен, «объект», лишенный невинности (когда придет момент для этого), рассказчицу или старуху, чтобы провести ночь между нею и содомистом. При этом надо соблюдать последовательность, чтобы «объекты» каждую ночь менялись.

Таким будет порядок каждого дня. Независимо от того, каждая из семнадцати недель пребывания в замке будет отмечена специальным праздником. Это прежде всего будут свадьбы: о времени и месте каждой из них все будут оповещены заранее. Первыми будут свадьбы между самыми юными, что связано с потерей девственности...

Старухи-служанки будут отвечать за поведение детей. Когда они заметят какие-либо провинности, они немедленно сообщат об этом тому из друзей, кто будет главным в этом месяце, и «исправлением» ошибки будут заниматься все в субботу вечером — в час оргии...

Малейший смех или проявление непочтительности по отношению к друзьям во время свершения ими полового акта считаются особо тяжким преступлением. Мужчина, которого застанут в постели с женщиной, если это не предусмотрено специальным разрешением, где указана именно эта женщина, будет наказан потерей члена. Рекомендовались самые грубые и грязные богохульства; имя Бога вообще нельзя было произносить без проклятий и ругательств...

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

С десяти утра Герцог был уже на ногах. Именно он должен был участвовать в уроках, которые Дюкло собиралась давать девочкам. Он устроился в кресле и в течение часа испытал на себе различные прикосновения, мастурбации, поллюции, позы каждой из девочек, ведомых и направляемых их учительницей; как это можно легко себе вообразить, его огненный темперамент оказался в диком возбуждении от церемонии. Ему стоило невероятных усилий над собой не пролить своей спермы; достаточно хорошо владея собой, он сумел сдержаться и вернулся, торжествующий, похвалиться, что он только что выдержал штурм и бросает вызов друзьям, которые вряд ли смогут выдержать его с таким хладнокровием. Это заставило установить штраф в пятьдесят луидоров, который налагался бы на того, кто кончит во время уроков. Вместо завтрака и визитов, утро было использовано для того, чтобы упорядочить таблицу семнадцати оргий, запланированных на конец каждой недели, а также для установления окончательного приговора по лишению девственности, который теперь можно было утвердить: все лучше познакомились друг с другом. Поскольку эта таблица окончательно упорядочивала все операции компании, мы сочли необходимым предоставить копию ее читателям. Нам показалось, что, зная о предназначении участников, он проявит больше интереса к ним в остальных операциях.

ТАБЛИЦА ПЛАНОВ НА ОСТАТОК ПРЕДПРИЯТИЯ

Седьмое ноября, полное завершение первой недели; с самого утра все займутся свадьбой Мишетты и Житона; двое супругов, которым возраст не позволяет соединиться, как трем следующим суп-

ружеским парам, будут разлучены в тот же вечер, и никто больше не станет вспоминать об этой церемонии, которая послужит лишь для развлечения... В тот же вечер все примутся за наказание участников, занесенных в список месяца.

Четырнадцатого также будет устроена свадьба Нарцисса и Эбе, на тех же условиях, что описаны выше.

Двадцать первого — также свадьба Коломб и Зеламир.

Двадцать восьмого — Купидона и Розетты.

Четвертого декабря — рассказы госпожи Шамвиль, которые также должны подвигнуть общество на следующие экспедиции; Герцог лишит девственности Фанни.

Пятого — Фанни выйдет замуж за Гиацинта, который будет пользовать свою молодую супругу перед всем собранием. Таким будет праздник пятой недели, а вечером, как обычно, наказания, поскольку свадьбы будут отмечаться с утра.

Восьмого декабря — Кюрваль лишит девственности Мишетту.

Одиннадцатого — Герцог лишит девственности Софи.

Двенадцатого, чтобы отметить праздник шестой недели, Софи будет отдана замуж за Селадона на тех же условиях, что и брак, описанный выше. Больше, впрочем, это не будет повторяться.

Пятнадцатого — Кюрваль лишит девственности Эбе.

Восемнадцатого — Герцог лишит девственности Зельмир, а *девятнадцатого*, чтобы отметить праздник седьмой недели, Адонис женится на Зельмир.

Двадцатого — Кюрваль лишит девственности Коломб.

Двадцать пятого, в Рождество, Герцог лишит девственности Огюстин, а *двадцать шестого*, к празднику шестой недели Зефир женится на ней.

Двадцать девятого — Кюрваль лишит девственности Розетту (вышеупомянутые распоряжения были предусмотрены для того, чтобы Кюрваль, имевший член меньше, чем у Герцога, брал для себя маленьких девочек).

Первого января, первый день, когда рассказы Ла Мартен заставят задуматься о новых удовольствиях, все приступят к содомским растлениям в следующем порядке:

Первого января Герцог проникнет в зад Эбе.

Второго, чтобы отметить девятую неделю, Эбе, лишенная невинности Кюрвалем спереди и Герцогом — сзади, будет отдана Эркюлю, который развлечется с ней так, как это будет предписано, перед всем собранием.

Четвертого Кюрваль покусится на зад Зеламира.

Шестого Герцог нападет на зад Мишетты, а *девятого*, чтобы отметить окончание десятой недели, Мишетта, которая лишена невинности спереди — Кюрвалем и сзади — Герцогом, будет отдана «Разорванному Заду», чтобы тот развлекся с ней и т. д.

Одиннадцатого епископ будет трахать в зад Купидона.

Тринадцатого Кюрваль будет иметь в зад Коломб.

Шестнадцатого, в честь праздника одиннадцатой недели, Коломб, которую лишит невинности спереди — Кюрваль, а сзади — епископ, будет отдана Антиною, который развлечется с ней и т. д.

Семнадцатого Герцог будет трахать в зад Житона.

Девятнадцатого Кюрваль поимеет в зад Софи.

Двадцать первого епископ трахнет в зад Нарцисса.

Двадцать второго Герцог будет иметь в зад Розетту.

Двадцать третьего в честь праздника двенадцатой недели Розетта будет отдана «Струе-В-Небо».

Двадцать пятого Кюрваль будет трахать в зад Огюстин.

Двадцать восьмого епископ поимеет в зад Фанни.

Тридцатого в честь праздника тринадцатой недели Герцог будет сочетаться браком с Эркюлем в качестве мужа и Зефиром в качестве жены; свадьба эта совершится, как и три следующих за ней, перед всеми.

Шестого февраля в честь праздника четырнадцатой недели Кюрваль будет сочетаться браком с «Разорванным Задом» в качестве мужа и Адонисом в качестве жены.

Тринадцатого февраля, в честь праздника пятнадцатой недели, епископ будет сочетаться браком с Антиноем в качестве мужа и Селадоном в качестве жены.

Двадцатого февраля, в честь праздника шестнадцатой недели, Дюрсе будет сочетаться браком со «Струей-В-Небо» в качестве мужа и Гиацинтом в качестве жены.

Что касается праздника семнадцатой недели, который падает на двадцать седьмое февраля, канун завершения рассказов, то он будет ознаменован жертвоприношениями, и господа сохраняют за собой исключительное право выбора жертв...

Из таблицы видно, что Герцогу предстояло лишить невинности Фанни, Софи, Зельмир, Огюстин, Мишетту, Житона, Розетту и Зефира; Кюрвалю предстояло лишить девственности Мишетту, Эбе, Коломб, Розетту, Зеламира, Софи, Огюстин и Адониса; Дюрсе, который совершенно не мог трахать, предстоит единственное лишение невинности зада

Гиацинта, на котором он женится, как на жене; епископ, который предпочитает только зад, совершит содомское лишение невинности Купидона, Коломб, Нарцисса, Фанни и Селадона.

Целый день прошел за тем, чтобы записать все установки и посудачить по этому поводу; поскольку никто не провинился, все прошло без происшествий до часа рассказов, где было все обставлено как обычно, хотя и с некоторыми отличиями; знаменитая Дюкло поднялась на свой помост и продолжила повествование, начатое накануне:

«Один молодой человек, пристрастие которого, на мой взгляд, хотя и достаточно распутное, тем не менее было особенным, появился у мадам Герэн спустя много времени после последнего приключения, о котором я вам рассказывала вчера. Ему нужна была молодая и свежая кормилица; он сосал ее грудь и кончал на ляжки доброй женщины, напиваясь до отвала ее молока. Его член показался мне совсем ничтожным; сам он был весьма тщедушный, и разрядка его была такой же слабой, как все действия. На следующий день появился еще один человек, пристрастие которого вам покажется, несомненно, забавным. Он хотел, чтобы женщина была вся закутана в покрывало, которое скрывало бы от него ее чрево и лицо. Единственная часть тела, которую он хотел видеть, был зад; все остальное было ему безразлично, и можно было быть уверенным, что он будет очень раздосадован, увидев остальное. Мадам Герэн привела для него даму с улицы, очень страшную, почти пятидесяти лет, ягодицы которой были очерчены, точно ягодицы Венеры. Не было ничего более прекрасного для глаза. Я захотела увидеть эту сцену. Старая дуэнья, плотно закутанная в покрывало, тотчас оперлась животом о край кровати. Наш распутник, человек

лет тридцати, как мне показалось, из судейского сословия, задирает ей юбки до пояса, приходит в восторг при виде красот в его вкусе, которые предстают перед ним. Он касается их руками, раздвигает ягодицы, страстно целует их; его фантазия распаляется гораздо больше от того, что он воображает себе, что имеет дело с самой Венерой, и после довольно недолгого гона его орудие, ставшее твердым при помощи толчков, извергает благодатный дождь на эту роскошную задницу, которая предстает перед глазами. Его разрядка была быстрой и бурной. Он сидел перед предметом своего поклонения; одной рукой раскачивал его, а другой орошал спермой; раз десять он вскричал: «Какая прекрасная жопа! Ах! Какое наслаждение заливать спермой такую жопу!» Затем встал и ушел, не проявив ни малейшего желания узнать, с кем имел дело.

Спустя некоторое время один молодой аббат попросил у госпожи мою сестру. Он был молодым и красивым, но член его был едва различимым, маленьким, вялым. Он уложил ее, почти раздетую, на диван, встал на колени между ляжками, поддерживая за ягодицы двумя руками, причем одной рукой он щекотал ей красивую маленькую дырочку зада. Тем временем его губы коснулись нижних губ моей сестры. Он щекотал ей клитор языком и делал это ловко; так согласованны и размеренны были его движения, что через две-три минуты он привел ее в исступление. Я видела, как склонилась ее голова, помутился взор, и плутовка закричала: «Ах, мой дорогой аббат, ты заставляешь меня умирать от удовольствия». Привычкой аббата было глотать жидкость, которую заставляло течь его распутство. И он не преминул сделать это и, трясясь, извиваясь, в свою очередь, раскачиваясь на диване, на котором лежала моя сестра, рассеял по полу

верные знаки своей мужественности. На следующий день была моя очередь и, уверяю вас, господа, это было одно из самых приятных ощущений, какие мне только довелось испытать за всю жизнь. Этот плут аббат получил мои первые плоды, и первая влага оргазма, которую я потеряла, попала к нему в рот. Будучи более услужливой, чем моя сестра, чтобы отблагодарить его за удовольствие, которое он мне доставил, я непроизвольно схватила его нетвердый член; моя маленькая рука вернула ему то, что его рот заставил ощутить меня с таким наслаждением».

Здесь герцог не мог удержаться, чтобы не прервать рассказ. Исключительно разгоряченный поллюциями, которым он предавался утром, он решил, что этот вид распутства, исполненный с прелестной Огюстиной, живые и плутоватые глаза которой свидетельствовали о рано пробудившемся темпераменте, заставит пролить его сперму, от которой покалывало у него в яичках. Она была из его катрена, была ему достаточно приятна и предназначалась для лишения невинности; он подозвал ее. В тот вечер она нарядилась смешным мальчуганом и была прелестна в этом костюме. Дуэнья задрала ей юбки и расположила ее в позе, описанной Дюкло. Герцог сначала занялся ягодицами: встал на колени, ввел ей палец в анальное отверстие, легонько щекотал его, принялся за клитор, который у любезной девочки уже хорошо обозначился, и начал сосать его. Уроженки Лангедока весьма темпераментны. Огюстин доказала это: ее прекрасные глаза оживились, она вздохнула, ее ляжки непроизвольно приподнялись, и герцог был счастлив, получив молодую влагу, которая несомненно текла в первый раз. Но невозможно получить два счастья подряд. Есть распутники, закореневшие в пороке: чем проще и

деликатнее то, что они делают, тем меньше их проклятая голова от этого возбуждается. Наш дорогой герцог был из таких: он проглотил сперму нежной девочки в то время, как его собственная не пожелала пролиться. И тут наступил миг (поскольку не существует ничего более непоследовательного, чем распутник), тот миг, говорю я, когда он собирался обвинить в этом несчастную малышку, которая, совершенно смущенная тем, что дала волю природе, закрыла голову руками и пыталась бежать на свое место. «Пусть сюда поставят другую, — сказал герцог, бросая яростные взгляды на Огюстин, — я буду сосать их до тех пор, пока не кончу». К нему приводят Зеламир, вторую девочку из катрена. Она была одного возраста с Огюстин, но ее горькое положение сковывало в ней всякую способность испытывать наслаждение, которое, возможно, не будь этого, природа также позволила бы ей вкусить. Ей задирают юбки, обнажая маленькие ляжки белее алебастра. Там виднеется бугорок, покрытый легким пушком, который едва начинает появляться. Ее располагают в нужной позе; она машинально подчиняется, но герцог старается напрасно, ничего не выходит. Спустя четверть часа он в ярости подымается и кидается в свой угол с Эркюлем и Нарциссом: «Ах, раздери твою мать, я вижу, что это совершенно не та дичь, которая мне нужна, — говорит он о двух девочках, — мне удастся сделать это только вот с этими». Неизвестно, каким излишествам он предавался, но спустя мгновения послышались крики и вой, которые доказывали, что он одержал победу, и что для разрядки мальчики были более надежным способом, чем самые восхитительные девочки. Тем временем епископ также увел в комнату Житона, Зеламир и «Струю-В-Небо»; после того, как порывы его разрядки

достигли слуха собравшихся, два собрата, которые, судя по всему, предавались тем же излишествам, вернулись, чтобы дослушать остаток рассказа; наша героиня продолжила в следующих словах:

«Почти два года прошло; у госпожи Герэн не появлялось никаких других клиентов: лишь люди с обычными вкусами, о которых не стоит вам рассказывать, или же те, о которых я вам только что говорила. И вот однажды мне велели передать, чтобы я прибралась и особенно тщательно вымыла рот. Я подчинилась, спустилась вниз. Человек лет пятидесяти, толстый и расплывшийся, обсуждал что-то с Герэн. «Посмотрите, сударь, — сказала она. — Ей всего лишь двенадцать лет, и она чиста и безупречна; словно только что вышла из чрева матери, за что я ручаюсь». Клиент разглядывает меня, заставляет открыть рот, осматривает зубы, вдыхает мое дыхание. Несомненно, довольный всем, он переходит со мной в «храм», предназначенный для удовольствий. Мы садимся друг против друга очень близко. Невозможно вообразить ничего более серьезного, холодного и флегматичного, чем мой кавалер. Он направил лорнет, разглядывая меня и полуприкрыв глаза; я не могла понять, к чему все это должно было привести, когда нарушив, наконец, молчание, он велел мне собрать во рту как можно больше слюны. Я подчиняюсь, и как только он счел, что мой рот полон ей, он со страстью бросается мне на шею, обвивает рукой мою голову, чтобы она была неподвижной, и, прилепившись своими губами к моим, выкачивает, втягивает, сосет и глотает поспешно всю чудодейственную жидкость, которую я собрала и которая, казалось, приводила его в экстаз. Он втягивает в себя с тем же пылом мой язык и, как только чувствует, что тот стал

сухим, и замечает, что у меня во рту ничего больше не осталось, приказывает мне снова начать операцию; и так восемьдесят раз подряд. Он сосал мою слюну с такой яростью, что я почувствовала, что дыхание сперло у меня в груди. Я думала, что хотя бы несколько искр удовольствия увенчают его экстаз, но ошиблась. Его флегма, которая нарушалась лишь в момент его странных сосаний, становилась такой же, как только он заканчивал; когда я ему сказала, что я больше так не могу, он принялся смотреть на меня, пристально разглядывать, как делал это в начале; поднялся, не говоря мне ни слова, заплатил госпоже Герэн и ушел».

«Ах, черт подери! Черт подери! — сказал Кюрваль. — Значит я счастливее его, потому что я кончаю». Все поднимают головы, и каждый видит, что дорогой Председатель делает с Юлией, своей женой, которую в тот день он имел сожительницей на диване, то, о чем только что рассказала Дюкло. Все знали, что эта страсть была в его духе, особенно дополнительные эпизоды, которые Юлия представляла ему наилучшим образом и которые юная Дюкло, несомненно, не могла так хорошо представить своему кавалеру, если судить, по крайней мере, по тем указаниям, которые тот требовал и которые были далеки от того, что желает Председатель.

«Спустя месяц, — сказала Дюкло, которой было приказано продолжать, — мне опять пришлось иметь дело с сосателем, но совершенно иного характера. Это был старый аббат, который, предварительно расцеловав меня и поласкав мой зад в течение получаса, сунул язык в заднее отверстие, протолкнул поглубже и выкручивал его там с таким мастерством, что я почувствовала его почти у себя в кишках.

Этот тип, притянув к себе мой анус с такой силой и щекоча его так похотливо, что я разделила его экстаз. Когда он это сделал, он еще мгновение разглядывал мои ягодицы, остановив взгляд на отверстии, которое только что расширил, и не мог удержаться от того, чтобы еще раз не запечатлеть на нем своих поцелуев; затем ушел, уверяя меня, что будет часто возвращаться и просить только меня и что он доволен моей жопой. Он сдержал слово: в течение почти полугода приходил совершать со мной три-четыре раза в неделю ту же самую операцию, к которой меня так славно приучил, и всегда заставлял вздыхать от наслаждения, что, впрочем, как мне казалось, ему было совершенно безразлично, поскольку ни разу он об этом не спрашивал».

На этом месте Дюрсе, которого воспламенил рассказ, захотел, как и тот старый аббат, пососать отверстие в заднице, но только не у девочки. Он зовет Гиацинта, который нравился ему больше всего, ставит его перед собой, целует ему зад, возбуждает себе член, начинает толчки. По нервной дрожи, по спазму, который предшествовал всегда его разрядке, можно было подумать, что его маленький анчоус, который изо всех сил сотрясала его Алина, собирался, наконец, извергнуть свое семя; но финансист не был так расточителен: он все же не кончил. Все решили сменить ему объект, предоставив Селадона, но дело не двинулось. К счастью, колокольчик, звонивший к ужину, спас честь финансиста. «Здесь я не виноват, — сказал он, смеясь своим собратьям, — вы же видите, я был близок к победе; а этот проклятый ужин оттягивает ее. Идемте, сменим страсть, я вернусь еще более пылким к любовным баталиям, когда Бахус увенчает меня». За ужином, столь вкусным, веселым и, как обычно, распутным,

последовали оргии, во время которых было совершено немало мелких непристойностей. Было там немало высосанных ртов и задниц, но одно из развлечений особенно занимало: скрыв лицо и грудь девушек, нужно было узнать их по ягодицам. Герцог несколько раз ошибался, но трое других так пристрастились к задницам, что не ошиблись ни разу. Затем все отправились спать, а следующий день принес новые наслаждения и несколько новых мыслей.

ГЁЛЬДЕРЛИН

Гёльдерлин Иоганн Кристиан Фридрих (1770—1843) — немецкий поэт, автор лирического романа «Гиперион, или Отшельник в Греции» (1787—1799). Учился с Г. Гегелем и Ф. Шеллингом. Представитель духовного течения «Буря и натиск». Идеалы свободы, пантеистический культ природы, гуманистическая утопия в Духе Эллады, а позднее — любовь, страдание, одиночество — основные темы творчества Гёльдерлина.

СОКРАТ И АЛКИВИАД

«Святой Сократ, что же ты чествуешь
Этакого юнца? Нет никого почтеннее?
Так глядишь на него, как будто
Он к сонму богов причтен?»

Кто глубины познал, влюблен в живейшее,
Зоркий зрит возвышенность юности,
И мудрец на закате
Склонен к прекрасному.

ЛЕРМОНТОВ

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) – великий русский поэт.

РАЗЛУКА

Я виноват перед тобою,
Цены услуг твоих не знал.
Слезами горькими, тоскою
Я о прощеньи умолял,
Готов был, ставши на колени,
Проступком называть мечты:
Мои мучительные пени
Бессмысленно отвергнул ты.
Зачем так рано, так ужасно
Я должен был узнать людей
И счастьем жертвовать напрасно
Холодной гордости твоей?..
Свершилось! вечную разлуку
Трепеща вижу пред собой...
Ледяную встречаю руку
Моей пылающей рукой.
Желаю, чтоб воспоминанье
В чужих людях, в чужой стране
Не принесло тебе страданье
При сожаленье обо мне...

Посвящено М. И. Сабурову

К Т***

Не води так томно оком,
Круглой жопкой не верти,
Сладострастьем и пороком
Своенравно не шути.
Не ходи к чужой постеле
И к своей не подпускай,
Ни шутя, ни в самом деле
Нежных рук не пожимай.
Знай, прелестный наш чухонец,
Юность долго не блестит!
Знай: когда рука господня
Разразится над тобой
Все, которых ты сегодня
Зришь у ног своих с мольбой,
Сладкой влагой поцелуя
Не уймут тоску твою,
Хоть тогда за кончик хуя
Ты бы отдал жизнь свою.

Т*** — Тизенгаузен

УАЙЛЬД

Оскар Уайльд (1854—1900) — английский поэт, писатель и критик. Ирландец по национальности. Окончил Оксфордский университет. Согласно его взглядам, искусство не только самоценно, но первично по отношению к жизни. Поэзия Уайльда развивалась под влиянием французских символистов. Огромной популярностью до сих пор пользуются сказки О. Уайльда («Счастливый принц», «Звездный мальчик» и др.). Они лиричны и возвышенны по своему содержанию. Не менее известны и остросюжетные новеллы «Преступление лорда Артура Севиля», «Кентервильское привидение». Уайльд — автор ряда светских пьес-комедий. В 1891 г. написал роман «Портрет Дориана Грея», в котором проповедуется культ красоты и жажда наслаждения. Современники восприняли роман как апологию эстетского аморализма. По обвинению в нарушении общественной нравственности за любовь к юноше-аристократу Уайльд был осужден на два года тюремного заключения. Связанный с этим душевный надлом получил отражение в «Балладе Рэдингской тюрьмы» (1898) и в посмертно опубликованной исповеди «De profundis».

ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ

Молодые люди вышли в сад и уселись на длинной бамбуковой скамейке под тенью высокого лаврового куста. Лучи солнца скользили по гладкой листве деревьев. В траве дрожали белые маргаритки.

Они молчали. Лорд Генри взглянул на часы.

— К сожалению, мне сейчас надо идти, Бэзил, — сказал он: — но я не уйду, покуда вы не ответите на мой вопрос...

— Какой вопрос? — спросил Бэзил Холлуорд, не поднимая глаз от земли.

— Вы прекрасно знаете — какой.

— Нет, не знаю, Генри.

— В таком случае, я вам скажу. Я хочу, чтобы вы объяснили мне, почему вы не желаете выставить портрет Дориана Грея. Я хочу знать настоящую причину.

— Я сказал вам настоящую причину.

— Нет. Вы сказали, что вложили в этот портрет слишком много самого себя. Но ведь это ребячество!

— Гарри! — сказал Бэзил Холлуорд, глядя ему прямо в глаза. — Каждый портрет, написанный с чувством, есть, в сущности, портрет художника, а отнюдь не его модели. Модель — это просто случайность. Не ее раскрывает художник, а скорее самого себя. Поэтому-то я и не выставляю этот портрет, что боюсь, не раскрыл ли я в нем тайну своей собственной души.

Лорд Генри засмеялся.

— Что же это за тайна? — спросил он.

— Я скажу вам, — ответил Холлуорд: но выражение замешательства появилось на его лице.

— Я весь ожидание, Бэзил, — продолжал собеседник и посмотрел на него.

— О, говорить тут почти нечего, Гарри, — ответил художник, — но вряд ли вы это поймете. А, пожалуй, вряд ли и поверите.

Лорд Генри улыбнулся, наклонился и, сорвавши в траве бледно-розовую маргаритку, принялся ее рассматривать.

— Я совершенно уверен, что пойму все, — возразил он, пристально разглядывая маленький, золотистый кружок, опушенный белыми лепестками: — что же касается веры, то я поверю чему угодно, лишь бы оно было совсем невероятно.

Порыв ветра стряхнул с деревьев несколько лепестков, а тяжелые гроздья сирени, мириады

крошечных звездочек заколыхались в сонном воздухе. Кузнечик затрещал у стены; и словно синяя нить, длинная тоненькая стрекоза пронеслась мимо на своих темных, газовых крылышках. Лорду Генри показалось, что он слышит биенье сердца Бэзиля Холлуорда, и он удивленно ждал, что же будет дальше.

— Дело тут попросту вот в чем, — сказал через некоторое время художник. — Два месяца назад мне пришлось быть на рауте у леди Брэндон. Вы знаете, мы, бедные художники, должны время от времени появляться в обществе только для того, чтобы напомнить людям, что мы не совсем дикари. Во фраке и белом галстуке, по вашему собственному выражению, всякий, даже биржевой маклер, может приобрести репутацию цивилизованного человека. Ну, вот, войдя в залу и поболтав минут десять с разными разодетыми титулованными вдовицами и скучными академиками, я вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Я повернулся вполоборота и в первый раз в жизни увидел Дориана Грея. Когда наши глаза встретились, я почувствовал, что бледнею. Странный ужас охватил меня. Я понял, что столкнулся с человеком, самая личность которого так обаятельна, что, если бы я только поддался, она могла бы поглотить все мое существо, всю душу, даже самое мое искусство... Я не хотел, чтобы на мою жизнь кто-нибудь влиял со стороны. Вы ведь сами знаете, Гарри, насколько я независим по природе. Я всегда был сам себе господин, по крайней мере, до встречи с Дорианом Греем. А тут... но я не знаю, как вам объяснить... Что-то подсказывало мне, что в моей жизни сейчас совершится какой-то ужасный перелом. Я как бы почувствовал, что судьба заготовила для меня изысканные радости и какие-то изысканные муки. Мне стало





страшно, и я повернулся, чтобы покинуть комнату. Не совесть побудила меня так поступить, а скорее какая-то трусость. И я не могу поставить себе в заслугу это желание убежать.

— Совесть и трусость, право, одно и то же. Совесть — это лишь вывеска фирмы. Вот и все.

— Я этому не верю, Гарри; я даже не верю, что этому верите вы. Во всяком случае, каково бы ни было мое побуждение, — может быть, это была гордость, так как я всегда был горд, — я стал протискиваться к дверям. Но там я, конечно, натолкнулся на леди Брэндон. — «Вы не собираетесь ли убежать так рано, мистер Холлуорд?» — закричала она. Вы ведь знаете ее изумительно резкий голос?

— Да, она — павлин во всех отношениях, только не в отношении красоты, — сказал лорд Генри, разрывая в клочки маргаритку своими нервными руками.

— Я не мог от нее отделаться. Она стала подводить меня к высочайшим особам, разным сановникам в звездах и орденах, к старым дамам в гигантских диадемах и с такими носами, как у попугаев. Она говорила обо мне как о своем лучшем друге. До тех пор я лишь однажды видел ее, но она во что бы то ни стало желала, по-видимому, раздуть мою знаменитость. Кажется, какая-то из моих картин имела в то время большой успех; по крайней мере, о ней кричали разные газеты, что в XIX веке должно служить мерилом бессмертия. Вдруг я очутился лицом к лицу с тем молодым человеком, внешность которого так странно поразила меня. Мы были близко, почти касались друг друга. Взоры наши встретились опять. Это было безрассудством с моей стороны, но я попросил леди Брэндон познакомить меня с ним. В конце концов,

может быть, это и не было уж таким безрассудством. Это было просто неизбежно. Мы бы все равно заговорили друг с другом и безо всяких представлений. Я в этом уверен. Дориан мне потом сказал то же самое. Он также почувствовал, что нам суждено встретиться.

— А что же говорила вам леди Брэндон об этом чудесном юноше? — спросил лорд Генри. — Я ведь знаю ее привычку давать беглую оценку каждого из ее гостей. Помню, как-то раз она подвела меня к какому-то суровому, багрянолицему старцу, увешанному орденами и лентами, и начала шептать мне на ухо трагическим шепотом, слышным для всех присутствовавших, самые чудовищные подробности о нем. Я сбежал. Я люблю узнавать людей сам. Но бедная леди Брэндон обращается со своими гостями, как аукционер со своим товаром. Она рассказывает вам о них самые ничтожные подробности или же говорит вам все, кроме того, что бы вы хотели знать.

— Бедная леди Брэндон! Вы слишком жестоки к ней, Гарри, — ответил рассеянно Холлуорд.

— Мой милый, она пыталась основать салон, а ей удалось открыть у себя ресторан. Как же мне восторгаться ею? Но скажите мне, что она вам сообщила про Дориана Грея?

— О, что-то вроде: «Прелестный юноша... мы были неразлучны с его бедной матерью... Я забыла, чем он занимается... боюсь, что ничем... ах, да! играет на рояле... или на скрипке, не так ли, дорогой мистер Грей?» Мы оба не могли удержаться от смеха и сразу стали друзьями.

— Смех — недурное начало дружбы и, пожалуй, лучший конец для нее, — заметил лорд Генри, срывая другую маргаритку...

— Часто вы с ним видитесь?

— Ежедневно. Я не чувствовал бы себя счастливым, не встречаясь с ним каждый день. Он абсолютно мне необходим.

— Как странно! Я не думал, что когда-либо вы будете любить что-нибудь, кроме вашего искусства.

— Он теперь для меня — само искусство, — серьезно сказал художник. — Порой я думаю, Гарри, что в истории человечества есть только две маломальски значимые эры. Первая — открытие нового средства выражения в искусстве, и вторая — появление новой индивидуальности в искусстве же. Со временем лицо Дориана Грея будет для меня иметь то же значение, какое для венецианцев имело открытие масляных красок, или для позднейшей греческой скульптуры — лицо Антиноя. Я не только рисую, пишу с Дориана — конечно, я все это уже проделал. Нет, он для меня больше, чем простая модель. Я не скажу, будто я недоволен тем, как я его написал, или будто его красота такова, что она не поддается искусству. В сущности, на свете нет ничего, что не может быть выражено искусством; и я знаю, что все, написанное мною после встречи с Дорианом Греем, — хорошо, и даже лучше всего, что я сделал за всю свою жизнь. Но каким-то странным образом, — я не знаю, поймете ли вы меня, — его индивидуальность внушила мне совершенно новую манеру в искусстве, совершенно новый стиль. Я вижу вещи иными, познаю их иначе. Теперь я могу воссоздать жизнь в таких формах, которые раньше были скрыты от меня. «Греза о форме во дни размышлений» — кто это сказал? Не помню; но вот чем стал для меня Дориан Грей. Уж одно присутствие этого мальчика — он мне кажется почти мальчиком, хотя ему уже за двадцать... одно уж его присутствие... ах! не знаю, можете ли вы себе представить все значение этого?

Он бессознательно выясняет контуры новой школы, в которой должны слиться вся страстность романтизма и все совершенство классицизма. Гармония души и тела, — как это много! В нашем безумии мы разлучили эти две сущности и выдумали вульгарный реализм и пустой идеализм. Гарри! Если бы вы только знали, что такое для меня Дориан Грей! Помните мой пейзаж, за который Анью предлагал мне такую высокую цену, а я не хотел с ним расстаться? Это одна из лучших моих вещей. А почему? Потому что, когда я писал ее, Дориан Грей сидел рядом со мной. Какая-то неуловимая сила передалась мне от него, и я впервые в жизни увидал в обыкновеннейших деревьях — чудо, которого я постоянно и напрасно искал.

— Бэзил! Это поразительно. Я должен видеть Дориана Грея.

Холлуорд встал и быстро зашагал взад и вперед по саду. Немного погодя он вернулся.

— Гарри, — сказал он. — Дориан Грей для меня — вдохновение в искусстве. Вы, может быть, ничего в нем не увидите. Я вижу в нем все. Нигде его влияние не выражается так сильно, как в тех произведениях, где его собственный образ отсутствует. Просто, как я уже говорил, он внушает мне новую манеру, новый стиль. Я нахожу его в изгибе некоторых линий, в прелести и нежности некоторых тонов. Вот и все.

— Тогда почему вы не хотите выставить его портрет? — спросил лорд Генри.

— Потому что, сам не сознавая, я вложил в него какое-то проявление того странного художественного идолопоклонства, о котором я, конечно, никогда не заговаривал с ним. Он ничего об этом не знает... Он никогда об этом ничего не узнает. Но люди могут догадаться; а я не обнажу своей

души перед их пустым и любопытным взором. Я никогда не поставлю своего сердца под их микроскоп. В этой картине слишком много меня самого, Гарри, слишком много меня самого.

— Поэты не так щепетильны, как вы. Они знают, насколько страсть полезна для распространения книги. В наше время разбитое сердце выдерживает множество изданий.

— Я их ненавижу за это! — воскликнул Холлуорд. — Художник должен создавать прекрасные произведения, но не должен в них вкладывать частицы своей личной жизни. Мы живем в такой век, когда люди смотрят на искусство как на какую-то автобиографию. Мы забыли, что такое отвлеченное чувство красоты. Если мне еще суждено прожить, я покажу людям, каково оно, и потому мир никогда не увидит моего портрета Дориана Грея.

— Мне кажется, вы неправы, Бэзил; но я не буду с вами спорить. Только люди умственно несостоятельные спорят. Скажите мне, Дориан Грей очень к вам привязан?

Художник на несколько мгновений задумался.

— Он меня любит, — ответил он, помолчав немного: — я знаю, он меня любит. Конечно, я говорю ему много лестного. Я нахожу странное удовольствие говорить ему такие слова, о которых потом сожалею. А он, в общем, мил со мною, и мы часто сидим у меня в мастерской, беседуем о тысяче разных вещей. Но иногда он бывает ужасно небрежен, и ему, кажется, доставляет истинное удовольствие огорчать меня. Тогда, Гарри, я чувствую, что отдал всю свою душу человеку, обращающемуся с ней не лучше, чем с каким-нибудь цветком, который можно засунуть за петлицу своего сюртука, или с каким-нибудь значком, удовлетворяющим его тщеславию, или с развлечением для летнего дня.

11 Заказ 773

— Летние дни бывают продолжительными, Бэзил, — проронил лорд Генри. — Быть может, он вам прискучит раньше, чем вы ему. Это, конечно, печально; но ведь гений несомненно долговечнее красоты. Этим именно объясняется наше стремление стать как можно более образованными. В дикой борьбе за существование мы хотим иметь на своей стороне что-нибудь непреходящее и потому загромождаем свой ум всяким вздором и всякими фактами в глупой надежде удержать позицию за собой. Прекрасно осведомленный человек — вот современный идеал. А ум прекрасно осведомленного человека — ужасная вещь. Это как лавка антиквария: всюду разные чудища и пыль, и все оценивается выше настоящей цены. И все-таки я думаю, что вы утомитесь первый. В один прекрасный день вы посмотрите на Дориана Грея, и он покажется вам не совсем подходящей моделью: или вам не понравятся его тона или еще что-нибудь. Вы станете горько упрекать его в глубине души и будете серьезно думать, что он нехорошо с вами поступил. В следующий его приход вы будете совершенно холодны и равнодушны. Будет очень жаль, так как вы переменитесь. То, что вы мне рассказали, — совсем роман, художественный роман, как можно было бы назвать его, а самое худшее в любом романе — это то, что он делает человека совершенно неромантичным.

— Гарри, не говорите так! Пока я жив, образ Дориана Грея будет властвовать надо мною. Вы не можете чувствовать того, что чувствую я. Вы сами так часто меняетесь.

— Ах, дорогой Бэзил, вот именно потому-то я и могу это чувствовать. Тот, кто верен неизменно, знает лишь легкомысленные стороны любви: только те, кто изменяют, познают ее трагедии...

— Мистер Дориан Грей в мастерской, сэр, — доложил, сойдя в сад, дворецкий.

— Теперь уж вам придется меня с ним познакомить! — со смехом заметил лорд Генри.

Художник обернулся к слуге, который стоял, щурясь от солнца.

— Попросите мистера Грея подождать, Паркер. Я сейчас приду.

Слуга поклонился и пошел по дорожке к дому.

Тогда Бэзил взглянул на лорда Генри.

— Дориан Грей — мой самый любимый друг, — сказал он.— Он прекрасный, неиспорченный юноша... Не портите его. Не старайтесь влиять на него. Ваше влияние было бы для него пагубно. Мир велик, и в нем немало самых удивительных людей. Не отнимайте же у меня Дориана. Он ведь единственный вносит в мое искусство всю прелесть, какую оно способно передать: — я, как художник, всем своим существом завишу от него. Знайте, Гарри, я доверяю вам.

Холлуорд говорил медленно, и слова, казалось, срывались с его губ почти против воли.

— Что за глупости вы говорите! — сказал лорд Генри с улыбкой и, взяв под руку Холлуорда, почти силой повел его в дом.

РОЛЛАН

Ромен Роллан (1866—1944) — французский писатель, общественный деятель. В 1895 г. защитил диссертацию по музыке. Профессор Сорбонны. Лауреат Нобелевской премии (1915). Автор многочисленных исследований в области истории музыки. Тяготение к героическим деяниям проявилось в драмах, посвященных Великой французской революции. Автор биографий великих людей (Бетховена, Л.Толстого и др.). Мировую славу принесла публикация 10-томного романа «Жан Кристоф» (1904—1912). Вопрос о судьбах культуры разрабатывается в повести «Кола Брюньон». В поисках ненасильственных форм общественного действия Роллан обращается к восточным религиозным учениям (книги о Махатме Ганди, Рамакришне, Вивекананде). Пути европейской интеллигенции художественно освещаются в романе «Очарованная душа» (1922—1933).

ЖАН КРИСТОФ

Часть вторая

ОТТО

Как-то в воскресенье Music Director Тобиаш Пфейфер пригласил Кристофа пообедать к себе на дачу, которая отстояла в часе езды от города. Кристоф решил отправиться на пароходике, бегающем по Рейну. На палубе он уселся возле мальчика, по всей видимости его ровесника, который, заметив Кристофа, предупредительно пододвинулся на скамье и освободил место рядом с собой. Сначала Кристоф не обратил на это внимания. Но, почувствовав, что сосед не спускает с него глаз, Кристоф, в свою очередь, стал присматриваться к мальчику. Это был блондинчик с розовыми пухлыми щечками, скромным косым проборчиком и легким пушком

над верхней губой; вид у него был младенчески простодушный, хотя он и старался казаться взрослым джентльменом; одет он был щегольски, даже с претензией, — фланелевый костюмчик, светлые перчатки, белые носки, аккуратно подвязанный галстук; в руках — тоненькая тросточка. Мальчик искоса поглядывал на Кристофа, не поворачивая головы, смешно, как курица, вытягивая шею, а когда Кристоф посмотрел ему в лицо, мальчик покраснел до ушей, вытащил из кармана газету и притворился, будто погружен в чтение. Но когда от порыва ветра шляпа Кристофа слетела на пол, мальчик быстро поднял ее. Кристоф, не привыкший к такому вежливому обращению, удивленно поглядел на незнакомца, а тот снова залился краской; Кристоф сухо поблагодарил соседа, — он не терпел этой заискивающей любезности и уж совсем не переносил излишнего интереса к своей персоне. Все же поведение мальчика польстило ему.

Вскоре он перестал думать о соседе — его вниманием завладел пейзаж... давно уже Кристофу не удавалось вырваться за город, и он жадно вдыхал бьющий в лицо ветер, с наслаждением вслушивался в мерный плеск волн о борт парохода, не спускал глаз с огромного мирного зеркала вод и проплывающих невдалеке берегов, где прихотливо сменяли друг друга высокие серые откосы, ивняк, подымающийся прямо из воды, города, увенчанные готическими башенками и фабричными трубами, откуда валил черный дым, светлая листва виноградников и сказочные утесы. А так как восторги свои Кристоф, не стесняясь, выражал вслух, его сосед оправился от смущения и робко, дрожащим голосом стал называть исторические даты, связанные с обозреваемыми руинами, искусно реставрированными и увитыми плющом; говорил он с таким видом, будто

читал сам себе лекцию. Кристоф заинтересовался и стал расспрашивать своего нового знакомца. Тот охотно отвечал, радуясь, что представился случай выказать свои познания, и, обращаясь к Кристофу, всякий раз величал его «господин придворный музыкант».

— Вы меня знаете? — спросил Кристоф.

— О да, — ответил мальчик с наивным восхищением, что приятно пощекотало самолюбие Кристофа.

Они разговорились. Мальчик часто видел Кристофа на концертах, да и многочисленные рассказы о юном музыканте поразили его воображение. Конечно, он не сказал об этом Кристофу, но Кристоф понял и был приятно удивлен. Он не привык, чтобы с ним говорили таким уважительным и прочувствованным тоном. Он расспрашивал своего спутника о тех местах, мимо которых шел пароходик, и тот с восторгом выкладывал свои недавно приобретенные в школе познания; а Кристоф восхищался его ученостью. Однако исторические подробности служили лишь предлогом для беседы: обоих мальчиков интересовало другое, и это другое были они сами. Но они не осмеливались прямо приступить к занимавшей их теме и осторожно вставляли наводящие, хоть и весьма туманные вопросы. Наконец, они решились, и Кристоф узнал, что нового его друга зовут Отто Дивер, что он сын крупного коммерсанта из их города. Совершенно естественно было и то, что у них нашлись общие знакомые; мало-помалу языки развязались. И когда пароходик пристал к городку, где Кристофу надо было сходить, они уже беседовали с жаром. Его новый знакомый тоже выходил здесь. Это обстоятельство показалось обоим знаменательным, и Кристоф предложил пройтись, так как до обеда у Music Director оставалось еще время. Мальчики отправились в поле. Кристоф,

фамильярно взяв Отто под руку, поверял ему все свои планы и мечты, словно они были знакомы с самого рождения. До сих пор Кристоф был лишен общества своих сверстников и теперь ощущал огромную радость от знакомства с этим мальчиком, таким образованным и хорошо воспитанным и к тому же проявившим к нему искреннюю симпатию.

Часы шли, но Кристоф не замечал времени. Динер, гордый доверием, которое оказывал ему юный музыкант, не смел напомнить своему новому другу, что час обеда давно прошел. Наконец решив, что он обязан предупредить Кристофа, Отто заявил, что так можно и опоздать, однако тот, взбираясь на лесистый холм, закричал, что надо же сначала взойти на вершину, а когда путники достигли ее, Кристоф растянулся на траве с таким видом, словно собирался провести здесь целый день. Через четверть часа Динер, видя, что Кристоф отнюдь не расположен уходить, робко напомнил:

— А как же обед?

Кристоф, удобно улегшись на траву, закинул руки за голову и спокойно ответил:

— Черт с ним!

Потом, взглянув на Отто и увидев его испуганную физиономию, громко расхохотался.

— Уж очень здесь хорошо! — пояснил он. — Я вообще не пойду, пусть ждут!

И сел на траву.

— Может быть, вы спешите? Нет? Не спешите? Тогда давайте вот что сделаем. Хотите, пообедаем вместе? Я здесь знаю одну харчевню.

Отто многое мог бы возразить, и не потому, что его ждали, а потому, что ему было трудно принять внезапное решение, любое решение: от природы он был методичен и ко всему любил готовиться загодя. Но предложение Кристофа было сделано таким

тоном, что не допускало отказа. Поэтому Отто позволил себя уговорить, и мальчики снова принялись болтать.

В харчевне их восторги несколько поостыли. Оба были слишком заняты вопросом: кто будет угощать? Каждый в тайниках души полагал, что угостить нового знакомого для него вопрос чести: Динер — потому что был богаче, а Кристоф — потому что был беднее. Прямо на это они не намекали. Вначале Динеру удалось было отстоять свое право — таким повелительным тоном он заказывал обед. Кристоф разгадал его замысел и, решив превзойти Отто, потребовал какие-то уже совсем изысканные блюда; он хотел показать, что чувствует себя здесь вполне непринужденно. Динер было сделал новую попытку, взяв на себя заказ вин, но Кристоф испепелил его взглядом и попросил бутылку самого дорогого вина, какое только имелось в харчевне.

Когда перед мальчиками стали появляться одно за другим роскошные блюда, на них напало смущенье. Все темы для разговора иссякли, и они еле прикасались к кушаниям, чувствуя связанность в каждом движении. Вдруг оба заметили, что, в сущности, они совсем чужие друг другу, и насторожились. Напрасны были все попытки возобновить прежнюю непринужденную беседу: разговор явно не клеился. Первые полчаса сидения за столом показались им смертной пыткой. К счастью, вкусная еда возымела свое действие: теперь они уже доверчивее поглядывали друг на друга. Особенно разошелся Кристоф, — он не привык к подобным пирушкам и стал на редкость разговорчив. Он рассказал о том, как трудно ему живется; Отто, выйдя из состояния оцепенения, признался, что и он не так-то уж счастлив. Он робок и застенчив от природы, и товарищи пользуются этим его недостатком. Они

издеваются над ним. Не прощают ему того откровенного неодобрения, с каким он смотрит на их вульгарные манеры, подстраивают ему всякие злые шутки. Кристоф сжал кулаки и крикнул, что пусть только попробуют в его присутствии, вряд ли им тогда поздоровится. Оказалось, что и Отто тоже не понимают домашние. Кому, как не Кристофу, было знакомо это несчастье, и оба растрогались своими столь сходными горестями. Родители Динера желают сделать из сына коммерсанта, чтобы он впоследствии возглавил отцовское дело. А он решил стать поэтом, он непременно будет поэтом, если даже ему придется, как Шиллеру, убежать из отчего дома и бороться с нуждой! (Впрочем, рано или поздно состояние все равно перейдет к нему, а состояние это немалое.) С краской в лице Отто признался, что он уже пишет стихи о скуке жизни, но, несмотря на все мольбы Кристофа, отказался их прочесть. Впрочем, к концу обеда, запинаясь, прочел два или три стихотворения. Кристоф заявил, что стихи изумительные. Тогда мальчики стали строить общие планы: работать они будут вместе — будут писать драмы и Liederkreise. Оба млели от взаимного восхищения. Ведь Кристоф был знаменитостью в их городе, а, кроме того, Отто импонировала сила Кристофа, его смелость, решительные речи. Кристофа умиляло изящество Отто, его изысканные манеры — ибо все на свете относительно, — особенно его солидные знания, которых так не хватало Кристофу и которых он так жаждал.

Отяжелев от еды, бесцеремонно положив локти на стол, мальчики говорили, говорили, слушали друг друга, глядели друг на друга затуманенным нежностью взором. Время шло. Пора было уходить. Отто сделал последнее усилие и потянулся было за счетом, но Кристоф пригвоздил его к месту

грозным взглядом, который сразу отбил у бедняги всякое желание настаивать, а Кристофа терзала страшная мысль: а вдруг с него потребуют больше, чем есть у него в кошельке; но он решил оставить в залог свои часы, все, что у него имеется, лишь бы не признаться Отто в своей нищете. Однако жертвы, слава богу, не потребовалось; счет не превысил суммы, которая равнялась месячным расходам Кристофа.

Мальчики спустились с холма. От сосен ложились на землю вечерние тени, верхушки их еще розовели в предзакатной дымке и важно раскачивались, шумя, как волны; шаги заглушал ковер лиловатых сосновых иголок. Оба молчали. Сердце Кристофа переполняло странное сладостное чувство: он был счастлив, ему хотелось говорить, но какой-то неясный страх томил его. Он остановился, и Отто остановился тоже. Кругом была тишина. Только в косом солнечном луче громко жужжали мухи. С легким хрустом упала сухая ветка. Кристоф схватил Отто за руку и спросил дрожащим голосом:

— Хотите быть моим другом?

Отто прошептал:

— Хочу!

Они обменялись рукопожатием; сердца у обоих учащенно бились. Они не смели взглянуть друг другу в глаза.

Затем они пошли дальше. Шли почти рядом — всего на расстоянии нескольких шагов — и молчали до самой опушки леса: они боялись самих себя, боялись своего непонятного волнения; они ускорили шаги и остановились, только выбравшись из лесной чащи. Здесь они вздохнули свободнее, и снова взялись за руки. Оба восхищались прозрачностью вечера и только изредка перебрасывались словами.

На пароходике, забравшись на нос, где пробегали полосы света и тени, они начали было беседовать о самых невинных предметах, но, охваченные блаженной усталостью, не слышали своих слов. Им не требовалось ни говорить, ни пожимать друг другу руки, не требовалось даже глядеть друг на друга, — ведь они были рядом.

Еще на пароходике мальчики условились встретиться в следующее воскресенье. Кристоф проводил Отто до его дверей. При свете газового фонаря они робко улыбнулись и взволнованно пробормотали: «До свидания». Расставшись, они облегченно вздохнули — так устали оба от того напряжения, в котором прожили несколько долгих часов, когда каждое слово доставалось с таким трудом.

Один в ночной темноте, Кристоф шагал домой. Но сердце у него пело: у меня есть друг, есть друг. Он ничего не видел. Ничего не слышал. Не думал ни о чем — только о друге.

Он валился с ног от усталости и заснул, едва коснувшись подушки. Но раза два или три он просыпался ночью, словно разбуженный неотвязной мыслью. «У меня есть друг», — повторял он и тут же снова засыпал.

Наутро все вчерашнее представилось ему сном. Желая разубедить себя, он стал тщательно припоминать малейшие подробности воскресного дня. Он так ушел в это занятие, что не прерывал его даже на уроках; он был рассеян и на репетиции, состоявшейся под вечер, а при выходе из театра сразу забыл, что играли.

Дома его ждало письмо. Ему не было надобности спрашивать, откуда оно. Кристоф бросился в свою комнату, запер дверь и стал читать. Письмо было написано на бледно-голубой бумаге, почерком ста-

рательным, крупным, полуребяческим, с аккуратными росчерками:

«Дорогой господин Кристоф, осмелюсь ли я написать: “высокочтимый друг”»?

Я очень много думаю о нашей вчерашней прогулке и бесконечно благодарен Вам за Вашу доброту. Я так признателен Вам за все, и за Ваши добрые слова, и за чудесную прогулку, и за прекрасный обед! Мне только очень обидно, что Вы истратили так много денег на этот обед. Какой восхитительный день! Не правда ли, есть некое предначертание в этой удивительной встрече? Мне кажется, что сама судьба решила нас соединить. Как радуюсь я при мысли, что увижу Вас в следующее воскресенье! Надеюсь, у Вас не будет больших неприятностей из-за того, что Вы не попали на обед к господину Music Director. Мне было бы очень больно, если бы я стал причиной каких-либо недоразумений.

Остаюсь, дорогой господин Кристоф, Вашим преданным слугой и другом.

Отто Динер.

P.S. Если Вам безразлично, лучше не заходите за мной в воскресенье. Надеюсь, Вы не станете возражать против того, чтобы встретиться в Шлоссгартене».

Кристоф читал письмо со слезами на глазах. Он поцеловал голубой листок, громко захохотал и перекувыркнулся на постели. Потом бросился к столу, схватил перо и стал немедленно сочинять ответ. Он не мог ждать ни минуты. Но привычки к писанию писем у него не было, он не умел выражать те чувства, которые переполняли его сердце, перо прорывало бумагу, он перепачкал все пальцы в чернилах, топал ногами от нетерпения. Наконец, высунув кончик языка, испортив пять или шесть листков, он сумел выразить — огромны-

ми, уродливыми буквами, в строках, испещренных грубейшими орфографическими ошибками, — свои чувства:

«Душа моя! Как осмеливаешься ты говорить о какой-то благодарности, раз я тебя люблю? Разве не говорил я тебе, как одиноко и печально я жил до встречи с тобой? Дружба твоя — величайшее благо! Вчера я был счастлив, понимаешь, по-настоящему счастлив! Впервые в жизни! Читая твое письмо, я плакал от радости. Да, любимый друг, ты прав. Сама судьба свела нас; она хочет, чтобы мы стали друзьями, дабы свершить великие деяния. Друзья! Какое сладостное слово! Неужели у меня действительно есть настоящий друг? О, ты не покинешь меня, не покинешь ведь? Скажи! Ты останешься мне верен навсегда! Навсегда!.. Как будет хорошо нам расти вместе, работать вместе, сочетая мои музыкальные бредни, все те странные мысли, что бродят у меня в голове, с твоим умом и редкостными твоими знаниями! Ведь ты знаешь так много! Я никогда в жизни не видел такого умного человека, как ты! Только одно меня беспокоит временами: мне кажется, что я недостоин твоей дружбы. Ты так благороден и совершенен, и я ужасно благодарен тебе за то, что ты можешь любить такое неотесанное существо, как я! Но нет, я сам только что сказал, что между нами не может быть речи о благодарности. Дружба не знает ни благодетелей, ни благодетельствуемых. Я не приму никаких благодеяний! Мы равны, ибо мы любим друг друга. Как мне не терпится тебя увидеть! Я не зайду к тебе — к вам домой, — раз ты этого не хочешь, хотя, откровенно говоря, не понимаю всех этих предосторожностей, но ты ведь умнее и, значит, ты прав...

И еще одно: никогда не говори о деньгах! Я ненавижу деньги — и слово «деньги», и самые деньги. Пусть я не богат, но у меня достанет средств угостить друга, и нет для меня большей радости, чем отдать ему все, что имею. Разве ты не поступил бы так же? И если бы я нуждался, разве ты не отдал бы мне свое состояние? Но этого никогда не будет! У меня крепкие руки и хорошая голова, я всегда сумею заработать себе на хлеб. До воскресенья! Боже мой! Целую неделю не видеть тебя! А ведь еще два дня назад я тебя не знал. Как я мог жить так долго без тебя?

Наш дирижеришка окрысился было на меня, но не огорчайся — бери пример с меня. Что мне другие? Мне глубоко безразлично, что думают и что будут думать обо мне. Только один ты мне важен. Люби меня крепко, друг мой, люби меня, как я тебя люблю! Не могу даже выразить, как я тебя люблю! Я твой, твой, целиком твой, от кончика ногтей до кончика волос.

Вечно твой Кристоф».

За неделю Кристоф чуть не извелся от ожидания. Куда бы он ни направлялся, он сворачивал с пути и делал огромный крюк, лишь бы пройти мимо дома Отто, — он даже не надеялся встретить своего друга, но при одном виде их дома бледнел и краснел от волнения. В четверг он не выдержал и направил второе послание, еще более восторженное, чем первое. Отто ответил ему весьма чувствительным письмом.

Наконец-то пришло воскресенье, и аккуратный Отто явился на свидание минута в минуту. Но Кристоф уже больше часа поджидал его на бульваре, сгорая от нетерпения. Он упрекал себя, что проглядел Отто. Боялся, что Отто заболел, ибо ни на минуту не допускал мысли, что его друг не сдержит слово. Он твердил про себя: «Господи, сделай,

чтобы он пришел!» И палочкой подгонял камешки, валявшиеся на песке, решив, что, если трижды промахнется, Отто не придет, а если ударит точно, Отто сейчас же появится. И несмотря на то, что испытание Кристоф поставил себе весьма несложное и за выполнение задачи взялся со всем пылом, он трижды промахнулся и как раз после третьего неудачного удара увидел Отто, который направлялся к нему своей спокойной, размеренной походкой, ибо Отто никогда не нарушал приличий, даже когда был чем-нибудь взволнован. Кристоф бросился к нему навстречу и пробормотал вдруг пересохшими губами:

— Добрый день.

Отто ответил:

— Добрый день.

Больше они не знали, что сказать; впрочем, поговорили о погоде, о том, сейчас пять или шесть минут одиннадцатого, а может быть, и десять часов, так как часы на башне вечно отстают.

Друзья направились на вокзал и по железной дороге добрались до ближайшей станции, куда обычно ездили на воскресные прогулки горожане. За все это время оба с трудом выдавили из себя десяток слов. Неловкое молчание они старались возместить красноречивыми взглядами, но с тем же успехом. Напрасно надеялись они выразить взорами всю глубину своей дружбы — глаза ровно ничего не выражали; оба поняли, что играют комедию. Кристоф почувствовал себя униженным. Он не понимал, почему не только не может выразить словами, но даже ощутить те чувства, что еще час назад переполняли его сердце. Может быть, Отто не так ясно отдавал себе отчет в этой незадаче, потому что был менее искренним и заглядывал себе в душу лишь весьма почтительно, но и он в конце

концов почувствовал разочарование. А дело заключалось в том, что за семь дней разлуки мальчики довели свои чувства до того накала, что теперь немыслимо было удержаться на этом уровне, и при встрече первым ощущением явилось разочарование; следовало бы снизить тон, но оба не желали этого.

Целый день мальчики пробродили по лугам, однако им так и не удалось избавиться от давящего чувства уныния и неловкости. День был праздничный. Все харчевни и рощицы заполнили гуляющие — добропорядочные буржуа со своими чадами и домочадцами, — все это шумело и закусывало под каждым кустом. Настроение мальчиков от этого не улучшилось: оба считали, что из-за этих людишек они не могут обрести великолепной легкости прошлой прогулки. Тем не менее они разговаривали, но с каким трудом подыскивали темы для беседы, и каждый боялся, как бы другой не заметил, что, в сущности, говорить-то не о чем! Отто делился с приятелем школьной премудростью. Кристоф пустился в длиннейшие объяснения насчет техники скрипичной игры и музыки вообще. Они навели друг на друга смертельную тоску. И все-таки они говорили, боясь замолчать, ибо в минуту молчания открывалась бездна, откуда веяло холодом, леденившим обоих. Отто хотелось плакать, а Кристоф еле удерживался от желания бросить товарища и убежать куда глаза глядят — так ему было стыдно и скучно.

Только за час до возвращения домой мальчики немного повеселели. Где-то в самой чаще леса залаяла собака; она, очевидно, по собственному почину гнала зайца. Кристоф предложил спрятаться поблизости, чтобы увидеть зайца. Мальчики бросились в кусты. Собачий лай то удалялся, то приближался. Кристоф и Отто, следуя за ним, сворачивали то направо, то налево, то пробирались

вперед, то возвращались обратно. Вдруг лай стал громче; пес надрывался от нетерпения, предвкушая кровавый пир, и, наконец, выскочил прямо на друзей. Кристоф и Отто, лежа прямо на сухих листьях в канаве близ тропинки, ждали, затаив дыхание. Вдруг лай замолк; собака, видимо, потеряв след, тявкнула еще раз уже вдали. Все стихло. Воцарившуюся тишину нарушало лишь таинственное кишение миллиардов существ — насекомых и червей, которые без устали подтачивали и губили лес, — размеренный, безостановочный шорох смерти. И как раз в ту минуту, когда оба поднялись со вздохом: «Ясно, теперь уж он не появится», — из чащи выскочил зайчишка; он бежал прямо на мальчиков — они увидели его одновременно и испустили торжествующий вопль. Зайчик подпрыгнул на месте, затем одним скачком перемахнул через дорожку; они увидели, как он поскакал в кусты, подымая выше головы тяжелый зад; задетая его бегом листва коротко прошуршала и улеглась, словно рябь на поверхности воды. И хотя друзья сожалели о своем крике, приключение это развеселило их. Они смеялись до упаду, вспоминая испуганные скачки косого, и Кристоф смешно изобразил убегающего зайца. Отто тоже изобразил зайца. Потом Кристоф — уже в роли собаки — погнался за зайцем Отто. Они неслись по лугу и лесу, продираясь сквозь живые изгороди и перепрыгивая через канавы. Какой-то крестьянин чертыхнулся им вслед, так как они выскочили на поле, засеянное ячменем, но мальчики даже не оглянулись. Кристоф подражал хриплому лаю пса с таким мастерством, что Отто хохотал до слез. Под конец они скатились вниз по крутому склону холма, испуская дикие крики. Совсем задохшись, они не могли произнести ни слова, уселись и поглядели друг на друга смеющимися

12 Заказ 773

глазами. Теперь мальчики были по-настоящему счастливы и довольны. Они уже не пытались разыгрывать из себя гомеровских друзей; они были тем, чем были: двумя детьми.

Обратно они возвращались под руку, громко распевая какие-то бессмысленные песенки. Однако, не доходя до станции, они почему-то возобновили прежнюю игру — и вот на коре дуба, стоявшего на самой опушке, появились два хитро переплетенных вензеля. Но в вагоне веселье взяло верх над чувствительностью, и, случайно встретившись глазами, они начинали громко хохотать. При расставаньи они искренне старались уверить друг друга, что провели колоссальный уикенд — «колоссально восхитительный день», — а разойдясь по домам, окончательно уверились в этом.

И снова мальчики взялись возводить здание своей дружбы с изобретательностью и терпением пчел; из двух-трех обрывков весьма прозаических воспоминаний каждому удавалось создать чудесный образ друг друга и дружбы. Целую неделю они идеализировали один другого, а затем наступала воскресная встреча, и, как ни велик был разрыв между действительностью и фантазией, они привыкли не замечать этого.

Они гордились своей дружбой. Даже разность характеров сближала их. Кристоф не знал никого прекраснее Отто. Все восхищало его в друге — тонкие руки, красивые волосы, свежий цвет лица, сдержанная речь, вежливые манеры и тщательная забота о своей внешности. Отто покоряла неукротимая сила и независимый нрав Кристофа. Отто вырос в среде, где столетиями питали чисто религиозное благоговение перед любыми авторитетами, и теперь с наслаждением, к которому примешивался страх, дружил с мальчиком, не имевшим от природы

ни малейшего уважения к установленным правилам. С легкой, почти сладострастной дрожью ужаса слушал Отто, как Кристоф ниспровергает авторитеты в их городе и дерзко передразнивает даже самого герцога. Кристоф подметил, какое завораживающее действие оказывают на Отто его речи, и старался поразить друга: перед Отто был опасный революционер, подкапывавшийся под самые основы и законы государства. Отто слушал, ликуя и возмущаясь, пытался даже вторить другу, но, прежде чем произнести крамольное слово, долго оглядывался по сторонам, боясь, что его услышат.

Всякий раз, когда во время воскресной прогулки Кристоф замечал огороженное поле или надпись на воротах, запрещающую вход посторонним, он непременно перепрыгивал через забор или, взобравшись на стену, рвал фрукты в чужих садах. Отто в страхе молил бога, чтобы их не поймали. Но эти набеги были для него источником самых утонченных наслаждений, и вечером, уже возвратясь домой, он с уважением думал о себе как о настоящем герое. Он восхищался Кристофом и в то же время побаивался его. По врожденной склонности к послушанию он легко находил удовлетворение в дружбе, требовавшей подчинения воле другого. Кристоф один, не затрудняя Отто, принимал все решения: он предписывал распорядок дня, предписывал даже распорядок жизни, строил насчет будущего Отто, как и своего собственного, различные планы, не подлежащие обсуждению. Отто соглашался, хотя иногда его слегка коробила бесцеремонность, с какой Кристоф распоряжался его капиталами, решив выстроить со временем театр по своему замыслу. Возражать Отто не смел, робея перед повелительным тоном друга, и верил, что деньгам, накопленным коммерции советником Оскаром Динером, нельзя найти лучшего

применения. Ни на одну минуту Кристоф не подозревал, что совершает насилие над волей друга. Он был прирожденный деспот и даже не мог представить, что у Отто были иные желания, чем у него. Если бы Отто высказал желание, противоположное желаниям Кристофа, Кристоф, не колеблясь, поступился бы своими личными вкусами. Он пожертвовал бы ради Отто всем на свете. Он жаждал, чтобы представился наконец случай испытать силу его дружбы. Во время прогулок он ждал какой-нибудь опасной встречи, чтобы броситься вперед и прикрыть собой Отто. Он с наслаждением принял бы смерть ради друга. Но подходящих случаев не представлялось, и Кристоф мог только опекать своего Отто и тревожиться о нем; подавал ему, как девочке, руку на плохой дороге, боялся, как бы Отто не устал, боялся, как бы Отто не было слишком жарко, боялся, как бы Отто не замерз; когда они садились отдохнуть под деревом, Кристоф накидывал свой пиджак на плечи Отто; когда они предпринимали длинные прогулки, Кристоф тащил пальто Отто, — он охотно понес бы и его самого. Он не сводил с Отто глаз, точно влюбленный. И, по правде говоря, он и был влюбленный.

Кристоф не мог знать этого, так как не знал, что такое любовь. Но временами, когда мальчики оставались одни, Кристофа охватывало странное волнение — как в их первую встречу в сосновом лесу: кровь приливала к щекам Кристофа, он густо краснел. Он боялся. Не сговариваясь, инстинктивно, мальчики сторонились друг друга: один убегал вперед, другой оставался на дороге, замедляя шаг, задерживался; оба притворялись, что ищут спелые ягоды ежевики, и оба не понимали, что так их волнует.

Но зато они давали волю своим чувствам в письмах. Тут уж ничто не стесняло, не вспугивало

этих чувств, и мальчики могли свободно предаваться своим иллюзиям. Они писали теперь друг другу три или четыре раза на неделе страстные лирические послания. Они почти не касались обыденной жизни. Они обсуждали только важные проблемы, и только в самом возвышенном тоне, легко переходя от самых светлых восторгов к самой мрачной безнадежности. Они писали: «мое благо», «моя надежда», «мой любимый», «мое второе я». Они употребляли слово «душа» во всех падежах кстати и некстати. В самых черных красках живописали они горький свой удел и упрекали себя за то, что омрачает жизнь друга, соединив с его судьбой свою печальную судьбину.

«Я сержусь на тебя, любовь моя, — писал Кристоф, — сержусь за то зло, которое я же тебе причинил. Я не могу видеть твоих страданий, их не должно быть, я не желаю их (эти слова он подчеркнул такой жирной чертой, что бумага в нескольких местах прорвалась). Если ты страдаешь, где я найду силы, чтобы жить? Мое единственное счастье — это ты. О, будь же счастлив! С какой радостью я приму на себя любое горе! Думай обо мне. Люби меня! Мне так необходимо, чтобы кто-нибудь меня любил! От тебя исходит тепло, которое возвращает мне жизнь. Если бы ты знал, как мне холодно без тебя! Кругом зима, и сердце леденит злой ветер. Обнимаю твою душу».

«Моя мысль целует твою», — писал в ответ Отто.

«Я беру обеими руками твою голову, — не унимался Кристоф, — и то, чего никогда не делали и не сделают мои губы, делаю я сам, всем своим существом, — целую тебя, как люблю. Измерь же силу моей любви!»

Отто притворялся недоверчивым:

«Любишь ли ты меня, как я тебя люблю?»

«О, боже! — восклицал в ответном письме Кристоф. — Не так, а в десять, в сто, в тысячу раз сильнее! Да что там, разве ты сам этого не чувствуешь? Что я должен сделать, чтобы тронуть твое сердце?»

«О, как прекрасна наша дружба! — вздыхал в ответ Отто. — Знает ли история подобные примеры? Она сладостна и свежа, как мечта. Пусть она длится вечно. А вдруг ты разлюбишь меня?»

«Как ты глуп, мой любимый! — строчил Кристоф. — Прости, но твой малодушный страх возмущает меня. Как можешь ты спрашивать, перестану ли я тебя когда-нибудь любить? Жить для меня — это значит любить тебя. Сама смерть бессильна против моей любви. Даже ты, при всем желании, не мог бы разрушить ее. Если ты мне изменишь, если ты растопчешь мое сердце, я умру, благословляя любовь, которую ты мне внушил. Так перестань же раз навсегда сомневаться и не огорчай меня твоей трусливой болтовней».

Но через неделю Кристоф писал Отто:

«Вот уже целых три дня от тебя ни слова. Я трепещу: уж не забыл ли ты меня? Кровь стынет в жилах при этой мысли... Да! Сомнений быть не может... Уже прошлый раз я заметил твою холодность. Ты разлюбил меня! Ты решил меня покинуть! Так слушай же! Если ты забудешь меня, изменишь мне, я убью тебя, как собаку».

«Ты оскорбляешь меня, мое сердечко, — жалостливо возражал Отто. — Ты исторгаешь у меня слезы, ибо я не заслужил твоих упреков, но ты можешь позволить себе все. Ты приобрел надо мною такие права, что если даже разобьешь мое сердце, то, пока от него останется хоть тень, хоть отблеск, — оно будет вечно жить, дабы любить тебя!»

«Силы небесные! — восклицал на бумаге Кристоф. — Я заставил плакать своего друга! Проклинай

меня, бей меня! Топчи меня ногами! Я — подлец! Я не заслуживаю более твоей любви!»...

В один прекрасный день, возвращаясь с урока, Кристоф заметил в переулке Отто, который шел с каким-то мальчиком его лет. Оба смеялись и дружески болтали. Кристоф побледнел и молча следил за ними взглядом, пока те не скрылись за углом. Мальчики не заметили Кристофа. Он повернулся и побрел домой. Ему показалось, что туча закрыла солнце. Все кругом омрачилось.

Когда Кристоф и Отто встретились в следующее воскресенье, Кристоф сначала ни о чем не спросил. Но через полчаса сказал дрожащим голосом:

— А я тебя видел в среду.

— Вот как! — ответил Отто.

И покраснел.

Кристоф продолжал:

— Ты с кем-то шел по Крейцгассе.

— Да, — подтвердил Отто, — с одним мальчиком.

Кристоф судорожно проглотил слюну и спросил вымученно равнодушным тоном:

— А кто этот мальчик?

— Мой двоюродный брат Франц.

— Вот как! — буркнул Кристоф.

И через минуту снова начал:

— Ты мне о нем никогда не говорил.

— Он живет в Рейнбахе.

— А часто вы видитесь?

— Франц иногда к нам приезжает.

— Ты тоже к ним ездишь?

— Тоже иногда езжу.

— Вот как! — повторил Кристоф... минут через десять Кристоф без всякого перехода вдруг задал вопрос:

— А ты с ним дружишь?

— С кем? — спросил Отто.

(Он отлично знал с кем.)

— С твоим двоюродным братом.

— Да. А почему ты спрашиваешь?

— Нипочему...

— Он очень хороший.

— Кто? — спросил Кристоф.

(Он отлично знал кто.)

— Франц.

Отто ждал немедленного ответа, но Кристоф, казалось, даже не слышал его слов. Он с преувеличенным вниманием строгал ореховую палочку. Отто расхрабрился:

— Франц очень веселый. Он знает множество разных историй.

Кристоф пренебрежительно свистнул.

А Отто уже не мог остановиться:

— И такой умный... Воспитанный...

Кристоф пожал плечами, но его жест как бы говорил: мне-то какое дело до этого субъекта?

И так как Отто, уязвленный пренебрежением друга, начал было снова перечислять достоинства Франца, Кристоф резко оборвал его и предложил наперегонки добежать до дерева...

Наконец он не выдержал и, круто повернувшись к Отто, который плелся сзади, остановился, схватил его в порыве гнева за обе руки и выпалил одним духом:

— Послушай, Отто! Я не желаю, чтобы ты дружил с Францем, потому что... потому что ты мой друг; и я не желаю, чтобы ты любил кого-нибудь больше меня! Не желаю! Ведь ты для меня все на свете. Ты не смеешь... ты не должен... Если я лишусь тебя, я умру. Я бог знает что могу натворить. Я покончу с собой. — И слезы брызнули у него из глаз.

Отто, взволнованный и напуганный искренностью этого горя, чреватого угрозами, начал клясться, что не любит и никогда не полюбит никого сильней Кристофа, что на Франца ему наплевать, что, если Кристоф не хочет, он не будет больше видеться с Францем. Кристоф упивался словами Отто. Он воскрес душой и громко хохотал; жадно вдыхая свежий воздух, он горячо благодарил Отто. Мальчики смотрели друг другу в глаза, стоя лицом к лицу, держась за руки и не двигаясь с места; оба были слишком счастливы и слишком смущены. Они молча пошли домой и понемногу разговорились; утраченное веселье вернулось; никогда еще они не были так близки друг другу.

Но за этой сценой последовали другие... мальчики начали приедаться друг другу... Мальчики попытались еще несколько раз увидеться... Но прежняя непринужденность исчезла. Искренность отношений была испорчена. Оба подростка, которые до сих пор любили друг друга с какой-то боязливой нежностью, которые ни разу не осмелились даже обменяться братским поцелуем и для которых не было выше счастья, как видеть друг друга, делиться мечтами и мыслями, почувствовали, что их дружбу осквернили нечистыми подозрениями. Вскоре самый невинный жест, взгляд, пожатие руки начали казаться им чем-то дурным; они краснели, таили друг от друга нехорошие мысли. Встречи стали невыносимо тяжелыми...

Вскоре Отто уехал учиться в университет, и дружба, озарившая несколько недолгих месяцев их жизни, умерла.

Тогда-то Кристофом завладела новая любовь, простою провозвестницей которой была дружба с Отто, и в сердце его поблекли все иные источники света...

ЗИНОВЬЕВА-АННИБАЛ

Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал (1866—1907) — русская писательница. Родилась в дворянской семье. Жена поэта-символиста Вяч. Иванова. Хозяйка литературного салона 1900-х годов. Дебютировала драмой «Кольца» (1904). Писала стихи, пьесы, рассказы. Нашумевшая повесть «33 урода» написана в 1907 г.

ТРИДЦАТЬ ТРИ УРОДА

...3 декабря

Она удивительная актриса. Она такая, каких не было и не будет.

Я ее спросила, когда мы вчера вернулись из театра:

— Вера, ты счастлива?

Она вместо ответа усаживала меня на постель и расстегивала на мне платье. Потом:

— Твоя ванна готова. Идем. Я влила твой любимый крем.

— Вера, столько восторга, поклонения тебе. Им всем ты дала счастье. Сама ты счастлива?

— Я привыкла. Иди же, иди. Ванна стынет. Иди.

— Ты и ко мне привыкнешь?

— Нет, к тебе не могу.

Она целовала мне глаза и губы, и грудь, и гладила мое тело.

Да, у меня прекрасное тело! Значит, в этом мое счастье, потому что я — красота?

Не надо привыкать! Я не привыкну к своей красоте.

22 декабря

Не спала. Утром видела ее ноги. У Веры ноги прекраснее моих. Они прекраснее даже ее плеч божественных. Она спала. Я стала на колени у ее постели. Целовала их безмолвно.

Сердце умирало.

Вера проснулась. Глядела на меня, не отнимая свой теплый мрамор.

Вдруг, как в теплом вихре, я потерялась...

Мать, богиня, подруга!

Она все знает. И все становится прекрасным.

Все так.

Значит, это моя красота?

Плачу еще. Пишу и плачу.

Весь день лежала грудью в подушку.

Веры не было весь день. Ее где-то празднуют. Куда-то повезли.

Вдруг стало страшно.

Какая моя страшная судьба! Я верю в судьбу.

Вспоминала картину — копию с какой-то итальянской картины, кажется, св. Агата. Ей вырывают железом соски, и двое мучителей с таким любопытством одичалым заглядывают в глаза. А глаза Агаты блаженные, блаженные, блаженные.

Я часто молилась ей у бабушки, но с собой не взяла. Думала: у Веры все другое.

Теперь скучаю. Она бы утешила.

Мне стало страшно. От этого я села вот записывать. Так меня учила делать Вера, когда ее нет дома.

Когда она придет, я разую ее ноги, лягу на пол и такая вся истомленная я стану целовать ее ноги.

Не покажу ей этих записей... Вот, вот ее звонок.

СТ. ГЕОРГЕ

Стефан Георге (1868—1933) — немецкий поэт, видный представитель символизма. В ранних стихах воспевал мир чистой красоты, затем под влиянием ницшеанства — «тайны» природы и исключительных героев. Расширил изобразительные и музыкально-фонетические возможности немецкого стиха.

* * *

О, больше не могу я длить прощанье
И в сад смотреть, к решетке прислонясь.
Я слышу дальней флейты тоскованье,
Из кущи лавров смотрит фавн, смеясь.

У красной башни я тебя встречаю...
Ты никогда не замедляешь шаг,
Не знаешь ты, как я благословляю
Тот час, и как он дорог мне и благ.

Не знаешь ты, что крою поневоле
Дары любви, мой тайный властелин, —
Дары пьянее белых чаш магнолий,
И трепет ласк, манящих как жасмин.

О, больше не могу я длить прощанье
И в сад смотреть, к решетке прислонясь.
Я слышу дальней флейты тоскованье;
Из кущи лавров смотрит фавн, смеясь.

ЖИД

Андре Жид (1869—1951) — классик французской литературы XX в., лауреат Нобелевской премии (1947). В своих произведениях искал ответы на вопросы о смысле бытия, о человеке, его природе и судьбе. Выступая против «ангажированного» творчества, стремящегося упорядочить мир, Андре Жид считал, что «художник обязан приводить в порядок собственное творчество». Он автор романов «Болото» (1895), «Имморалист» (в русском переводе «Безнравственный») (1902), «Подземелья Ватикана» (1914), остропсихологического «Дневника» (1898—1949), публицистической книги «Возвращение из СССР» (1936). Самым значительным произведением писателя является роман «Фальшивомонетчики» (1921), в центре которого стоит проблема подлинности человека, его отношение к жизни, людям, самому себе и собственным чувствам.

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ

IX

Мы не сожалели бы ни о чем, что произойдет впоследствии, если бы радость встречи была выражена Эдуардом и Оливье более явно; но их парализовала присущая обоим какая-то неспособность верно оценивать то место, которое каждый из них занимал в сердце и уме другого; поэтому каждый думал, что взволнован лишь он один; поглощенные собственной радостью и как бы смущенные ее огромностью, оба они заботились лишь о том, чтобы не слишком явно ее обнаружить.

И вот вместо того чтобы сказать Эдуарду, как он рвался его встречать, Оливье счел более приличным сослаться на какое-то поручение, которое

ему нужно было исполнить сегодня утром как раз в этом квартале, — он словно извинялся за свой приход на вокзал. Душа крайне застенчивая и недоверчивая, он легко мог убедить себя, что, вероятно, Эдуард считает его присутствие назойливым. Едва только он солгал, как весь зарделся. Эдуард был удивлен этим румянцем; так как перед этим он схватил Оливье за руку и порывисто сжал ее, то ему показалось — тоже вследствие сомнения в чувствах Оливье к нему, — что именно это церемонное пожатие заставило племянника покраснеть.

Его первыми словами были:

— Я никак не мог предположить, что ты будешь на вокзале, но в глубине души был уверен, что ты придешь.

Ему вдруг показалось, что Оливье мог усмотреть в этой фразе самонадеянность. Услышав, как тот отвечает ему небрежным тоном: «Мне как раз нужно было исполнить поручение в этом квартале», — Эдуард выпустил руку Оливье, и его радостное возбуждение спало. Он хотел бы спросить Оливье, понял ли тот, что открытка, адресованная его родителям, предназначалась именно ему; уже раскрыл было рот, но вдруг оробел. Оливье, боясь наскучить Эдуарду или вызвать его неодобрение разговором о себе, замолчал. Он удивленно посмотрел на Эдуарда, отчего это дрожат его губы, потом вдруг опустил глаза. Эдуард и желал этого взгляда, и страшился, что Оливье сочтет его слишком старым. Он стал нервно крутить пальцами клочок бумаги. Это была квитанция, которую ему только что дали в камере хранения, но он не обращал на нее никакого внимания.

«Если бы это была его багажная квитанция, — подумал Оливье, видя, как тот комкает ее, а затем небрежно бросает, — он не выбросил бы ее просто

так». И он обернулся лишь на мгновенье, успев только заметить, что ветер унес далеко от них скомканную бумажку. Если бы он смотрел подольше, то увидел бы, как ее подобрал какой-то молодой человек. Это был Бернар, который следил, как они выходили из вокзала... Между тем Оливье сокрушался, что ему нечего сказать Эдуарду, и молчание становилось для него невыносимым.

«Когда мы будем подходить к лицею Кондорсе, — повторил он про себя, — я скажу ему: «Теперь мне пора, до свидания». Потом, перед лицеем, он решил пройти еще до угла улицы Прованс. Но Эдуард, которого это молчание тоже угнетало, не мог допустить, чтобы они расстались таким образом. Он затащил своего спутника в кафе. Может быть, поданный им портвейн поможет преодолеть смущение.

Они чокнулись.

— За твои успехи, — сказал Эдуард, поднимая бокал. — Когда экзамен?

— Через десять дней.

— Как ты чувствуешь, готов?

Оливье пожал плечами:

— Никогда точно не знаешь. Стоит быть не в форме в этот день, и...

У него не хватило смелости ответить «да» из боязни выказать самонадеянность. Его смущали также желание и в то же время боязнь сказать «ты» Эдуарду; он ограничился таким построением фразы, при котором было бы, по крайней мере, исключено «вы» и поэтому не давал также Эдуарду повода говорить ему «ты», чего очень желал; между тем — он хорошо помнил — ему удалось добиться этого за несколько дней до его отъезда.

— Ты хорошо поработал?

— Неплохо. Но не так хорошо, как мог бы.

— У настоящих тружеников всегда такое чувство, что они могли бы работать лучше, — наставительно сказал Эдуард.

Сказал и тут же невольно нашел эту фразу смешной.

— Стихи пишешь?

— Иногда... Я очень нуждаюсь в советах. — Он поднял глаза на Эдуарда; «ваших советах», хотел он сказать, «в твоих советах». И взгляд говорил это без слов так внятно, что Эдуарду показалось, будто Оливье говорит так из уваженья или из вежливости. Но зачем Эдуарду понадобилось ему ответить, притом с такой поспешностью:

— О! Нужно самому уметь давать себе советы или спрашивать их у своих товарищей; советы старших ничего не стоят.

Оливье подумал: «Я, однако, не спрашивал у него этих советов; почему же он со мной не согласен?»

Оба досадовали, что им удается выжимать из себя одни только сухие, вымученные фразы. Чувствуя смущение и неловкость, каждый считал себя предметом и причиной этого смущения. Такие разговоры не могут дать ничего, если не приходит помощь со стороны.

Сегодня Оливье встал не с той ноги. Радость встречи с Эдуардом на мгновение заглушила то огорчение, которое он испытал, проснувшись и увидев, что Бернара нет рядом, что он позволил ему уйти не простившись, но теперь оно снова поднималось в его груди, как темная волна, и затопляло все его мысли. Ему хотелось заговорить о Бернаре, рассказать Эдуарду все и постараться заинтересовать его личностью друга.

Но малейшая улыбка Эдуарда оскорбила бы его, а слова Оливье выдали бы страстные и бурные

чувства, волновавшие его, или могли бы показаться преувеличенными. Он замолчал и почувствовал, что лицо его каменеет; он хотел бы броситься в объятия Эдуарда и зарыдать. Эдуард ошибочно истолковал молчание Оливье, выражение его нахмуренного лица; он слишком сильно любил его, чтобы быть непринужденным. Если бы он решился взглянуть на Оливье, ему тотчас бы захотелось сжать его в объятиях и убаюкать, как ребенка; но, встретив его угрюмый взгляд, он подумал: «Да, это верно... Ему скучно со мной, я ему в тягость, я смущаю его. Бедный мальчик. Он ждет не дождется, когда я позволю ему уйти». И какая-то неведомая сила заставила Эдуарда сказать из жалости к своему спутнику:

— Теперь мы должны расстаться. Уверен, что тебя дома ждут к завтраку.

Оливье, который подумал то же самое, в свою очередь, неверно истолковал чувства Эдуарда. Он поспешно встал, протянул руку. Ему хотелось, по крайней мере, сказать Эдуарду: «Когда я увижусь с тобой? Когда увижусь с вами? Когда мы увидимся?...» Эдуард жаждал этой фразы. Но не услышал ничего, кроме банального: «До свидания»...

XVIII

ДНЕВНИК ЭДУАРДА

2 часа

Потерять чемодан. Вот так история! Из всего его содержимого я дорожил только своим дневником. Но я слишком дорожил им. В сущности, меня сильно забавляет это приключение. Все же я желал бы снова стать обладателем моих бумаг. Кто их прочтет?.. Может быть, я преувеличиваю их важ-

13 Заказ 773

ность после того, как их потерял. Этот дневник прерывается в момент моего отъезда в Англию... Там я вел записи в другой тетради; теперь, вернувшись во Францию, я оставляю ее. Новая, в которой я пишу это, еще не скоро покинет мой карман. Это — зеркало, которое я всегда ношу с собой. Все, что со мной происходит, приобретает для меня реальное существование лишь тогда, когда я вижу его отражение в этом зеркале. Но после возвращения я, похоже, нахожусь в каком-то сне. Как тягостен был этот разговор с Оливье! А я надеялся, что он принесет мне столько радости... О, если бы он остался так же мало удовлетворенным, как и я; так же мало удовлетворенным и собой, и мной. Я не сумел ни сам вести разговор, увы! ни заставить его говорить. Ах, как трудно произнести самое незначительное слово, когда оно требует полного одобрения другого существа! Достаточно замешкаться сердцу, и оно отягчает и парализует мозг.

7 часов

Мой чемодан найден; или, по крайней мере, нашелся его похититель. Он является самым близким другом Оливье — вот что заплетает между нами своего рода сеть, и дело только за мной затянуть потуже петли. Худо то, что всякое неожиданное событие до такой степени забавляет меня, что я теряю из виду цель, к которой стремлюсь...

ПИСЬМО БЕРНАРА К ОЛИВЬЕ

Понедельник

«Дружище!

Позволь прежде всего сообщить тебе, что я провалил выпускные экзамены. Ты, конечно, и сам

поймешь это, когда не увидишь меня на них. Я буду держать их в октябре. Мне представился исключительный случай отправиться в путешествие. Я ухватился за него и не раскаиваюсь. Нужно было принять решение мгновенно. У меня не было времени подумать и даже попрощаться с тобой. По этому поводу мне поручено моим спутником по путешествию выразить тебе всяческие сожаления, что и он уехал, не повидавшись с тобою. Ведь ты знаешь, кто меня увез? Или догадываешься... Эдуард, твой знаменитый дядя, которого я встретил в день его приезда в Париж, при обстоятельствах весьма необычных и пикантных, о которых расскажу тебе потом. Но все необыкновенно в этом приключении, и, когда я мысленно возвращаюсь к нему, голова у меня идет кругом. Еще сегодня я не смею верить, что это правда, что я пишу тебе эти строки, находясь в Швейцарии с Эдуардом и...

Но непременно нужно рассказать тебе все: только ты, пожалуйста, разорви мое письмо и никому ничего не рассказывай.

...женщина, покинутая твоим братом Винцентом... достойная женщина. Положительно превосходным человеком является и Эдуард. ...он предложил взять ее с собой в Швейцарию; одновременно он предложил мне сопровождать их, потому что для него было стеснительно путешествие наедине с ней, поскольку он питает к ней лишь братские чувства. Итак, мы отправились втроем...

Когда... мы прибыли наконец в Саас-Фе (мы наняли для Лауры портшез, потому что экипажи не могут сюда добираться), то оказалось, что в гостинице нам могут быть предоставлены всего две комнаты — большая, с двумя кроватями, и маленькая, которую, по мнению хозяина гостиницы, удобно

было бы взять мне, — потому что для сокрытия своей фамилии Лаура выдает себя за жену Эдуарда; но каждую ночь она отправляется в маленькую комнату, а я иду к Эдуарду. Каждое утро все перетаскивается, чтобы запутать прислугу. К счастью, комнаты смежные, что упрощает дело.

Вот уже шесть дней, как мы здесь; я не писал тебе раньше, потому что первое время был совсем выбит из колеи и мне понадобилось несколько дней на приведение в порядок моих мыслей и чувств. Только сейчас я начинаю приходить в себя.

Я уже совершил с Эдуардом несколько маленьких путешествий в горы; весьма занятно; но, по правде говоря, окружающая местность мне не особенно нравится; Эдуарду тоже. Он находит, что пейзаж «выспренный». Сказано верно...

Разговоры с Эдуардом ужасно интересны. Он редко беседует непосредственно со мной, хотя делает вид, будто считает меня своим секретарем; но я слушаю, как он говорит с другими, в особенности с Лаурой, которой он любит рассказывать о своих замыслах. Ты не можешь себе представить, какую пользу мне это приносит. В иные дни я говорю себе, что мне следовало бы делать записи; но я уверен, что все запоминаю. В иные дни я страстно желаю видеть тебя; я говорю себе, что именно тебе следовало бы находиться здесь; но я не в силах ни сожалеть о том, что приключилось со мною, ни желать какого-либо изменения в моем положении. Будь уверен, я не забываю, что лишь благодаря тебе познакомился с Эдуардом и обязан моим счастьем. Когда ты снова увидишь меня, то, я убежден, найдешь меня изменившимся; но больше, чем когда-либо, я остаюсь твоим преданным другом.

Среда

P.S. Только что мы возвратились из одной дальней экскурсии. Восхождение на Алален — проводники в одной связке с нами, ледники, пропасти, снежные лавины и т. д. Ночевали в палатке среди снегов, сбившись в кучу с другими туристами: нечего и говорить, что всю ночь мы не сомкнули глаз. На другой день отправились в путь до рассвета... Знаешь, старина, не стану больше пренебрежительно отзываться о Швейцарии: когда побываешь на вершинах гор, оставив внизу всякую культуру, растительность, все, что напоминает о людской жадности и глупости, то появляется желание петь, смеяться, плакать, летать, смотреть только в небо или упасть на колени.

Целую тебя.

Бернар»

Бернар был слишком непосредствен, слишком естествен, слишком чист, он очень плохо знал Оливье, чтобы предвидеть бурю низких чувств, которую это письмо должно было поднять в груди последнего, душевное смятение, в котором перемешивались досада, отчаяние и бешенство. Оливье почувствовал себя вытесненным и из сердца Бернара, и из сердца Эдуарда. Дружба двух его друзей вытеснила его дружбу. Одна фраза из письма Бернара причиняла ему особенные страдания — фраза, которую Бернар никогда бы не написал, если бы предчувствовал все, что Оливье может в ней усмотреть. «В одной комнате», — повторял он, и отвратительная змея ревности зашевелилась в его душе. «Они спят в одной комнате!..» Каких только картин не способно нарисовать его воображение! Мозг его наполнился нечистыми видениями, которые он даже не пытался прогнать. Он не ревновал ни Эдуарда, ни Бернара, взятых порознь, — он ревновал их обоих. Он представлял их себе поочередно или одновременно и завидовал им обоим. Письмо было получено им в полдень. «Ах, вот как...» —

повторял он себе весь остаток дня. Ночью демоны посетили его...

ПИСЬМО ОЛИВЬЕ К БЕРНАРУ

«Дружище!

Прежде всего сообщаю тебе, что я успешно выдержал выпускной экзамен. Но это не столь важно. Мне представился исключительный случай отправиться в путешествие. Я все еще колебался, но после прочтения твоего письма разом решился. Сначала легкое сопротивление матери, но его быстро преодолел Винцент, который выказал ко мне предупредительность, какой я от него не ожидал...

Да будет тебе известно, что тебе пишет главный редактор нового журнала «Авангард». Поразмыслив немного, я решил взять на себя обязанности, которые, по мнению графа Робера де Пассавана, я достоин исполнять. Он является издателем журнала, но не слишком желает, чтобы об этом было известно, и на обложке будет значиться только моя фамилия. Выпуск нашего журнала приурочен к октябрю; постарайся прислать мне что-нибудь для первого номера; мне было бы неприятно, если бы твоя фамилия не красовалась рядом с моей в первом оглавлении...

Я пишу тебе из Виццавоне. Виццавоне — крохотная деревушка на склонах одной из самых высоких гор Корсики, запрятавшаяся в глухом лесу. Гостиница, где мы живем, расположена довольно далеко от деревни и служит туристам как бы отправным пунктом для экскурсий. Мы здесь всего несколько дней...

Пассаван восхитительный спутник: он совсем не чванится своим титулом, хочет, чтобы я называл его Робер, и выдумал для меня уменьшительное

имя Олив. Ну, разве не очаровательно? Он делает все, чтобы заставить меня забыть о своем возрасте, и, уверяю тебя, ему удается этого добиться... Пассаван так щедр, что хотел все предоставить в мое распоряжение, и мне постоянно приходилось его останавливать. Но он находил мои жалкие наряды ужасными: рубашки, галстуки, носки, все, что было у меня, ему не нравилось; он повторял, что, когда я буду жить с ним, ему будет неприятно видеть меня одетым не комильфо, иными словами: не так, как ему нравится... Он так остроумен. Я хочу дать тебе представление об этом: мы находились у Брентано, когда он отдал в починку свое вечное перо. За ним стоял огромный англичанин, который хотел подойти к прилавку вне очереди и, когда Робер довольно грубо его оттолкнул, стал ворчать, что-то по его адресу; Робер обернулся и очень спокойно сказал:

— Не утруждайте себя. Я по-английски не понимаю.

Англичанин, взбешенный, отвечал на чистейшем французском:

— Вам следовало бы знать английский, милостивый государь.

Тогда Робер с улыбкой и очень вежливо:

— Вы видите, что это совершенно ни к чему.

Англичанин кипел от негодования, но не нашелся, что ответить. Это было уморительно.

Другой раз мы были в «Олимпии». Во время антракта прогуливались по фойе, где бродило множество проституток. Две из них, с виду довольно невзрачные, пристали к нему:

— Не угостишь кружкой пива, милок?

Мы сели за стол.

— Человек! Пива для этих дам.

— А для господ?

— Для нас?.. О, мы возьмем шампанского, — проронил он небрежно. И заказал бутылку моэт, которую мы и выдули. Если бы ты видел рожи несчастных девок! Я думаю, он питает отвращение к проституткам. Он признался мне, что ни разу не был в публичном доме, и дал мне понять, что очень рассердился бы, если бы я туда пошел. Ты видишь таким образом, что это человек очень чистоплотный, несмотря на свой напускной цинизм и циничные суждения вроде того, что в дороге он называет «унылым днем», когда не встретит до ленча, по крайней мере, пяти женщин, коими хотел бы обладать. Доложу тебе в скобках, что я не возобновлял... ты понимаешь меня.

У него очень забавный и своеобразный способ морализировать. Он однажды обратился ко мне:

— Видишь ли, мой мальчик, самое важное в жизни — не поддаваться никаким увлечениям. Увлечешься одним, глядишь — уже другая вещь увлекла тебя, а потом перестаешь осознавать, куда идешь. Так, я знал одного молодого человека, очень порядочного, которому пришлось жениться на моей кухарке. Как-то ночью он случайно вошел к какому-то мелкому ювелиру. Убил его. Затем ограбил. И скрыл все это. Ты видишь, куда это ведет. Последний раз, когда я его видел, он уже стал лгуном. Прими к сведению.

И он всегда таков. Словом, я не скучаю. Мы отправились с намерением много работать, но до сих пор занимаемся только тем, что купаемся, жаримся на солнце и болтаем. У него необычайно оригинальные мнения и мысли о каждом предмете. Я всячески побуждаю его опубликовать недавно изложенные им мне совершенно новые теории о животных морских глубин и о том, что он называет «собственным светом» этих животных, позволяющим

им обходиться без солнечного света, который он уподобляет свету благодати и «откровению». Изложенные в нескольких словах, как у меня сейчас, эти теории не производят никакого впечатления, но, уверяю тебя, когда он их развивает, это интересно, как роман. Широкой публике неизвестно, что он большой эрудит в естественных науках; но он кокетничает тем, что скрывает свои познания. Он называет их своим тайным богатством. Он говорит, что только снобы тешатся, выставляя напоказ свои драгоценности, особенно когда те поддельные.

Он удивительно умеет пользоваться идеями, образами, людьми, вещами: иными словами, из всего извлекает выгоду. Он говорит, что сложное искусство жить заключается не столько в уменьи наслаждаться, сколько в уменьи извлекать из жизни пользу.

Я написал несколько стихотворений, но не настолько ими доволен, чтобы послать тебе.

До свидания, старина. До октября. Ты и меня найдешь изменившимся. С каждым днем я приобретаю все больше уверенности. Я был рад узнать, что ты в Швейцарии, но, видишь, у меня нет оснований завидовать тебе.

Оливье».

Бернар протянул это письмо Эдуарду, который прочел его, ничем не выдав тех чувств, которые оно у него вызвало. Все, что Оливье с таким удовольствием рассказывал о Робере, возмущало его и в конце концов наполнило ненавистью. В особенности его огорчило, что он не был даже упомянут в этом письме, что Оливье, казалось, совсем забыл его. Он тщетно старался разобрать тщательно зачеркнутые три строчки постскриптума: «Скажи дяде Э., что я постоянно думаю о нем; я

не могу простить ему, что он меня бросил, и храню в сердце жестокую обиду».

Это были единственные искренние строчки во всем этом хвастовском письме, продиктованные досадой. Оливье вымарал их.

Эдуард возвратил Бернару ужасное письмо, не сказав ни слова; Бернар молча взял его. Я сказал уже, что они мало разговаривали; какая-то странная, необъяснимая принужденность овладевала ими, едва они оставались одни...

КУЗМИН

Кузмин Михаил Алексеевич (1872—1936) — русский писатель, поэт и композитор. Родился в Ярославле. Учился в Санкт-Петербургской гимназии, а также в консерватории по классу композиции у Н. А. Римского-Корсакова. Литературный дебют Кузмина состоялся в 1905 г. Автор многих поэтических циклов (в том числе «Александрийские песни»), романов и повестей («Плавающие-путешествующие», «Тихий страж» и др.). Биографы полагают, что образ поэта и писателя Кузмина базируется на стилизации, «прекрасной ясности» (кларизме) и гомосексуализме. В 1906 г. он опубликовал роман «Крылья», который современники воспринимали как опыт гомосексуального воспитания. Тема мужской любви разрабатывалась Кузминым и в таких его стихотворных циклах, как «Сети», «Осенние озера», «Занавешенные картинки».

ИЗ КНИГИ «СЕТИ»

П. К. Маслову

Где слог найду, чтоб описать прогулку,
Шабли во льду, поджаренную булку
И вишен спелых сладостный агат?
Далек закат, и в море слышен гулко
Плеск тел, чей жар прохладе влаги рад,
Твой нежный взор, лукавый и манящий, —
Как милый вздор комедии звенящей
Иль Мариво капризное перо.
Твой нос Пьеро и губ разрез пьянящий
Мне кружит ум, как «Свадьба Фигаро».
Дух мелочей, прелестных и воздушных,
Любви ночей, то нежащих, то душных,
Веселой легкости бездумного житья!
Ах, верен я, далек чудес послушных,
Твоим цветам, веселая земля!

ИЗ КНИГИ «ОСЕННИЕ ОЗЕРА»

* * *

С чего начать? Толпою торопливой
К моей душе, так долго молчаливой,
Бегут стихи, как стадо резвых коз.
Опять плету венок любовных роз
Рукою верною и терпеливой.
Я не хвастун, но не скопец сонливый,
И не боюсь обманчивых заноз;
Спрошу открыто, без манерных поз:
«С чего начать?»
Так я метался в жизни суетливой, —
Явились Вы — и я с мольбой стыдливой
Смотрю на стан, стройней озерных лоз,
И вижу ясно, как смешон вопрос.
Теперь я знаю, гордый и счастливый,
С чего начать.

* * *

Не мальчик я, мне не опасны
Любви безбрежные моря.
Все силы чувства — мне подвластны,
Яснеет цель, звездой горя.
Надежен парус, крепки снасти,
А кормщик — опытен и смел,
И не в моей ли ныне власти
Достичь всего, что я хотел?
Зачем же в пору грозовую
Я выпускаю руль из рук?
И сомневаюсь и тоскую,
В словах ища пустых порук?
Зачем обманчивая лупа
Показывает бурей гладь?

Зачем так медленно и скупо
Вы принуждаете желать?
Зачем пловцы не позабыли
Приюта прежних берегов?
Зачем мечтаю я «не Вы ли»?
Случайно слыша шум шагов?
Зачем от зависти немею,
Когда с другими вижу вас,
Но вот одни, — взглянуть не смею,
В молчаньи протекает час.
И, вспоминая все приметы,
Вскипаю снова, как в огне,
Былая мудрость, где ты, где ты?
Напрасно ли дана ты мне?
Ты, кормщик опытный, в уме ли?
Волненью предан и тоске,
Гадаешь омуты и мели
Проплыть, как мальчик, на доске!

* * *

Нет, не зови, не пой, не улыбайся,
Прелестный призрак новых дней!
Кипящий юноша, стремись и ошибайся,
Но я, не стал ли холодней!
Чем дале, тем быстрей сменяются виденья,
И жизни быстрый круг — так мал.
Кто знал погони пыл, полеты и паденья,
Лишь призрак, призрак обнимал.
О юность красная, смела твоя беспечность,
Но память зеркала хранит,
И в них увидишь ты минутной, хрупкой вечность
И размагниченный магнит.
Что для тебя найду? Скажи, какой отплатой
Отвечу я на зов небес?
Но так пленителен твой глаз зеленоватый

И клоуна нос и губ разрез!
Так хочется обнять и нежно прикоснуться
Бровей и щек, ресниц и век!
Я спал до этих пор; пора, пора проснуться:
Все — мимолетность, это — век.
Слепая память, прочь, прочь зеркала обмана!
Я знаю — призрак тот — живой: —
Я вижу в первый раз, горит впервые рана.
Зови меня, зови! я твой!

* * *

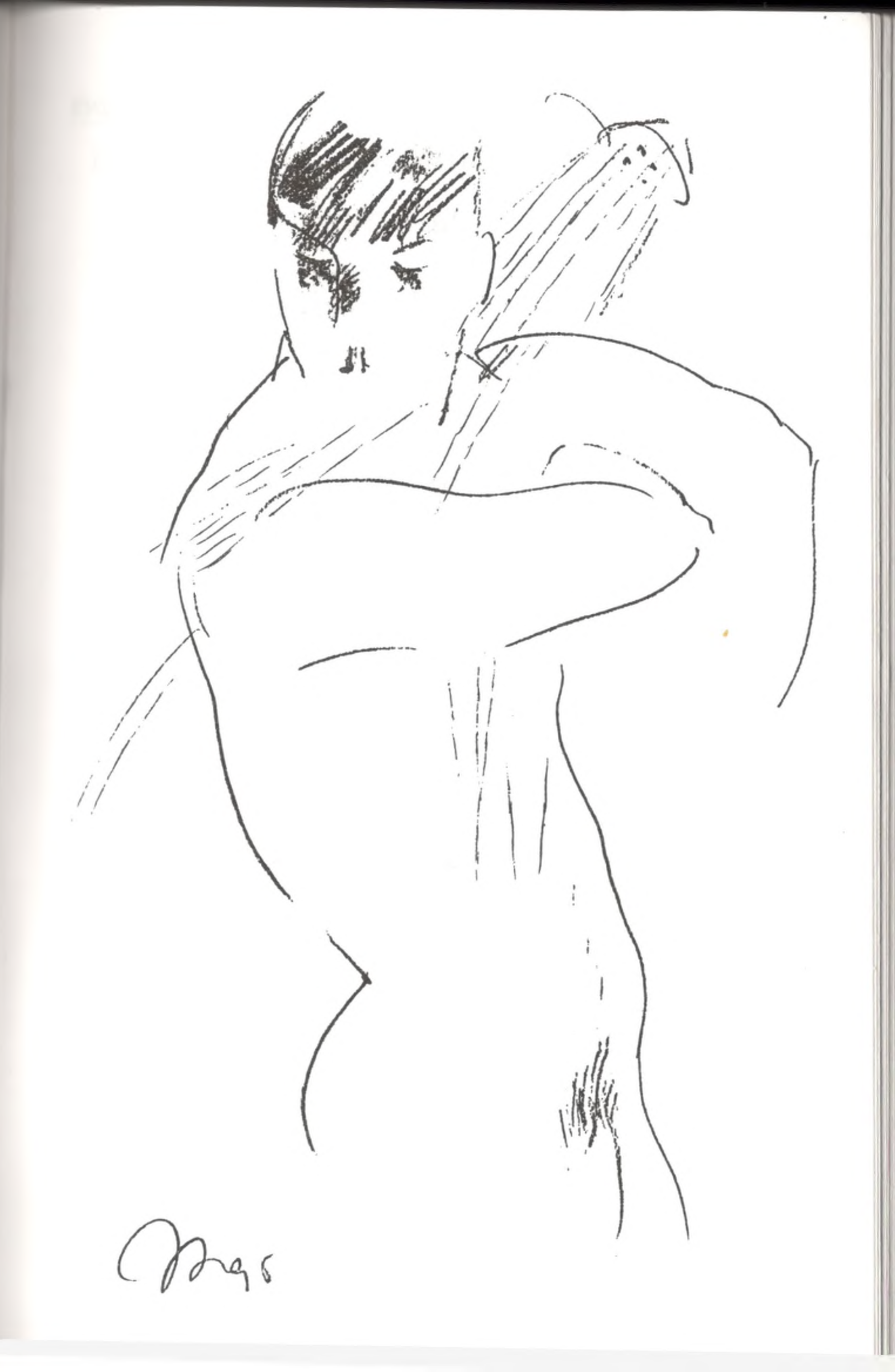
Ты именем монашеским овеян,
Недаром гордым вырос, прям и дик.
Но кем дух нежности в тебе посеян,
Струею щедрой брызжущий родник?
Ты в горести главою не поник:
Глаза блеснут сквозь темные ресницы...
Опять погаснут... и на краткий миг
Мне грозный ангел в милом лике мнится.

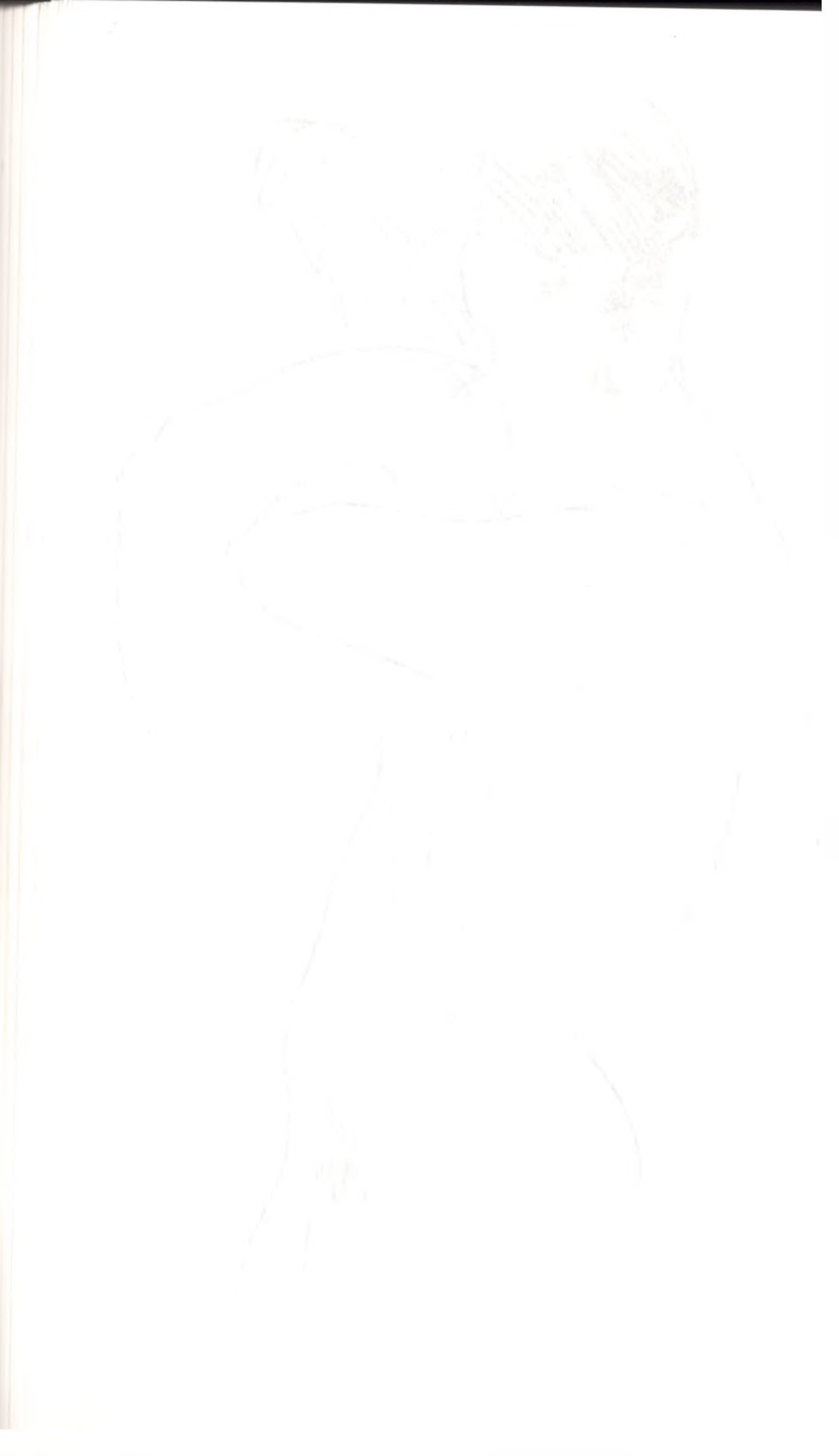
* * *

В тенистой роще безмятежно
Спал отрок милый и нагой;
Он улыбался слишком нежно,
О камень опершись ногой.

Я на него смотрел прилежно
И думал: «Как любовь, ты мил!»
Он улыбался слишком нежно, —
Зачем его я разбудил?

Его рабом стать неизбежно
Мне рок прекрасный начертал;
Он улыбался слишком нежно, —
Я, взявши рабство, не роптал.





Из цикла «ЗАНАВЕШЕННЫЕ КАРТИНКИ»

КУПАНЬЕ

Ах, прелестны вы, малютки,
Как невинные зверьки!
Эти смехи, эти шутки
У проснувшейся реки!

Тут Адамы без штанишек,
Дальше Евы без кальсон,
И, глядя на шалунишек,
Погружаюсь в детский сон.

Розовеются, круглеют
Загорелые тела
И в беспечности алеют,
Словно роза их зажгла.

Спины, брызги, руки, ноги,
Пена, пятка, ухо, бровь...
Без желанья, без тревоги
Караулит вас любовь.

Надоумит иль отравит, —
А отрава так стара! —
Но без промаха направит
Руку, глаз эт сетера.

Улетает вся забота
И легко как никогда,
Занывает где-то, что-то,
И милее чехарда.

Чью-то шею, чью-то спину...
Что? лизать, царапать, бить?..
В середину, в середину
Все ловчишься угодить.

Подвернулся вниз Егорка,
В грудь уперся крепкий лоб,
И, расправя, смотришь зорко
В чей-то зад, как в телескоп.

Любопытно и ужасно
И сладело — озорно,
И желанно, и бесстрастно,
И грешно, и не грешно.

Вот команда: враз мочиться!
Все товарищи в кружок!
У кого сильней струится
И упруже хоботок.

Кувыркаться, плавать, драться,
Тискать, шлепаться, нырять,
Снова плавать, кувыркаться,
И опять, опять, опять!

Кто-то крикнет, кто-то ахнет,
Кто-то плещется рукой...
Небывало, странно пахнет,
Но не потом, не рекой.

Вейтесь, птички! Клейтесь, почки!
Синева, синей, синей!
Розовые ангелочки,
Будьте проще голубей!

Да, пока мон шер с мон шером
И с ма шерою ма шер,
Но не служит ли примером
Нам пленительный пример?

Вам, папаши и мамаши,
Надо быть настороже:
Ведь опасней игры наши
Всех куплетов Беранже.

АЛИ

Не так ложишься, мой Али,
Какие женские привычки!
Люблю лопаток миндали
Чрез бисерные перемычки,

Чтоб расширялася спина
В два полушария округлых,
Где дверь запретная видна
Пленительно в долинах смуглых...

Коралловый дрожит бугор,
Как ноздри скакуна степного,
И мой неутомимый взор
Не ищет зрелища иного.

О свет зари! О розы дух!
Звезда вечерних вожделений!
Как нежен юношеский пух
Там, на истоке разделений!

Когда б я смел, когда б я мог,
О враг, о шах мой, свиться в схватке
И сладко погрузить клинок
До самой, самой рукоятки!

Вонзить и долго так держать,
Сгорая страстью и отвагой,
Не вынимая, вновь вонзать
И истекать любовной влагой!

Разлился соловей вдали,
Порхают золотые птички!
Ложись спиною вверх, Али,
Отбросив женские привычки!

КЛАРНЕТИСТ

Я возьму почтовый лист,
Напишу письмо с ответом:
«Кларнетист мой, кларнетист,
Приходи ко мне с кларнетом.»

Чернобров ты и румян,
С поволокой томной око,
И, когда не очень пьян,
Разговорчив, как сорока.

Никого я не впущу,
Мой веселый, милый кролик.
Занавесочку спущу,
Передвину к печке столик.

Упоительный момент!
Не обмолвлюсь словом грубым...
Мил мне очень инструмент
С замечательным раструбом!

За кларнетом я слежу,
Чтобы слиться в каватине,
И рукою провожу
По открытой окарине.

ПРУСТ

Марсель Пруст (1871—1922) — французский писатель. Родился в семье врача. Учился в Сорбонне. В молодости вел отдел светской хроники в газете «Фигаро». Дебютировал сборником новелл «Утехи дня». Из-за болезни с 1906 г. вел затворнический образ жизни. В 1907 г. начал работу над циклом романа «В поисках утраченного времени», состоявшим из 7 романов. Основываясь на личных впечатлениях, Пруст стремился дать объяснение законам человеческой психики и интеллекта. Философско-эстетические взгляды писателя развивались под влиянием интуитивизма французского философа Анри Бергсона. Манера письма Пруста сближается с литературой «потока сознания».

СОДОМ И ГОМОРРА

(Из цикла «В поисках утраченного времени»)

Часть первая

У женщин будет Гоморра, а у мужчин — Содом.

Альфред де Виньи

Я уже упоминал, что в тот день (день приема у принцессы Германтской), задолго до моего посещения герцога и герцогини, о котором только что шла речь, я подкарауливал их и, стоя на страже, сделал открытие; касалось оно, собственно, де Шарлю, но оно было настолько важно само по себе, что до тех пор, пока у меня не появилась возможность рассказать о нем подробно и обстоятельно, я предпочитал не сообщать ничего. Я ушел, как уже было сказано, с чудного наблюдательного пункта, так удобно устроенного под самой крышей, откуда взгляд обнимал пологую возвышенность, по

которой можно было подняться до дома Брекиньи и которой, как это часто бывает в Италии, служила украшением веселая башенка сарая, принадлежащая маркизу де Фрекуру. Так как герцог с герцогиней должны были вернуться с минуты на минуту, то я подумал, что мне выгоднее стать на лестнице. Мне было жалковато моей вышки. Но в послеполуденное время особенно жалеть о ней не стоило, потому что теперь я уже не увидел бы с нее нарисованных человечков, в которых превращались на расстоянии лакеи из дома Брекиньи, с метелками в руках медленно взбиравшиеся на гору между широкими листами прозрачной слюды, причудливо выделявшимися на фоне красных отрогов. Не имея возможности производить геологическую разведку, я занялся ботаникой: на площадках лестницы я смотрел в окна на кустик и редкое растение, которые по распоряжению герцогини выносились во двор так же упорно, как упорно вывозят в свет женихов и невест, и спрашивал себя: не залетит ли по воле предустановленного случая нежданное насекомое и не навестит ли оно обездоленный, готовый отдаться пестик? Любопытство придало мне храбрости, и я постепенно добрался до окна на нижнем этаже, тоже распахнутого, но не вплотную прикрытого ставнями. Я слышал явственно голос собиравшегося уходить Жюпьена, который не мог меня видеть, потому что я притаился за ставнями, и вдруг я метнулся от окна в сторону, чтобы, медленно шедший по двору к маркизе де Вильпаризи, меня не заметил де Шарлю, располневший, седеющий, постаревший при дневном свете. Только по случаю того, что маркиза де Вильпаризи занемогла (ее доконала болезнь маркиза де Фьербуа, с которым он рассорился окончательно), де Шарлю — быть может,

первый раз в жизни — пришел навестить ее, да еще в такой ранний час. Особенность Германтов заключалась в том, что они не приноравливались к светскому образу жизни — они изменяли его соответственно своим привычкам (с их точки зрения, не светским, а следовательно, заслуживающим того, чтобы ради них пожертвовать светскостью): так, у виконтессы де Марсант не было определенного дня — она принимала своих приятельниц каждое утро, с десяти до двенадцати, а барон в это время читал, разыскивал старинные вещицы и т. д., а с визитами ходил между четырьмя и шестью. В шесть он ехал в Джокей-клуб или катался в Булонском лесу. Потом я отпрянул, чтобы меня не увидел Жюпьен; в это время он уходил на службу, а возвращался домой к вечеру, и то не всегда с тех пор, как его племянница вместе со своими ученицами уехала в деревню дошивать заказчице платья. После ухода Жюпьена я, полагая, что мне бояться больше некого, решил не двигаться с места, чтобы не пропустить, если бы это чудо все-таки совершилось, прилета, на который почти не было надежды (так много надлежало преодолеть препятствий, связанных с дальностью расстояния, столько тут было риска, опасностей), — прилета насекомого, посланного издалека к девственному цветку, истомившемуся от долгого ожидания. Я знал, что это ожидание было такое же деятельное, как у мужского цветка, тычинки которого самопроизвольным движением поворачивались так, чтобы насекомому было легче забраться в цветок; равным образом женский цветок, если насекомое прилетело, кокетливо изогнул бы свои столбики и, чтобы насекомое глубже в него проникло, проделал бы, подобно напускающей на себя святость, а на самом деле сладострастной девице, полпути навстречу ему. Законы растительного мира

подчиняются высшим законам. Для оплодотворени цветка необходим прилет насекомого, иными сло вами — занос семени с другого цветка необходи потому, что самооплодотворение, оплодотворени цветка самим собой, — подобно тому, как если б в пределах одной семьи родственники женились б только на родственницах, — привело бы к выро ждению и бесплодию, а от скрещивания, произво димого насекомыми, новые поколения этого вид обретают такую силу жизни, какой не отличалис старшие в их роде. Однако рост может оказатьс слишком бурным, вид может слишком широко рас пространиться: тогда, подобно тому, как антитокси предохраняет от заболевания, подобно тому, ка щитовидная железа не дает нам растолстеть, подобн тому как неудача карает нас за спесивость, уста лость — за наслаждение и подобно тому как сон во время которого мы отдыхаем, восстанавливае наши силы, совершающийся в исключительных слу чаях акт самооплодотворения в определенное врем делает поворот винта, тормозит, вводит цветок норму, от которой он слишком далеко отступил Мысли мои, которые я изложу потом, приняли особое направление, и я уже из хитроумия цвето выводил заключение, касавшееся той огромной роли какую играет подсознание в художественном твор честве, но тут я увидел, что от маркизы выходи де Шарлю. Он пробыл у ней несколько минут Быть может, он узнал от нее самой или от слуг что маркизе де Вильпаризи гораздо лучше или даж что она совсем оправилась от своего легкого недо могания. Полагая, вероятно, что его никто не видит де Шарлю полузакрыл от солнца глаза и ослабил напряжение лицевых мускулов, поборол возбужде ние, которое поддерживалось у него оживленно беседой и силой воли. Мраморная белизна заливал

его лицо; у него только нос был большой, а другие черты — тонкие, и все его черты сейчас были свободны от несвойственного им выражения, которое им придавал обычно властный его взгляд и от которого их лепка дурнела; — теперь это был — в чистом виде — один из Германтов, это была статуя Паламеда XV в усыпальнице комбрейской церкви. И все же черты рода у де Шарлю были более одухотворенными, а главное — более мягкими. Мне было жаль, что за частыми его вспышками, за безобразными его выходками, за его злоязычием, за его суровостью, обидчивостью и заносчивостью, за напускной грубостью не видны его благожелательность и доброта, которые так простодушно расцвели на его лице сейчас, когда он вышел от маркизы де Вильпаризи. Он щурился от солнца, и от этого казалось, что он улыбается; я обнаружил в его лице, которое показалось мне сейчас в спокойном и как бы естественном своем состоянии, что-то ласковое, беззащитное, и я невольно подумал, что де Шарлю очень рассердился бы, если бы заметил, что за ним наблюдают; глядя на этого человека, которому так хотелось слыть мужественным, который так кичился своей мужественностью, которому все люди до отвратительности казались женоподобными, я подумал: столько женственного промелькнуло сейчас в его чертах, в выражении его лица, в его улыбке — о женщине.

Я хотел опять от него спрятаться, но не успел, да в этом и не было необходимости. Что же я увидел! В этом самом дворе, где они, конечно, до сих пор ни разу не встретились (де Шарлю приходил к Германтам во второй половине дня, когда Жюпьен был еще на службе), барон, вдруг широко раскрыв глаза, которые он только что жмурил, устремил до странности пристальный взгляд на бывшего жилет-

ника, стоявшего в дверях своего заведения, а тот, пригвожденный взглядом де Шарлю, пустивший корни в порог, как растение, любовался полнотой стареющего барона. Но еще удивительнее было вот что: как только де Шарлю изменил позу, Жюпьен, словно повинуясь закону какого-то неведомого искусства, точно так же изменил свою. Барон попытался сделать вид, будто эта встреча не произвела на него никакого впечатления, но сквозь притворное его равнодушие было заметно, что ему не хочется уходить: с фатоватым, небрежным и смешным видом он разгуливал по двору и смотрел в пространство, стараясь обратить внимание Жюпьена на то, какие красивые у него глаза. А лицо Жюпьена утратило скромное и доброе выражение, которое я так хорошо знал; он — в полном соответствии с повадкой барона — задрал нос, приосанился, с уморительной молодцеватостью подбоченился, выставил зад, кокетничал, как орхидея с ниспосланным ей самой судьбою шмелем. Я никогда не думал, что он может быть таким отталкивающим. И уж никак не могло мне прийти в голову, что он способен экспромтом принять участие в немой сцене и при этом (хотя он в первый раз видел де Шарлю) исполнить свою роль так, как будто он долго ее учил, — мы неожиданно для себя достигаем подобного совершенства, только когда за границей встречаем соотечественника: тут взаимопонимание возникает само собой — хотя бы мы никогда прежде не виделись, — потому что язык у нас общий и все разыгрывается как по нотам.

Нельзя сказать, чтобы эта сцена была просто смешной: в ее необычности и, если хотите, естественности была своя красота, и красоты становилось все больше. Де Шарлю принимал отрешенный вид, как бы в рассеянности опускал глаза, потом опять

поднимал и внимательно смотрел на Жюпьена. Но (де Шарлю, конечно, отдавал себе отчет, что эта сцена не может длиться здесь до бесконечности, а быть может, по причинам, которые станут ясны потом, наконец, может быть, в нем говорило сознание, что все в жизни мимолетно, — вот почему мы так стремимся к тому, чтобы ни одно наше усилие не пропало зря, и вот почему нас волнует зрелище всякой любви) каждый раз, когда де Шарлю смотрел на Жюпьена, ему хотелось что-нибудь сказать, и это резко отличало его взгляды от тех, что устремляем мы на знакомых и незнакомых людей; так пристально, как он смотрел на Жюпьена, смотрит тот, кто сейчас вам скажет: «Простите, но у вас на спине длинная нитка» — или: «Если не ошибаюсь, вы тоже из Цюриха? По-моему, мы там часто с вами встречались у антиквара». Вот так через каждые две минуты один и тот же вопрос, казалось, упорно возникал в тех беглых взглядах, какие де Шарлю бросал на Жюпьена, и напоминало это вопросительные музыкальные фразы Бетховена, без конца повторяющиеся через одинаковые промежутки и служащие для того, чтобы — после чересчур пышных приготовлений — ввести новый мотив, подготовить переход от одной тональности в другую, возврат к основной теме. Но только взглядам де Шарлю и Жюпьена придавало особую красоту то, что они — по крайней мере, в данное время, — казалось, не стремились к чему-либо привести. Такого рода красоту я впервые уловил именно в том, как смотрели друг на друга де Шарлю и Жюпьен. В их глазах отражалось небо, но только не Цюриха, а какого-то восточного города, название которого я пока еще не мог вспомнить. Как ни сдерживал себя де Шарлю и жилетник, соглашение между ними, казалось, было уже достигнуто, а

бесцельные их взгляды были только обрядовой прелюдией, чем-то вроде вечеринки перед свадьбой. Если поискать сравнение в природе, — в многообразии таких сравнений нет ничего надуманного, потому что один и тот же человек, за которым вы понаблюдаете всего лишь несколько минут, может быть и человеком, и человеком-птицей, и человеком-насекомым и т. д., — то можно было бы сказать, что эти две птицы, самец и самка, и что самцу хочется подойти поближе, а что самка-Жюпьен — хотя и никак не отвечает на его заигрывания, однако смотрит на своего нового друга без всякого удивления, ненавидяще-пристальным взглядом, так как ей представляется, что это должно действовать на него сильнее и что после первых шагов с его стороны только это одно способно приманить его, и чистит перышки. Но игра в равнодушие, в конце концов, надоела Жюпьену; от уверенности в том, что самец пленен, до возбуждения в нем охоты к преследованию и до возбуждения желания всего один шаг, и Жюпьен, которому надо было идти на службу, вышел за ворота. И все-таки он несколько раз обернулся, прежде чем завернуть за угол, а барон, боясь потерять его след (он самодовольно напевал и даже крикнул: «До свиданья!» — полупьяному привратнику, но тот, принимая в соседней комнате гостей, этого не услышал), бросился за ним вдогонку. Как раз когда де Шарлю, гудя, как огромный шмель, вышел за ворота, во двор влетел настоящий шмель. Кто знает: не его ли столько времени дожидалась орхидея и не принес ли он ей драгоценную пыльцу, без которой она так и осталась бы девственницей? Но мне некогда было следить за резвостями насекомого, так как несколько минут спустя, вновь привлекая к себе мое внимание, вернулся Жюпьен (может быть, за пакетом, который

он потом взял, а сначала забыл — так его взволновала встреча с де Шарлю, а может быть, по еще более простой причине), — вернулся Жюпьен вместе с бароном. Де Шарлю, решив ускорить ход событий, попросил у жилетника спичек, но тут же спохватился: «Я прошу у вас спичек, а сам забыл дома сигареты». Законы гостеприимства восторжествовали над правилами кокетства. «Войдите! Здесь вам дадут все, что угодно», — сказал жилетник, и сейчас его лицо выражало уже не пренебрежение, а радость. Дверь мастерской за ними затворилась, и больше мне уже ничего не было слышно. Я потерял из виду шмеля; я не знал, он ли то насекомое, которого ждала орхидея, но я перестал сомневаться в том, что может произойти чудо бракосочетания редкого насекомого и пленного цветка, перестал после того, как де Шарлю (это всего лишь сравнение первых попавшихся предопределенных случайностей, без малейшего желания научно обосновать сходство некоторых явлений в ботанике с тем, что некоторые очень неудачно называют гомосексуализмом), на протяжении многих лет приходивший в этот дом, когда Жюпьен был на службе, благодаря случайному недомоганию маркизы де Вильпаризи встретился наконец с жилетником, а в нем нашел свое счастье, хранимое судьбою для таких людей, как барон, в лице подобных Жюпьену существ, которые могут быть, как это будет видно из дальнейшего, гораздо моложе и красивее Жюпьена, — после того, как де Шарлю встретил человека, который был предназначен для того, чтобы и такие, как де Шарлю, получили свою долю наслаждения на земле, и которому нравятся только пожилые господа.

Все это я понял не сразу, а только через несколько минут из-за неотъемлемого свойства действительности оставаться незримой до тех пор, пока случайное

обстоятельство не снимет с нее покрова. Во всяком случае, в тот момент мне было смерть как досадно, что я не слышу разговора между бывшим жилетником и бароном...

Разговор у них начался примерно через полчаса (за это время я успел тихонько подняться на лестницу и мог теперь смотреть в окошко, которое я, правда, так и не осмелился отворить). Де Шарлю давал Жюпьену деньги — тот решительно отказывался.

Затем де Шарлю направился к выходу. «Зачем вы бреетесь? — сказал Жюпьен сладеньким голосом. — Красивая борода так украшает!» — «Фу, какая гадость!» — воскликнул барон. В дверях он остановился и начал расспрашивать Жюпьена о жителях этого квартала: «Вы знаете того, кто торгует на углу каштанами, но только не с левой стороны — там торгует какое-то страшилище, — а с правой: рослого, смуглого детину? А что собой представляет провизор из аптеки напротив? Его лекарства развозит какой-то милый велосипедист». Должно быть, эти вопросы задели Жюпьена за живое, — выпрямившись с гордым видом обманутой кокетки, он ответил: «А вы, я погляжу, и волокита!» Этот горестный, холодный и жеманный упрек, должно быть, подействовал на де Шарлю: чтобы загладить неприятное впечатление, которое могло произвести его любопытство, он обратился к Жюпьену, но так тихо, что я ничего не услышал, с какой-то просьбой, для исполнения которой, видимо, требовалось, чтобы они еще побыли в мастерской, и которая, должно быть, растрогала жилетника до такой степени, что он все простил барону: окинув взглядом его седые волосы, его полное, румяное лицо, выражавшее глубокое удовлетворение, Жюпьен, как человек, чье самолюбие польщено, не отказал ему в его просьбе

и, радостно-взволнованный, преисполненный благодарности, с видом превосходства сказал: «Ну, так и быть, старый повеса».

«Я возвращаюсь к разговору о трамвайном кондукторе потому, — опять взялся за свое де Шарлю, — что, помимо всего остального, это может мне пригодиться на обратном пути. В самом деле, я иной раз, как халиф, обходивший Багдад под видом простого торговца, иду за любопытной молодой особой, силуэт которой пленил мое воображение». Тут я обратил внимание на одну черту де Шарлю, которую я раньше подметил у Бергота. Если бы Берготу пришлось предстать перед судом, то он заговорил бы на языке, который мог бы убедить судей, — он начал бы употреблять подсказанные ему его творческой индивидуальностью чисто берготовские обороты, потому что это доставляло бы ему удовольствие. Вот так и де Шарлю говорил с жилетником тем же языком, каким говорил бы с людьми одной марки, даже переигрывая — то ли потому, что от робости, которую он силился побороть, он был сейчас особенно высокомерен, то ли потому, что, не давая ему взять себя в руки (ведь мы больше конфузимся, когда имеем дело с человеком не нашего круга), робость заставляла его проявлять, обнажать свой нрав, действительно гордый и «слегка сумасшедший», как говорила герцогиня Германтская. «Чтобы не потерять ее из виду, — продолжал он, — я вскакиваю как учитель, как молодой и красивый врач, за ней в трамвай (я говорю в женском роде только по привычке — так говорят о принцах: «Как ваша светлость себя чувствует?»). Если она пересаживается в другой трамвай, я беру — может быть, вместе с чумными микробами — нечто совершенно непонятное, именуемое «пересадочным билетом», номер которого, хотя его

вручают *мне*, не всегда бывает первым! Так я меняю «средства передвижения» до трех, до четырех раз. Иногда я в одиннадцать часов вечера доезжаю до Орлеанского вокзала — извольте добираться оттуда домой! Хорошо еще, если только до Орлеанского вокзала. Как-то раз мне все не удавалось начать разговор, и я доехал до самого Орлеана в одном из тех ужасных вагонов, где у вас все время перед глазами, между треугольниками так называемых «сеток», снимки главных архитектурных достопримечательностей той области, по которой проходит эта железная дорога. Было одно только свободное место, и мне ничего иного не оставалось, как любоваться «видом» орлеанского собора, который считается историческим памятником, хотя безобразнее его нет во всей Франции, а, хочешь не хочешь, смотреть на него — это так же утомительно, как разглядывать его башни в стеклянных шариках оптических ручек, отчего бывает воспаление глаз. Я вышел в обществе молодой особы, но — увы! — ее встречали на перроне родные, а между тем я предполагал у нее всякие пороки, только не родственников! В ожидании поезда на Париж я вознаградил себя тем, что осмотрел дом Дианы де Пуатье... Что касается светских молодых людей, то я не успокаиваюсь до тех пор, пока не затрону их слабой струнки. Юноша должен был бы не отвечать мне на письма, а он сам шлет мне письмо за письмом, душевно он мой, и вот тогда сердце у меня на месте, во всяком случае, было бы на месте, если бы я не был увлечен другим. Любопытно, не правда ли? Кстати, о светских людях, о тех, что бывают здесь, — вы никого из них не знаете?» — «Не знаю, цыпочка. А, нет, одного знаю: брюнета, очень высокого, с моноклем, он все смеется и оглядывается». — «Не понимаю, кого вы имеете в

виду?» Жюпьен дорисовал портрет, но де Шарлю так и не догадался, о ком идет речь: ему было неизвестно, что бывший жилетник принадлежал к числу людей — более многочисленных, чем принято думать, — которые не запоминают, какого цвета волосы у тех, с кем они почти не знакомы. Но я знал, что у Жюпьена есть этот недостаток, и как только я на место брюнета поставил блондина, у меня получился вылитый портрет герцога де Шательро. «Но вернемся к молодым людям не из простонародья, — снова заговорил барон, — недавно меня заинтересовал странный мальчик из интеллигентной мелкобуржуазной семьи — он неучтив со мной донельзя. У него нет ни малейшего понятия о расстоянии, которое отделяет такого необыкновенного человека, каков я, от микроскопического вибриона, какого представляет он, перед лицом моей епископской мантии!» — «Епископской?» — переспросил Жюпьен: он не понимал, о чем говорит де Шарлю, но его поразило слово «епископский». — Как же это у вас уживается с религией?» — «В моем роду было трое пап, — возразил де Шарлю, — а на красную мантию мне дает право кардинальский сан моего двоюродного деда, племянница которого передала моему родному деду титул герцога, и этот титул переходит по наследству. Но я вижу, что метафор вы не понимаете и что история Франции вас не интересует. Впрочем, — продолжал барон, пожалуй, не столько для того, чтобы подытожить сказанное им, сколько для того, чтобы поставить Жюпьена в известность, — молодые люди, которые меня избегают, — конечно, от страха, потому что только из почтения к моей особе они не изливают мне своих чувств, — могут заинтересовать меня при условии, если они занимают в обществе блестящее положение. Но и тогда их деланое равнодушие

способно оттолкнуть меня. Если они так глупы, что не умеют вовремя прекратить эту игру, то меня от нее начинает тошнить»...

...я понял теперь, почему, когда де Шарлю выходил от маркизы де Вильпаризи, я обнаружил в нем сходство с женщиной: он и в самом деле был женщиной! Он представлял собой натуру менее противоречивую, чем это могло показаться: идеалом таких людей является мужчина именно потому, что темперамент у них женский и на мужчин они похожи только внешне; в глазах у каждого из нас, которые служат нам для того, чтобы видеть все, что есть во вселенной, на гранях зрачков запечатлен некий силуэт, так вот у них этот силуэт не нифмы, а эфеба. Над людьми этой породы тяготеет проклятие, их жизнь — сплошная ложь и клятвопреступление, ибо они знают, что их желания, представляющие собой для всех созданий величайшую радость жизни, наказуемы и позорны, что сознаваться в них — стыдно; эти люди — безбожники, ибо если они христиане, то, когда их привлекают к суду и обвиняют в том, что составляет самую суть их жизни, они, перед ликом Христа и клянясь его именем, заявляют, что на них клевещут; это сыновья, у которых нет матерей, ибо они всю жизнь лгут своим матерям, даже закрывая им после их смерти глаза; это друзья, не знающие, что такое истинная дружба, хотя благодаря своему обаянию они часто внушают к себе дружеские чувства, а так как у многих из них доброе сердце, то они и сами питают эти чувства к другим; но можно ли назвать дружбой чувства, которые произрастают под покровом лжи и которые погубит порыв доверчивости и откровенности, ибо он ничего, кроме отвращения, не вызовет, если только на их пути не встретится человек беспристрастный, способный понять их, но даже и

в таком человеке могут взять верх условности, и, выслушав признания своего знакомого в том, что он страдает таким пороком, этот человек подумает, что, значит, и дружеское расположение его знакомого порождено пороком, а подобное расположение этому беспристрастному человеку глубоко чуждо — так иные судьи легче всего допускают, что убийство совершил подсудимый, в половом отношении ненормальный, а что предательство совершил еврей, и охотно оправдывают и того, и другого, объясняя убийство первородным грехом, а предательство — роком, тяготеющим над этой нацией. Наконец (во всяком случае, по первоначальной теории, которая у меня сложилась тогда и в которую... в дальнейшем будут внесены поправки), — и это их особенно огорчало бы, если бы обнаруженное мной противоречие не скрывала от них иллюзия, управляющая их зрением и всей их жизнью, — для такого рода любовников почти недоступна та любовь, в чаянии которой они идут на огромный риск и столько времени проводят в одиночестве: ведь они влюбляются в таких мужчин, у которых как раз ничего женского нет, в мужчин не извращенных, а следовательно, не способных отвечать им взаимностью; таким образом, их страсть никогда бы не удовлетворялась, если бы они не покупали настоящих мужчин за деньги или если бы воображение не выдавало им за настоящих мужчин, которым они отдавались, таких же извращенных, как они сами. Это люди порядочные до первого случая; они на свободе до тех пор, пока не раскрылось их преступление; в обществе их положение шатко, как у того поэта, перед которым еще накануне были открыты двери всех салонов, которому рукоплескали во всех лондонских театрах и которого на другой день не пустили ни в одни меблированные комнаты,

так что ему негде было преклонить свою голову, и, подобно Самсону, он вынужден был вращать мельничный жернов. «Оба пола умрут в свой черед», — сказал поэт; они лишены даже, за исключением тех дней, когда случается большое несчастье и когда вокруг жертвы собирается большая толпа, как собрались вокруг Дрейфуса евреи, сочувствия — а то и общества — им подобных, потому что тем противно видеть в них свое отражение, точно в зеркале, их не щадящем, показывающем все изъяны, которые они старались не замечать в себе, и доводящем до их сознания, что то, что они называют любовью (толкуя это понятие расширительно, они из чувства самосохранения вложили в него все, чем обогатили любовь поэзия, живопись, музыка, рыцарство, аскетизм), порождено не идеалом красоты, который они себе создали, а их неизлечимой болезнью; опять-таки подобно евреям... они избегают друг друга, ищут общества людей, которые были бы им во всем противоположны и которые не желают с ними общаться; они прощают им все грубости и безмерно радуются их благосклонности; вместе с тем они окружают себя такими же, как они, потому что их преследуют, потому что их срамят, и в конце концов, у них вырабатываются, как у евреев и тоже как следствие гонений, физические и душевные расовые особенности, причем некоторые из них прекрасны, но чаще всего это черты отвратительные; они (несмотря на насмешки, которыми те, кто ближе сошелся, ассимилировался с другой породой и на вид представляется менее извращенным, понимают тех, в ком ярче выражены черты их породы) отдыхают в обществе им подобных, им легче становится жить от мысли, что те существуют, и все же они отрицают свою принадлежность к этой породе (самое название ее

является для них величайшим оскорблением), им нравится разоблачать тех, кто эту свою принадлежность скрывает, нравится не потому, чтобы им уж так хотелось сделать тем людям гадость, хотя они и этим не брезгуют, а для того, чтобы снять обвинение с себя; они прощупывают извращение, как врач — аппендицит, даже в истории им доставляет удовольствие напомнить, что и Сократ был такой же, в чем они опять-таки уподобляются евреям, которые говорят то же самое про Христа, забывая о том, что понятие ненормальности не существовало в те времена, когда гомосексуализм являлся нормой, так же как до Христа не могло быть врагов христианства, забывая о том, что только позор рождает преступление, ибо благодаря ему выживают только те, в ком никакая проповедь, никакие примеры, никакие кары не могли побороть врожденной наклонности, которая из-за своей необычности сильнее отталкивает других людей (хотя она может уживаться с высоким душевным строем), чем не менее отвратительные пороки, как, например, наклонность к воровству, жестокость, коварство, пороки более понятные, а значит, и более простительные, с точки зрения обыкновенного человека; эти люди образуют своего рода масонскую ложу, но только гораздо более обширную, более деятельную и менее заметную, ибо она создается на основе единства пристрастий, потребностей, привычек, на основе однородности опасностей, на основе того, что все ее члены проходят одну и ту же школу, получают одни и те же знания, на основе того, что у них один и тот же образ действия и свой особый язык, ложу, где даже те ее члены, которые не хотят поддерживать друг с другом знакомств, моментально узнают друг друга по естественным или условным знакам, невольным или предумышленным,

по таким же, по каким нищий угадывает, что вот этот важный барин — такой же нищий, как и он, хотя он закрывает дверцы его кареты, по таким же, по каким отец узнает себя в женихе своей дочери, больной — во враче, исповедник — в священнике, подследственный — в адвокате; они вынуждены хранить свою тайну, но посвящены в чужую, о которой другие не подозревают и которая так на них действует, что самые неправдоподобные авантюрные романы кажутся им правдивыми, оттого что их жизнь полна отошедшей в прошлое романтики, да и как им не поверить в правдивость авантюрных романов после того, как им становится известно, что посол — приятель каторжанина, а что принц, отличающийся той непринужденностью в обхождении, какую вырабатывает аристократическое воспитание и которой не может быть у запуганных мелких буржуа, выйдя из салона герцогини, отправляется на свидание с апашем; это изгои, составляющие, однако, мощную силу, присутствие которой подозревают там, где ее нет, но которая безнаказанно и нахально действует у всех на виду там, где о ее присутствии никто не догадывается; они находят себе единомышленников всюду; среди простонародья, в армии, в храмах, на каторге, на троне; они живут (по крайней мере, громадное их большинство) в обвораживающем и опасном соседстве с людьми другой породы, заигрывают с ними, в шутливом тоне заговаривают с ними о своем пороке, как будто они сами им не страдают, и эту игру им облегчает ослепление или криводушие других, и длиться она может долго, вплоть до дня, когда поднимется возмущение и укротителей растерзают; до этого дня они вынуждены таиться, отворачиваться от того, что им хотелось бы рассмотреть получше, рассматривать то, от чего им хотелось бы отвер-

нуться, менять в своем языке род многих прилагательных, и все этот внешний гнет неизмеримо легче гнета душевного, которым их придавливает порок или то, чему дали неверное название порока, придавливает не ради других, а ради них же, чтобы порок не казался им пороком. Но некоторые из них, более практичные, более занятые, те, кому некогда ходить на рынок, придерживаются, для того чтобы упростить себе жизнь, и не тратить времени зря, принципа совместимости и создают себе два общества, причем второе составляется исключительно из существ им подобных.

Это бросается в глаза у приехавших из провинции бедняков, у которых нет связей, у которых нет ничего, кроме мечты стать знаменитым врачом или адвокатом, у которых еще ни о чем нет своего мнения, которые еще не выработали манеру держать себя в обществе, какой они, однако, надеются вскоре обзавестись, так же как они надеются вскоре приобрести обстановку для своей комнатушки в Латинском квартале, точь-в-точь такую, какую они видели и во всех подробностях рассмотрели у людей, уже «выдвинувшихся» на том полезном почтенном поприще, на котором они сами желают подвизаться и прославиться; пристрастия этих людей, такие же врожденные, как способности к рисованию, музыке или как предрасположение к слепоте, пристрастия живучие, деспотичные, — это, быть может, единственное, что в них есть оригинального, и эти именно пристрастия заставляют их в иные вечера жертвовать полезной для их карьеры встречей с людьми, которым они подражают во всем; в манере говорить, в образе мыслей, в одежде, в прическе. В том квартале, где они поселяются и где они бывают только у не разделяющих их пристрастия товарищей по школе, преподавателей, у кого-нибудь из своих

земляков, преуспевшего и покровительствующего им, они вскоре встречают других молодых людей, и сближает их с ними все то же особое пристрастие — так в маленьком городишке сходятся учитель и нотариус, оба — любители камерной музыки и средневековых изделий из слоновой кости; привнося и в свои развлечения практический интерес, деловой дух, который руководит их усилиями сделать себе карьеру, они встречаются с ними там, куда непосвященным доступа нет, так же как на собрании любителей старинных табакерок, японских гравюр или редких цветов, и где благодаря удовольствию взаимоосведомления, полезности обмена и боязни конкуренции царят одновременно, как на бирже почтовых марок, тесный союз специалистов и ожесточенное соперничество коллекционеров. В кафе, где у них свой столик, никто не знает, что это за собрание: общество рыболовов, секретарей редакции или уроженцев Эндра — так безукоризненны их манеры, так спокойны и холодны их лица, до того робко, украдкой поглядывают они на модных молодых людей, которые в нескольких шагах от их столика кричат во все горло о своих возлюбленных, и те, что сейчас ими любуются, не смея поднять на них глаза, только двадцать лет спустя, когда одни из них будут без пяти минут академики, другие — старыми завсегдатаями клубов, узнают, что самый обольстительный из тогдашних юных «львов», а теперь растолстевший и седеющий де Шарлю был на самом деле такой же, как и они, но только принадлежал к другому миру, с иными внешними символами, с особыми опознавательными знаками, которые и ввели их тогда в заблуждение. Эти группировки могут быть более передовыми и менее передовыми; Союз левых и Социалистическая федерация, Мендельсоновское музыкальное общес-

тво и Школа Канторум — это совершенно разные объединения; вот так в один из вечеров за соседний столик усаживаются экстремисты, и они позволяют, чтобы им под манжету надевали браслет или вешали в вырез рубашки колье; их упорные взгляды, кудахтанье, смех, то, как они друг с другом нежничают, — все это спугивает стайку школьников, и те разбегаются врассыпную, а скрывающего, как и в те вечера, когда он подает дрейфусарам, под учтивостью возмущение официанта подмывает позвать полицию, и, если бы не надежда на чаевые, он бы ее непременно позвал.

Таким профессиональным организациям разум противопоставляет отшельников, противопоставляет без особой натяжки: он становится на точку зрения самих отшельников, которые считают, что ничто так резко не отличается от организованного порока, как то, что им представляется непонятой любовью, и все-таки не без натяжки, ибо эти разные классы соответствуют не только различным физиологическим типам, но и следующим один за другим моментам патологической или только социальной эволюции. И в самом деле: редко кто из отшельников рано или поздно не примкнет к одной из таких организаций — иногда просто от скуки, иногда из соображений удобства (так самые ярые противники телефона, принцев Иенских и Потена в конце концов все-таки ставят у себя телефон, начинают принимать Иенских и покупать у Потена). Надо сказать, что в большинстве случаев их принимают в такие организации неохотно, оттого что их относительно скромное поведение в сочетании с неопытностью и болезненной мечтательностью, какую порождает одиночество, наложили на них более заметный отпечаток женственности — отпечаток, от которого профессионалы постарались избавиться. Скажем прямо, что

у некоторых новичков женское начало объединяется с мужским не только внутри — его омерзительное обличье выставляет себя напоказ, например, когда они смеются истерически-визгливым смехом, от которого у них трясутся колени и руки: в такие минуты они похожи не на мужчин, а на обезьян с грустным взглядом, с синевой под глазами, с цепкими ногами — разница та, что на них смокинги и черные галстуки; короче говоря, менее целомудренные ветераны считают, что общение с этими новобранцами компрометирует, и допускают они их к себе скрепя сердце; и все-таки общество терпит их, и они пользуются всеми возможностями, с помощью коих коммерции и крупные предприятия преобразили жизнь извращенных индивидуумов и достигли того, что нужные им удовольствия, прежде с большим трудом приобретавшиеся и даже почти не появлявшиеся на рынке их любви, стали им доступны; то, чего прежде, когда они действовали без посредников, им не удавалось промыслить даже там, где собиралось много народу, теперь у них имеется в изобилии.

Но и при наличии бесчисленных предохранительных клапанов внешний гнет для иных еще непосилен — непосилен для тех, что вербуются главным образом среди людей, которые привыкли к внутренней свободе и которые все еще убеждены, что их пристрастие встречается редко, хотя на самом деле это не так. Оставим пока тех, которые необычность их наклонности считают достаточным основанием, чтобы мнить себя высшими существами, тех, что презирают женщин, тех, что смотрят на гомосексуализм как на свойство гениев и как на явление, характерное для великих исторических эпох; когда они ищут, с кем бы слюбиться, их тянет не столько к тем, у кого они находят к этому

предрасположение, как морфиниста тянет к морфию, сколько к тем, кого они считают достойным своей благосклонности, они с таким же апостольским рвением пытаются распространить свои убеждения, с каким другие проповедуют сионизм, сенсимонизм, вегетарианство, анархизм или уговаривают отказываться от военной службы. Если вы утром застанете иного еще в постели, вас поразит, какая у него дивная женская голова, какое у этого лица общее для всех женщин выражение, какой это символ женского пола; даже волосы у него вьются, как у женщины; они рассыпаются по плечам, на лицо так естественно падают локоны, и вы невольно дивитесь, как эта молодая женщина, эта девушка, эта Галатея, только-только еще пробуждающаяся в подсознании мужчины, где она заточена, — как она сумела самостоятельно, без подсказки отыскать все еле заметные лазейки из своей темницы, найти все жизненно важное для нее. Понятно, молодой человек, у которого такая прелестная головка, не говорит: «Я — женщина». Если даже — по многим причинам — он живет с женщиной, он может в разговоре с ней отрицать, что и он женщина, может поклясться, что у него никогда не было сношений с мужчинами. Пусть только она увидит его таким, каким мы только что его показали: на кровати, в пижаме, с голыми руками, с голой шеей в обрамлении черных кудрей. Пижама превратится в женскую кофту, голова — в головку хорошенькой испаночки. Любовница придет в ужас от этих признаний в ответ на ее вопросительный взгляд, ибо они правдивее всяких слов и даже действий, хотя действия, если они еще ни о чем не сказали, скажут непременно потом, ибо каждое существо стремится к наслаждению и не совсем испорченное находит наслаждение в сношениях с полом противоположным. Мужчина

с извращенными наклонностями порочен не тогда, когда он вступает в связь с женщинами (на это его может толкнуть многое), а когда это доставляет ему наслаждение. Молодой человек, которого мы попытались нарисовать, — до того явная женщина, что женщин, которые смотрели на него с вожделением, постигает (если только сами они нормальны) разочарование, какое испытывают героини комедий Шекспира, обманутые переряженной девушкой, которая выдает себя за юношу. И тут и там обман; извращенный мужчина это знает, он предвидит, какое разочарование постигнет женщину, когда маскарадный костюм будет сброшен, и понимает, что такого рода ошибка служит источником для поэтической фантазии. Нам достаточно окинуть взглядом локоны на белой подушке, чтобы поручиться, что если этот молодой человек вечером ускользнет от своих родителей, то не для того, чтобы пойти к женщинам. Любовница может наказывать его, запирать на замок — на другой день мужеженщина найдет способ проникнуть к мужчине — так вьюнок выпускает усики при приближении заступа или грабель. Почему же нам, любовавшимся трогательно-нежными чертами лица этого мужчины, любовавшимся его несвойственными мужчинам изяществом и неподдельной приветливостью, бывает так больно, когда мы узнаем, что этот молодой человек ищет знакомства с боксерами? Ведь это два разных аспекта одного явления. И тот аспект, что внушает нам отвращение, даже более трогателен, трогательнее всяческих ухищрений, ибо он представляет собой изумительное, неосознанное усилие природы; пол сам себя узнает вопреки всем плутням, на какие пускается пол, он бессознательно исправляет изначальную ошибку, допущенную обществом: он устремляется к тому, что общество от него отдалило.

Одни из них, без сомнения, с детства очень застенчивые, равнодушные к чувственной стороне наслаждения: им важно соотнести получаемое ими наслаждение с лицом мужчины. Другим (людям, без сомнения, больших страстей) — непременно требуется локализация чувственного наслаждения. От их признаний обыкновенным людям, наверное, стало бы не по себе. Наверно, они не живут всецело под спутником Сатурна, так как женщины им все-таки нужны — в отличие от первых, для которых женщины вообще не существовали бы, если бы не уменье женщин вести беседу, если бы не женское кокетство, если бы не головное чувство. Но вторые ищут женщин, которые любят женщин, женщины могут свести их с молодыми людьми и усилить наслаждение, которое доставляет им общество молодых людей; более того: женщины могут доставить им такое же наслаждение, как мужчины. Ревность может пробудить у тех, кто любит первых, только наслаждение, которое доставил бы им мужчина, только это наслаждение воспринимают они как измену, потому что они неспособны любить женщину, а если они и вступали в сношения с женщинами, то лишь по привычке и чтобы не отрезать себе пути к браку; радости супружеской жизни им непонятны, поэтому они и не страдают от того, что любимый ими мужчина счастлив в супружеской жизни; между тем вторых часто ревнуют к женщинам. Дело в том, что в отношениях с женщинами они играют для женщины, любящей женщины, роль другой женщины, а женщина доставляет им почти такое же наслаждение, как мужчина; и вот ревнивый друг страдает, воображая, как его любимый прилип к той, что представляется ему почти мужчиной, и ему уже кажется, что он вряд ли к нему вернется, так как для подобного рода женщин он представляет

собой нечто незнакомое: разновидность женщины. Не будем говорить и о тех юных безумцах, которые, ребячась, чтобы поддразнить своих друзей и привести в ужас своих родителей, из чистого упрямства щеголяют в костюмах, похожих на женские платья, красят губы и подводят глаза; оставим их в покое: жестоко поплатившись за свое позерство, они потом всю жизнь напрасно будут пытаться строгим, протестантским поведением уничтожить последствия вреда, какой они себе причинили, будучи одержимы тем же демоном, который наущает молодых женщин из Сен-Жерменского предместья вести скандальный образ жизни, нарушать все правила приличия, глумиться над своими родными до тех пор, когда они вдруг с железным упорством, но безуспешно начнут подниматься в гору, скатиться с которой им когда-то представлялось заманчивым или, вернее, на верху которой они не могли удержаться. Оставим, наконец, временно тех, кто заключили соглашение с Гоморрой. Мы скажем о них, когда с ними познакомится де Шарлю. Оставим все разновидности этой породы — впоследствии они еще появятся, — а чтобы покончить с первоначальным этим наброском, скажем лишь еще несколько слов о тех, кого мы только что затронули, — об отшельниках. Ошибочно думая, что их порок — явление редкое, они начинают жить в одиночестве, как только в себе обнаружат, после того как долго носили его в себе, ничего не подозревая, во всяком случае, дольше других. Ведь вначале никто не знает, кто он: извращенный или поэт, или сноб, или злодей. Иной школьник, начитавшийся стихов о любви или насмотревшийся непристойных картинок, ластится к товарищу, думая, что его объединяет с ним только желание женщины. Придет ли ему в голову, что он не такой, как другие, если о том, что он

испытывает, пишут г-жа де Лафайет, Расин, Бодлер, Вольтер, Скотт, а между тем по части самонаблюдения он еще очень слаб и неспособен разобраться в том, сколько он привносит в них своего, ему еще не дано постичь, что чувство одинаково, а предметы различны, что он желает того же, что и Роб Рой, а не того же, что желает Диана Вернон? У многих из них инстинкт самосохранения в своем развитии опережает ум, и в их комнатах не видно ни зеркала, ни стен, потому что они сплошь увешаны карточками артисток; они сочиняют стишки:

Я люблю златокудрую Хлою,
Мои песни звучат ей хвалою,
Весь я полон лишь ею одною.

Можно ли отсюда заключить, что в начале жизни они питали особого рода пристрастие, если в дальнейшем никаких признаков не обнаруживали? Разве дети с белокурыми локонами не становятся часто брюнетами? Кто знает, быть может, в этих фотографиях таится лицемерие, а может быть, и зародыш отвращения к извращенным мужчинам? Но для отшельников лицемерие мучительно. Пожалуй, даже пример евреев, общины совсем особой, недостаточно нагляден для того, чтобы объяснить, как мало для них значит воспитание и к каким ухищрениям они прибегают, чтобы снова для них началась (хотя это, может быть, и не так ужасно, как самоубийство, на которое, несмотря ни на какие меры предосторожности, вновь и вновь покушаются сумасшедшие: их вытаскивают из реки, а они травятся, добывают себе револьвер и т. д.) жизнь с ее радостями, которые людям другой породы кажутся непонятными, непостижимыми, гадкими, с ее постоянными опасностями и вечным чувством стыда. Пожалуй, чтобы их обрисовать, вернее будет сравнить их не

с животными, которых нельзя приручить, не со львятами, которых пытаются одомашнить, но которые, как вырастут, становятся самыми настоящими львами, а с чернокожими, на которых наводят уныние удобства, коими пользуются белые, и которые предпочитают опасности, коими полна жизнь дикарей, и ее непонятные нам радости. Когда отшельники доходят наконец до сознания, что они не могут лгать одновременно и другим, и самим себе, они переезжают в деревню, и там они избегают им подобных (они полагают, что их немного) потому, что им внушает гадливое чувство их противоестественность, или от страха поддаться искушению, а других людей они избегают от стыда. Они так и не достигают настоящей зрелости, они вечно тоскуют; время от времени воскресным вечером, если не светит луна, они отправляются на прогулку и доходят до поворота, а там их молча ждет друг детства, сосед по имению. И они — все так же молча — опять начинают возиться впотьмах на траве. В будни они заходят друг к другу, говорят о том, о сем, но никто из них не намекает на то, что между ними произошло, как будто ничего не было и не будет, заметен лишь холодок, проскальзывает насмешка, чувствуется раздражение, злоба, иной раз даже ненависть. Потом сосед отправляется в нелегкое путешествие, верхом на муле едет в горы, спит на снегу: его друг, для которого порок неразрывно связан со слабохарактерностью, с домоседством, с трусливостью, понимает, что пороку не выжить в душе его вырвавшегося на свободу друга, который сейчас находится в стольких тысячах метров над уровнем моря. И в самом деле: тот женится. Но покинутый не излечился (хотя, как это будет видно из дальнейшего, извращенность в иных случаях излечима). Он получает теперь по утрам свежие

сливки прямо из рук молочника, а по вечерам, когда его особенно томят желания, доходит до того, что показывает дорогу пьяному, поправляет рубашку слепому. Правда, некоторые извращенные становятся как будто другими, так называемый порок уже не виден в их привычках, но ничто не исчезает бесследно: куда-то засунутая драгоценная вещь отыскивается; если больной меньше мочится, это значит, что он сильнее потеет, но количество выделений все равно остается прежним. У этого гомосексуалиста умирает молодой родственник, и по тому, как он горюет, вы догадываетесь, что он перенес свои желания на любовь к этому родственнику, любовь, быть может, невинную, любовь, в которой уважение брало верх над стремлением к обладанию, — так, в основном, не меняя бюджета, иные расходы переносятся на другой год. Подобно тому, как крапивная лихорадка на время заставляет больных забывать об их всегдашних недугах, так чистое чувство извращенного к его молодому родственнику, быть может, временно, путем метастаза, вытеснило его склонности, но рано или поздно они займут место заменявшей их и уже вылеченной болезни.

Между тем женатый сосед отшельника возвращается; красоты молодой жены и ласковое обращение с ней мужа в тот день, когда отшельнику пришлось пригласить их к обеду, вызывают в нем чувство стыда: он стыдится своего прошлого. Жена уже в интересном положении, ей надо вернуться домой пораньше, и она уходит одна; муж, прощаясь, просит своего друга проводить его; друг, ничего не подозревая, идет. И встречи их возобновляются и продолжаются до тех пор, пока поблизости не поселяется родственник молодой женщины, и теперь уже супруг всегда гуляет с ним. А когда покинутый вечером подходит к нему, муж злобно отталкивает

его — он возмущен, что у того не хватило такта, чтобы почувствовать, что теперь он ему отвратителен. Но однажды к покинутому приходит незнакомец, присланный соседом-изменником; покинутый очень занят, не может его принять и только потом догадывается, с какой целью являлся к нему незнакомец.

Покинутый изнывает в одиночестве. Единственное его развлечение — ходить на ближайшую станцию около купален и разговаривать с железнодорожными служащими. Но служащий получает повышение, его переводят за тридевять земель; отшельнику не у кого теперь узнать, когда отходят поезда, сколько стоит билет первого класса, и все же он не сразу возвращается домой, чтобы мечтать, как Гризельда, у себя на башне, — он долго не может отойти от моря, и его можно принять за некое подобие Андромеды — но только эту Андромеду аргонавт не освободит — или за бесплодную медузу, которой суждено погибнуть на песке; или же он лениво прохаживается перед отходом поезда по платформе, охватывая пассажиров взглядом, и этот его взгляд людям другой породы покажется безучастным, презрительным и рассеянным, но подобно тому, как иные цветы источают нектар, чтобы приманивать насекомых, которые оплодотворят их, на самом деле он смотрит таким взглядом, который не обманет чрезвычайно редко встречающихся любителей предлагаемого им столь необычного и столь редкого наслаждения, взглядом, не обманывающим собрата, с которым наш специалист мог бы поговорить на им одним понятном языке; однако на платформе разве какой-нибудь оборванец сделает вид, что его покорил этот взгляд, но руководят оборванцем соображения материальные — так люди приходят в пустую аудиторию Коллеж де Франс, где профессор читает лекции о санскрите, приходят с единственной

целью — погреться. Медуза! Орхидея! В Бальбеке во мне говорил только инстинкт, и тогда медузы были мне противны; но если бы я сумел смотреть на них, как Мишле, — взглядом естествоиспытателя и эстета, — я бы увидел дивные голубые канделябры. Разные медузы с их прозрачными бархатными лепестками — не лиловые орхидеи моря? Подобно стольким существам животного и растительного мира, подобно растению, из которого можно было бы добывать ваниль, если только колибри или какие-то пчелки не перенесут пыльцу с одного органа на другой или если его искусственно не оплодотворит человек, де Шарлю (в применении к нему слово «оплодотворение» надо понимать в духовном смысле, для индивидуума не безразлична возможность получить единственно существующее для него наслаждение, не безразлично сознание, что «все живое» может кому-нибудь принести в дар «свой пламень, свой напев, свое благоухание»), — де Шарлю относился к числу тех людей, которых можно назвать исключениями. У таких людей, как де Шарлю (при необходимости приноравливаться, которую он будет осознавать постепенно, но которую можно предугадать с самого начала, — приноравливаться ради того, чтобы получать удовольствие и наслаждение, довольствующееся и полусогласием), стремление к взаимной любви, помимо больших, подчас непреодолимых препятствий, возникающих у людей нормальных, наталкивается на препятствия совершенно особые, и то, что вообще представляет собой редчайшую находку, для них почти неосуществимо, так что если в их жизни и бывают по-настоящему счастливые встречи или такие, которые природа выдает за счастливые, счастье кажется им неизмеримо более чудесным, предназначенным только для избранных, кажется им куда более

важным, чем обыкновенным влюбленным. Что вражда Капулетти и Монтекки в сравнении с всевозможными препонами, с особыми преградами, каких наставила природа вокруг и без того не частых случайностей, порождающих такого рода любовь! Эти Ромео и Джульетта с полным основанием могут думать, что их любовь — не минутный каприз, а самое настоящее предопределение, заложенное в гармонии их темпераментов, и не только их, но и темпераментов их далеких предков, заложенное в наследственности; они могут думать, что их притягивает друг к другу сила, которую можно сравнить с той, что правит мирами, где протекла наша подземная жизнь. Де Шарлю отвлек мое внимание от шмеля, и я так и не узнал, принес ли он орхидее пыльцу. После того дня де Шарлю уже в другое время приходил к маркизе де Вильпаризи — не потому, что он не мог встречаться с Жюпьеном где-нибудь еще и в более спокойной обстановке, а, вернее всего, потому, что для него, как и для меня, эта первая их встреча связывалась с солнцем полудня и с цветущим растением. Де Шарлю рекомендовал Жюпьенов маркизе де Вильпаризи, герцогине Германтской и множеству именитых заказчиц, и те поспешили завалить заказами молодую вышивальщицу, потому что на дам, которые не пожелали иметь с ней дело или хотя бы не поторопились прийти к ней, барон обрушил всю свою ярость — то ли чтобы это послужило уроком другим, то ли потому, что они посмели его ослушаться; этого мало: для самого Жюпьена он находил все более и более выгодные должности и наконец взял его к себе в секретари на условиях, о которых будет сказано в своем месте...

Должен заметить, что после того, как мне открылось столь редкостное соединение, я преувели-

чивал его необычность. Разумеется, такие мужчины, как де Шарлю, представляют собой явление из ряда вон выходящее, так как, если только они не идут на сделку с условиями жизни, они преимущественно ищут любви мужчин другой породы, то есть мужчин, любящих женщин (которые, следовательно, не могут их полюбить); но, вопреки тому, что я думал во дворе, где на моих глазах Жюпьен вертелся вокруг де Шарлю, заигрывая с ним, как орхидея со шмелем, этих необыкновенных существ, возбуждающих жалость, тьма — что будет видно из дальнейшего повествования — по причине, которая откроется только к его концу...

МОЭМ

Уильям Сомерсет Моэм (1874–1965) – ан-глийский писатель. Врач по образованию. Агент британской разведки. Автор романов «Лиза из Ламбета» (1897), «Бремя страстей человечес-ких» (1915), «Луна и грош» (1919), «Острие бритвы» (1944), «Театр», «Маленький уголок», пьес «Леди Фредерик» (1907), «Круг» (1921), «Шеппи» (1933). Произведения Моэма остросю-жетны, для них характерен тонкий психологизм в изображении нравственных исканий, элементы натурализма.

ТЕАТР

Долли де Фриз была вдова. Эта низенькая, тучная, несколько мужеподобная женщина с красивым орлиным носом, красивыми темными глазами, неуемной энергией, экспансивная и вместе с тем неуверенная в себе, обожала театр. Когда Джулия и Майкл решили попытать счастья в Лондоне, Джимми Ленгтон, к которому она порой приходила на выручку, когда казалось, что ему придется закрыть театр, дал к ней рекомендательное письмо с просьбой по возможности им помочь. Миссис де Фриз уже видела Джулию в Миддлпуле. Она устроила несколько званых вечеров, чтобы познакомить молодых актеров с антрепренерами и пригласила их в свой великолепный дом возле Гилдфорда, где они окунулись в роскошь, которая никогда им не снилась. Майкл ей совсем не понравился. Джулия восхищалась цветами, которые Долли де Фриз присылала к ней на квартиру и в уборную театра, была в восторге от ее подарков: сумочек, нессесеров, бус из полудрагоценных камней, брошей, но никак не показывала, что догады-

вается, чем вызвана щедрость Долли, и принимала исключительно как дань своему таланту. Когда Майкл ушел на войну, Долли настаивала на том, чтобы Джулия переехала к ней, в ее дом на Монтегьюсквер, но Джулия, пылко поблагодарив, отказалась, причем, в такой тактичной форме, что Долли, вздохнув и уронив слезу, не могла не восхищаться ею еще сильнее. Когда родился Роджер, Джулия пригласила Долли быть его крестной матерью.

Некоторое время Майкл подумывал, не обратиться ли к Долли. Но он был достаточно проницателен и понимал, что даже если бы она и сделала что-то для Джулии, она ничего не сделает для него. А Джулия наотрез отказалась прибегать к ее помощи.

— Она и так была к нам очень добра, право, я не могу еще что-то у нее клянчить, и будет так неприятно, если она откажет.

— Игра стоит свеч, а она, если и потеряет что-то, даже не почувствует. Я уверен, что ты могла бы ее уломать, если бы захотела.

Джулия ничуть в этом не сомневалась. Майкл так наивен в некоторых вещах; она не считала нужным указывать ему на очевидные факты.

Но Майкл был не из тех, кто легко отступается от того, что задумал. Госселины уехали в Гилдфорд, чтобы провести субботу и воскресенье у Долли, в новой машине, которую Джулия подарила Майклу ко дню рождения. Был прекрасный, теплый вечер, Майкл только недавно купил преимущественное право на постановку трех пьес, которые им обоим понравились, и слышал о здании театра, которое можно было снять на приемлемых условиях. Все было готово, чтобы начать дело, не хватало одного — денег. Майкл уговаривал Джулию воспользоваться предстоящим визитом.

— Сам попроси, если тебе так хочется, — нетерпеливо сказала Джулия. — Говорю тебе: я просить не стану.

— Мне она не даст. А ты можешь из нее веревки вить.

— Мы с тобой уже хорошо знаем, при каких условиях финансируются пьесы. Или человек хочет получить славу, пусть даже плохую, или он в кого-нибудь влюблен. Куча людей болтает об искусстве, но редко увидишь, чтобы они платили за него чистоганом, если не надеются извлечь из этого что-нибудь для себя.

— Что ж, предоставим Долли всю славу, какую она захочет.

— Ей нужно совсем другое.

— Что ты имеешь в виду?

— А ты не догадываешься?

Тут только его осенило. Майкл был так изумлен, что сбавил скорость. Неужели Джулия права? Он всегда считал, что не нравится Долли, а уж предполагать, что она в него влюблена — это ему и в голову не могло прийти. Конечно, Джулия — женщина проницательная, ничего не пропустит, но она так ревнива, крошка, ей вечно кажется, будто женщины вешаются ему на шею. Спору нет, Долли подарила ему к рождеству запонки, но он-то полагал, она просто не хочет, чтобы он был в обиде — ведь Джулии она подарила брошь, которая стоит не менее двухсот фунтов. Должно быть, это было сделано для отвода глаз. Ну, он может, положа руку на сердце, сказать, что никогда не подавал ей надежд. Джулия хихикнула:

— Нет, милый, она влюблена, но не в тебя.

Майкл смутился. И как это Джулия всегда угадывает, о чем он думает? Да, от нее ничего не скроешь.

— Тогда зачем ты навела меня на эту мысль? Выражайся, ради всего святого, так, чтобы тебя можно было понять.

Это Джулия и сделала.

— В жизни не слышал такой чепухи! — воскликнул Майкл. — У тебя просто грязное воображение, Джулия.

— Брось, милый.

— Нет, я не верю ни единому твоему слову. В конце концов, у меня тоже есть глаза. Неужели я бы ничего не заметил?

Джулия еще никогда не видела его таким рассерженным.

— И даже если это правда, я думаю, ты сумеешь за себя постоять. Это один шанс на тысячу, просто безумие его пропустить.

— Клавдия и Изабелла в «Мера за меру».

— Подло так говорить, Джулия. Я все же джентльмен...

Остаток пути прошел в грозовом молчании.

Миссис де Фриз не спала и поджидала их.

— Я не хотела ложиться, пока не увижу вас, — сказала она, заключая Джулию в объятия и целуя в обе щеки. Майклу она едва пожала руку.

Джулия с удовольствием провалялась все утро в постели, просматривая воскресные газеты. Она начинала с театральных новостей, затем переходила к светской хронике, затем к женской странице и, наконец, скользила взглядом по заголовкам остальных статей. Рецензии на книги она не удостаивала вниманием, ей было вообще не понятно, зачем на них тратят так много места. Майкл, спавший в соседней комнате, заглянул пожелать ей доброго утра и вышел в сад. Вскоре раздался негромкий стук в дверь, вошла Долли. Ее черные большие

глаза сияли. Она села на край кровати и взяла Джулию за руку.

— Дорогая, я разговаривала с Майклом. Я хочу финансировать ваш театр.

У Джулии громко забилось сердце.

— О, Майкл не должен был вас просить. Я не хочу. Вы и так уже столько для нас сделали.

Долли наклонилась и поцеловала Джулию в губы. Голос ее был ниже, чем обычно, и слегка дрожал.

— Ах, моя любовь, разве вы не знаете, что я сделала бы для вас все на свете! Это будет так замечательно, это так сблизит нас, и я буду вами так горда!..

ДАНИЛОВСКИЙ Г.

Даниловский Густав (1881–1927) – польский писатель. Родился в г. Цивильске Казанской губернии. Учился в варшавской гимназии, затем в Харьковском технологическом институте. Участник революции 1905 г. Роман «Мария Магдалина» вышел в 1913 г.

МАРИЯ МАГДАЛИНА

...Она чувствовала... отвращение и ненависть к длинной веренице своих поклонников, которые тянулись к ее телу, как стадо к траве, все похожие друг на друга, все одинаковые. Она встречала их улыбкой врожденного кокетства, ожидала от каждого чего-то большего, чем трепет телесного нутра, и каждый раз обманывалась. Гордый патриций и плебей-солдат не отличались друг от друга ничем: первый только изящнее и нежнее обнимал, второй громче пыхтел, давая короткий миг сладострастной истомы и в то же время будил чувство неудовлетворенности.

Она ни разу не испытала ласки, опьяняющей до полного забвения, до утраты последних следов сознания; все эротическое вдохновение, которым она умела возбуждать себя, приводило лишь к острому экстазу полной разнузданности, после которой наступала жгучая боль и сознательная досада от того, что чего-то ей не дает наслаждение. Бушующая кровь разрывала артерии, но не волновала души. Ее обнимали самые сильные, самые красивые, достойные резца скульптора мужские руки, но не прижали к сердцу ни одни... К ней льнуло так много, но не прильнул никто... Ее длинное тело

казалось текущей волной, через которую проплывали мужчины, чтобы пройти и исчезнуть...

Уста ее были полны поцелуев, но девственная чаша сердца была пуста.

Эта пустота чувства открывалась порой перед ней, как кричащая бездна, и тогда наступали эти одинокие дни, полные тайных слез и громко взывающей тоски...

Мария, как бревно, падала на ложе, засыпала надолго крепким сном и просыпалась, не помня о пережитом, точно исцеленная, совершенно здоровая физически и отдохнувшая телом, напоенным кровью медленно, но постепенно нарастающей страсти.

Так было и на этот раз.

Знающая свою госпожу, Дебора по удару молотка о бронзовую дощечку поняла, что кризис прошел. Она быстро вскочила с циновки, на которой сторожила у порога, и подошла к широкой, занавешенной цветным пологом постели.

Мария приподняла чуть-чуть припухшие веки, открыла окутанные влажным туманом глаза и сонным взглядом из-под длинных ресниц водила по бронзово-коричневым формам полунагой невольницы.

Дебора трепетала от волнения, овальное лицо ее ярко очерченного египетского типа потемнело до самой шеи от жгучего румянца, так как госпожа ее, переняв от греческих развратниц обычай, допускала ее иногда к своему богатому ложу, чтобы в гибких объятиях влюбленной в ее красоту девушки испытать особо тонкие, удивительно нежные ощущения.

Дебора подошла, вся дрожа, заметив, что у Марии легко раздуваются ноздри, и застыла вдруг, видя, как закрываются снова, точно розовые створки раковины, глаза ее госпожи.

Минуту длилось волнующее ожидание... Наконец Мария бросила сонным голосом:

— Уже поздно?

— Прошла уже четвертая стража, тени короткие, — промолвила сдавленным голосом Дебора.

— Четвертая, — лениво повторила Мария и, не открывая глаз, блаженно потянулась, причем тонкое шерстяное покрывало соскользнуло вместе с прядью вьющихся волос на каменный пол, открывая пышное, теплое, порозовевшее от сна тело, гладкие, как атлас, плечи, раскинутые в стороны полные, упругие груди, округлые бедра и сеть тонких голубоватых жилок на изгибах, покрытых нежным, как у персика, пушком.

У Деборы голова закружилась от восхищения, она закрыла глаза и сжимала до боли проколотое ухо, чтобы утишить стучавшую кровь.

— Надо вставать, должно быть, жарко... Заспалась страшно, — заговорила Мария, и после минуты неопределенного раздумья ленивым движением повернулась лицом к подушке, утопая в пушистых волосах, рассыпавшихся, точно развязанный сноп, по шее, плечам, рукам и краю постели.

— Собери волосы, — сказала она.

Черные умелые пальцы невольницы окунулись в яркое зарево, расплетая локоны, искусно выпрямляя точно из красной меди свитые кольца. Расчесанные пряди вскоре были уложены в один пламенный поток, который, сверкая золотом и темным пурпуром красного дерева, струился по телу и, казалось, пылал в его обаятельной теплоте. Дебора разделила этот поток надвое и стала заплетать косы.

— Пахнут еще?

— Опьяняюще!

Дебора окунула лицо в шелковистые волосы и, опьяненная, точно в беспамятстве, стала целовать

их, а потом горячими, как расплавленный сургуч, губами прижалась к белым плечам...

— Ну! — ежа молочно-белые плечи, капризно защищалась Мария, — ты щекочешь меня, черная, — захохотала она и стала в шутку отталкивать маленькой ножкой разгоряченную прислужницу, попала пальцами в ее полные груди и весело воскликнула:

— Ну и грудастая! Как тыквы... Наверное, изменяешь мне уже? Говори с кем?

И она усадила ее рядом с собой, обнимая точеной рукой, сверкавшей своей белоснежностью на бронзовой коже египтянки.

— Я — тебе, госпожа? — воскликнула та с неподдельным испугом в широко раскрытых черных, как жженые зерна кофейного дерева, глазах.

— А что ж! Попробуй! Не один меня расспрашивал про тебя. Ты зреешь, груди у тебя, смотри, какие, телом пышная, в ногах — гибкая — возьмут тебя охотно, заплатят хорошо, я тебе дам приданое... Ступай в свет...

— Никогда!

— Ну, скажи, так ты любишь меня? За что? Разве я добрая? Помнишь, как я побила тебя сандалией? А вот тут, — она указала рубец на руке египтянки, — у тебя еще след от моей булавки.

Дебора поднесла к губам пораненное место и, крепко целуя его несколько раз подряд, повторяла в перерывах:

— Бей меня, рви, топчи, мучь до крови — я хочу, я люблю...

— Любишь? — задумалась Мария. — Странно, я тоже немного. Я не знала, но однажды какой-то молодой Катулл, когда я раздразнила в нем страсть до неистовства, стал стегать меня моею же косой... Я сначала почувствовала боль, а потом вся сомлела,

каждый удар как-то непонятно возбуждал меня, как наваленные обручи, жгли меня полосы от этих ударов... Я укусила тогда его до крови — соленая, липкая... Приятно баловаться с мальчишками — на то эти бестии и созданы. Но глумиться над собой — дай им только волю, они тебя задавят своей конской силой и звериными объятиями!

Дебора между тем тянулась всем телом к Марии, прижалась к ней грудями и пыталась опрокинуть. Но Мария вскочила вдруг, выпрямилась, как тростник, протянув руки вверх, упруго перегнулась назад, а потом подалась вперед, опуская руки на ее черные плечи.

Невольница обняла госпожу под мышками и, не оставляя объятий, скользила ими все ниже и ниже, целуя страстно ее шею, груди, бедра и, наконец, упала на колени, не помня себя от упоения, блуждала губами и дальше...

По белому телу Марии пробежала видимая мелкая дрожь, она лихорадочно затрепетала, сжала колени и, с силою погрузив пальцы в жесткие волосы прислужницы, отстранила голову...

Откинутое назад лицо Деборы выглядело точно черная маска. Из-под губ, искривленных страдальческой улыбкой, дико сверкали острые зубы, оскаленные до клыков; в закатившихся, точно у слепой, белках глаз блестели крупные слезы.

— Ты страшна, как Астарта, — прошептала с жутким трепетом Мария, а потом, сжалившись, положила на ее губы кисть руки. Дебора стала жадно пить тепло ее пальцев, зашаталась и с глухим стоном упала к ногам Марии.

— Дебора, Дебора, — приводила ее в чувство Мария, трогая ногой теплое, спазматически вздрагивающее тело.

Невольница минуту лежала как мертвая, потом, наконец, поднялась на руках и встала, заслоняя лицо и глаза.

— Черна ты, как железо, а горишь легче, чем солома... Береги себя, похотница, а то ненадолго тебя хватит, — строго журила ее Мария. — Ну, не смущайся и кончай волосы, — прибавила она мягче.

Дебора еще дрожащими пальцами стала зачесывать косы высоко, на греческий манер, пользуясь, как левша, с одинаковой ловкостью обеими руками; она работала довольно долго, потому что у Марии было слишком много упрямых прядей, а она не любила носить множество завязок в косах и вместо широкой ленты на голове предпочитала одну сетку из тонких золотых нитей.

Когда Дебора окончила, Мария подошла к изящному, дорогому овальному зеркалу из полированной меди и насмотрелась на собственное отражение.

В высокой прическе, точно в золотом шлеме, она выглядела действительно обаятельно, напоминая мраморную статую богини Победы. Она рассматривала себя долго и с наслаждением; наконец, ее полные, никогда не смыкающиеся губы раскрылись в торжествующей кокетливой улыбке, обнажая мелкие ровные, как две нити жемчуга, зубы.

— Морщинка у меня, морщинка! — вскрикнула она с деланым испугом, указывая Деборе на прелестную складку вокруг дивно поставленной шеи, — а вот тут темное пятнышко, — притворно горевала она над очаровательной родинкой, притаившейся в золотистом пуху под левой рукой.

Она взглянула на груди и, видя чуть-чуть набухшие розовые бутоны, шаловливо прикрикнула:

— Не прыгать, голубки, а то дам вам по клювику — побила она их пальцами, так что обе затрепетали, как упругая сталь...

Дебора тем временем наливала в воду масла; но Мария не хотела купаться, а велела только облить себя и вытереть досуха мохнатой тканью. Делая это, Дебора рассказала ей, что где случилось, кто о ней спрашивал, сообщила о присланном подарке молодого Натейроса, сына богатого Сомиуса. Это был бронзовый подсвечник, изображавший стоящую на руках танцовщицу; непристойно растопыренные ноги служили вставками для свечей, посередине была вделана маленькая лампада. Мария смеялась над веселым остроумием мастера, любуясь тонкой резной работой.

Окончив укладывание, Дебора вынула шкатулку с румянами; но госпожа велела ее закрыть и подать деревянные сандалии, золотую цепочку на шею и голубое платье с разрезными рукавами, застегивавшееся золотой пряжкой на левом плече и свободно ниспадавшее на грудь и спину, чуть-чуть открывая стан немного выше талии.

— А сегодня никого не было? — спросила она.

— Был какой-то человек из Галилеи.

— Из Галилеи? — обрадовалась Мария, вспомнив прекрасную страну, где она провела детство и раннюю юность. — Где же он?

— В саду, с Марфой и Лазарем, — ответила Дебора, завязывая бантом ремни сандалий.

— Убери в комнате, — бросила Мария и, закрываясь от ослепительного солнца веером из пальмового листа, побежала по каменным ступенькам искать галилеянина.

Услыхав удивленные голоса, она направилась в сторону тенистой магнолии и издали увидела силуэт внимательно слушавшей Марфы, сгорбленную фигуру задумчиво прислонившегося к дереву Симона, лежавшего на циновке бледного Лазаря и оживлен-

17 Заказ 773

ные жесты длинных рук сидевшего к ней спиной мужчины.

Она подошла ближе и вся затрепетала — она узнала крупные черты и широкие плечи в заплатанном грубом, вылинявшем на солнце верблюжьем плаще: это был Иуда из Кариот, которого она не видела с тех пор, как он таинственно покинул ее.

Лазарь, увидев Марию, радушно улыбнулся, окидывая восхищенным взором ее дивную фигуру. Оглянулся и Иуда, встал и приветствовал ее словами:

— Предвечный с тобой!

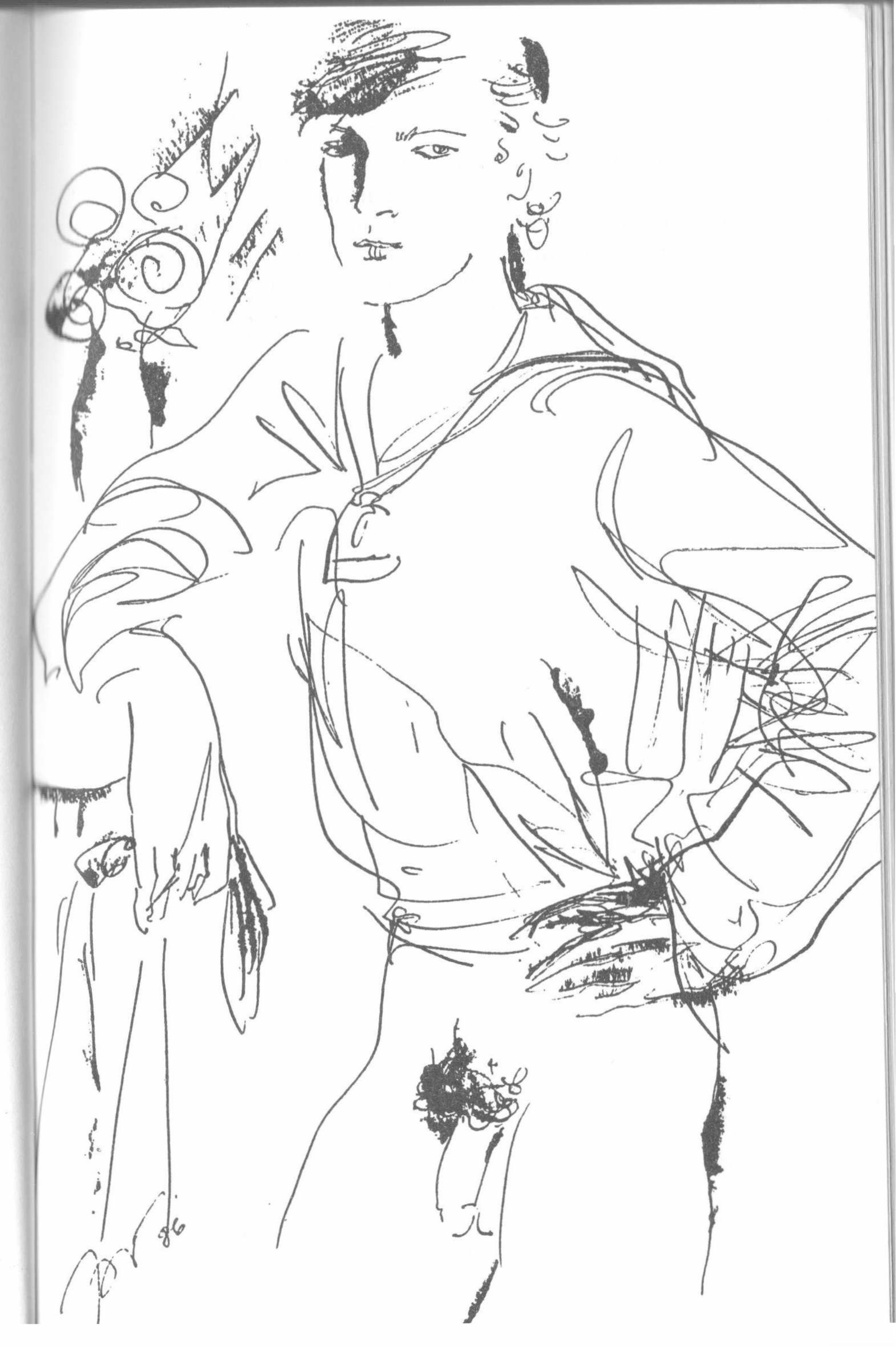
— Да благословит тебя предвечный, — ответила обычным приветствием Мария глухим от внутренней тревоги голосом.

— Садись, слушай, — предложила сестра Марфа. — Иуда принес интересные новости.

Мария послушно села, опуская, точно легкую завесу, свои длинные ресницы на глаза. Только когда Иуда начал говорить, она вскинула на него мимолетный взгляд.

Он мало изменился: это было то же самое опаленное солнцем и ветром лицо, подвижное, сильное, с глубокими неопределенного цвета глазами, смотревшими проницательно и немного вызывающе из-под густых нависших бровей; большой крючковатый нос придавал ему хищное выражение, выдающиеся челюсти с чувственными губами, козлиная борода, выступающие на лбу шишки, напоминавшие рога, рыжие волосы делали его похожим на сатира; это впечатление усиливали еще волосатые ноги в грубых сандалиях, напоминавших копыта, до того запыленные, что на них трудно было различить ремни.

— С берегов тихого Генисаретского озера, — продолжал он свой рассказ, — возносится новый свет. Сейчас он пока напоминает только разливаю-





щуюся утреннюю зарю, но завтра, может быть, это будет огонь, свинцовая туча, гром и землетрясение.

— Говорят, необыкновенный пророк явился в наших краях. Сын, помнишь, плотника Иосифа и красавицы Марии, дочери Анны и Иоахима, Назареянин, Иисус зовут его, — объяснил Марии, о чем идет речь, Лазарь.

МАНН

Томас Манн (1875—1955) — немецкий писатель и публицист. Лауреат Нобелевской премии (1929). С 1933 г. жил в Швейцарии, затем — в США. Творчество Т. Манна остается в центре внимания мировой художественной литературы. Испытал огромное влияние классической русской литературы, которую он называл «священной». Во многих произведениях ощущается влияние идей философии З. Фрейда («Смерть в Венеции», «Волшебная гора», «Избранник» и др.). Самым значительным произведением последнего периода творчества Манна является роман «Доктор Фаустус» (1947), посвященный осмыслению судеб духовной культуры человечества. Перу писателя принадлежит ряд трудов, посвященных исследованию творчества Л. Толстого и Ф. Достоевского.

ТОНИО КРЁГЕР

У обоих были переброшены через плечо сумки с книгами, оба были хорошо и тепло одеты: Ганс — в бушлат с выпущенным наружу синим воротником матроски, Тонио — в серое пальто с кушаком. Ганс по обыкновению был в датской матросской шапочке с короткими лентами, из-под которой выбивалась прядь белокурых волос. Статный, широкоплечий, узкобедрый, с открытым и ясным взглядом серо-голубых глаз он был очень хорош собой. Под круглой меховой шапкой Тонио виднелось смуглое, тонкое лицо южанина и глаза с тяжелыми веками; оттененные чуть заметной голубизной, они мечтательно и немного робко смотрели на мир... Рот и подбородок Тонио отличались необыкновенно мягкими очертаниями. Походка у него была небрежная

и неровная, тогда как стройные ноги Ганса, обтянутые черными чулками, шагали упруго и четко.

Тонио не говорил ни слова. У него было тяжело на сердце. Нахмурив разлетные брови, вытянув губы, как бы для того, чтобы свистнуть, и склонив голову набок, он сурово смотрел вдаль. Этот наклон головы и хмурое выражение лица были характерны для него...

Тонио любил Ганса Гансена и уже немало из-за него выстрадал. А тот, кто сильнее любит, всегда в накладе и должен страдать, — душа четырнадцатилетнего мальчика уже вынесла из жизни этот простой и жестокий урок; по самой своей натуре он очень дорожил такими житейскими наблюдениями, внутренне как бы брал их на заметку, даже радовался им, хотя отнюдь ими не руководствовался и никаких практических выводов для себя из них не делал...

Он любил его прежде всего за красоту; но еще и за то, что Ганс решительно во всем был его противоположностью. Ганс Гансен прекрасно учился, был отличным спортсменом, ездил верхом, занимался гимнастикой, плавал, как рыба, и пользовался общей любовью.

Учителя, можно сказать, души в нем не чаяли, звали его по имени, всячески поощряли, товарищи заискивали в нем, мужчины и дамы, встречаясь с ним на улице, гладили белокурые пряди, выбивающиеся из-под его детской матросской шапочки, и говорили:

— Здравствуй, Ганс Гансен, что за славные у тебя кудри! Ну, как? Все еще первый ученик? Молодчина! Кланяйся маме и папе, мой мальчик!

Таким был Ганс Гансен, и Тонио Крёгер, смотря на него, всякий раз ощущал завистливое томление. Оно гнездилось где-то повыше груди и жгло его

сердце. «Ну, у кого еще могут быть такие голубые глаза; кто, кроме тебя, живет в таком счастливом единении со всем миром? — думал Тонио. — Ты всегда находишь себе благопристойные, респектабельные занятия. Покончив с приготовлением уроков, ты отправляешься в манеж или выпиливаешь из дерева какие-нибудь вещички; даже во время каникул у моря ты по горло занят греблей, катаньем под парусом или плаваньем, тогда как я праздно валяюсь на песке, всматриваясь в таинственные изменения, что пробегают по лику моря. Поэтому так ясны твои глаза. Быть таким, как ты...»

...Ганс видел, что Тонио кое в чем его превосходит, например, в известной изощренности речи, позволяющей ему высказывать необычные мысли, и к тому же Ганс хорошо понимал, что столкнулся здесь с чувством, необычно сильным и нежным, и умел быть благодарным; он доставлял Тонио немалую радость своим дружелюбием, но также и муки: ревность, разочарование, горечь от безнадежных попыток установить наконец духовную общность. Примечательно, что Тонио, завидовавший душевному складу Ганса Гансена, все же пытался постоянно приобщить его к своим интересам, что ему удавалось разве что на мгновение, а скорей и вовсе не удавалось...

— Я прочитал одну изумительную, потрясающую вещь... — говорил он. Они шли и на ходу лакомились из кулечка леденцами, купленными за десять пфеннигов у бакалейщика Иверс на Мельничной улице.

— Ты должен прочесть ее, Ганс, это «Дон Карлос» Шиллера... я тебе дам его, если хочешь...

— Да нет уж, Тонио, куда мне! — отвечал Ганс Гансен. — Лучше я останусь при своих книгах о лошадях. Иллюстрации там, доложу я тебе, первый

сорт. Придешь, я тебе покажу. Это моментальные снимки, на них видишь лошадей, идущих рысью, галопом, берущих препятствия — в таких положениях, которые обычно и не успеваешь заметить из-за быстроты...

Белокурая Инге, Ингеборг Хольм, дочь доктора Хольма, жившего на рыночной площади, посреди которой высился островерхий и затейливый готический колодец, была та, кого Тонио Крегер полюбил в шестнадцать лет.

Как это случилось? Он сотни раз видел ее и раньше. Но однажды вечером, в необычном освещении, он увидел, как она, разговаривая с подругой, задорно засмеялась, склонила голову набок, каким-то своим, особым, жестом поднесла к затылку руку, и при этом белый кисейный рукав, соскользнув, открыл ее локоть, услышал, как она со свойственной только ей интонацией проговорила какое-то слово, обыкновенное незначащее слово, но в голосе ее послышались теплые нотки — и его сердце в восхищении забилось куда более сильно, чем некогда, когда он еще несмышленым мальчишкой глядел на Ганса Гансена.

В тот вечер он унес с собой ее образ: толстые белокурые волосы, миндалевидные, смеющиеся синие глаза, чуть заметная россыпь веснушек на переносице. Он долго не спал, все ему слышались теплые нотки в ее голосе; он пытался воспроизвести интонацию, с какой она проговорила то незначащее слово, и вздрогнул. Опыт подсказал ему, что это любовь. И хотя он знал, что любовь принесет с собой много мук, горестей и унижений, что она нарушит мир в его сердце, наводнит его мелодиями и он лишится покоя, который нужен для всякого дела, для того чтобы в тишине создать нечто целое, он все же радостно принял ее, предался ей всем

существом, стал ее пестовать всеми силами души, ибо знал: любить — это богатство и жизнь, а он больше стремился быть богатым и жить, чем созидать в тишине.

Итак, Тонио Крегер влюбился в резвую Инге Хольм: случилось это в гостиной консульши Хустеде, откуда в тот вечер была вынесена мебель, так как у Хустеде происходил урок танцев; на этих уроках отпрыски лучших семейств города обучались танцам и хорошим манерам...

Не раз стоял он, разгоряченный, в каком-нибудь укромном уголке, куда едва-едва доносилась музыка, аромат цветов и звон бокалов, силясь в отдаленном шуме праздника уловить твой звонкий голос, страдал из-за тебя и все же был счастлив. Не раз он мучился тем, что с Магдаленой Вермерен, которая вечно падала, ему было о чем говорить, и она его понимала, отвечала серьезностью на серьезность и смеялась, если он был весел, тогда как белокурая Инге, даже сидя рядом с ним, оставалась далекой и чужой, ибо язык, на котором он говорил с ней, не был ее языком. И все же он был счастлив. Ведь счастье, уверял он себя, не в том, чтобы быть любимым; это дает удовлетворение, смешанное с брезгливым чувством, разве что суетным душам. Быть счастливым — значит любить, ловить мимолетные, быть может, обманчивые мгновения близости к предмету своей любви. Он записал в памяти эту мысль, вник в нее, прочувствовал ее до конца.

«Верность! — подумал Тонио Крегер. — Я буду верен тебе, буду любить тебя, Ингеборн, покуда я жив!» Намерения у него были самые благие. Но какой-то боязливый и печальный голос нашептывал ему, что ведь позабыл же он Ганса Гансена, хотя и видел его ежедневно. А самое гадкое и постыдное заключалось в том, что этот тихий и лукавый голос

говорил правду: пришло время, когда Тонио Крегер уже не был готов в любую минуту безропотно умереть за веселую Инге, ибо он чувствовал в себе потребность и силу совершить в этой жизни, — на свой лад, конечно, — немало значительного.

Он кружил вокруг алтаря, на котором пылало пламя любви, преклонял перед ним колена, бережно поддерживал и питал это пламя, ибо хотел быть верным. Но прошло еще немного времени, и священный огонь, без вспышек и треска, неприметно угас.

А Тонио Крегер продолжал стоять перед остывшим жертвенником, изумленный и разочарованный тем, что верности на земле не бывает. Затем он пожал плечами и пошел своей дорогой...

Проходили дни. Сколько их прошло, он не мог бы сказать и не пытался установить. Но затем случилось из ряда вон выходящее, — случилось среди бела дня, в присутствии других людей, и Тонио Крегер не очень удивился...

За вторым завтраком... Тонио Крегер наконец поинтересовался, что здесь, собственно, происходит.

— Гости, — отвечал рыботорговец... — Они прибыли на лодках и в экипажах и сейчас завтракают...

Тут это и случилось: через столовую прошли Ганс Гансен и Ингеборн Хольм.

Тонио Крегер, приятно утомленный купанием и быстрой ходьбой, усевшись поудобнее, ел копченую лососину с поджаренным хлебом; лицо его было обращено к веранде и морю. И вдруг дверь отворилась и рука в руку, неторопливо вошли эти оба. Ингеборн, белокурая Инге, была одета в светлое легкое платье в цветочках, точно на уроке танцев господина Кнаака; оно доходило ей до щиколоток, ворот «сердечком» был отделан белым тюлем, не закрывавшим ее мягкой, гибкой шеи. На руке у

нее на двух связанных лентах висела шляпа. Инге выглядела разве что несколько взрослее, и длинная ее коса была уложена вокруг головы. Зато Ганс Гансен не изменился нисколько. На нем по-прежнему был бушлат с золотыми пуговицами и выпущенным из-под него матросским воротником; матросскую шапочку с короткими лентами он держал в опущенной руке и беззаботно помахивал ею. Ингеборн отвела в сторону свои миндалевидные глаза, видимо, стесняясь устремленных на нее взглядов. Зато Ганс Гансен, целому свету наперекор, вызывающе и немного презрительно оглядел всех сидевших за столом; он даже отпустил руку Ингеборн и стал еще энергичнее размахивать бескозыркой: смотрите, мол, вот каков я! Так прошли эти двое перед глазами Тонио Крегера на фоне нежно голубеющего моря, прошли по всей столовой и скрылись за противоположной дверью в комнате, где стоял рояль...

Он снова видел их и содрогнулся от радости, заметив обоих сразу. Ганс Гансен стоял у двери, совсем близко от него. Широко расставив ноги и слегка нагнувшись вперед, он спокойно уплетал громадный кусок песочного торта, держа руку горстью у подбородка, чтобы не просыпать крошек. А там, у стены, сидела Ингеборн Хольм, белокурая Инге. Почтовый чиновник как раз подлетел к ней, чтобы изысканным поклоном, заложив одну руку за спину, а другой грациозно касаясь груди, пригласить на танец. Но она в ответ только покачала головой и объяснила, что очень запыхалась и должна немного передохнуть, после чего кавалер уселся рядом с нею.

Тонио Крегер смотрел на тех, кого он так страдальчески любил когда-то, на Ганса и Инге. Он любил их обоих не в силу каких-то свойств, им одним присущих, или их схожей манеры оде-

ваться, — его пленяло в них тождество расы, типа принадлежности к одной и той же породе людей — светлых, голубоглазых, белокурых, породе, вызывающей представление о чистоте, неомраченном благодушии, веселости, простом и горделивом целомудрии... Он видел их, видел, как Ганс, широкоплечий, узкобедрый, еще более здоровый и стройный, чем в ту далекую пору, стоял там в матросском костюме, видел, как Инге, лукаво смеясь, по-особенному подняла и закинула за голову руку, не слишком узкую, не слишком изящную руку девочки-подростка, и при этом движении рукав соскользнул с ее локтя. И вдруг тоска по родине с такой силой сдавила ему грудь, что он непроизвольно еще глубже попятился в темноту, чтобы никто не заметил нервного подергивания его лица...

«Разве я забыл вас? — спрашивал он себя. — Нет, я никогда вас не забывал! Ни тебя, Ганс, ни тебя, белокурая Инге! Ведь это для вас я работал, и, когда мой труд вознаграждался рукоплесканиями, я потихоньку оглядывался, нет ли среди рукоплещущих вас обоих...

Прочитал ли ты «Дон Карлоса», Ганс Гансен, как ты мне обещал у калитки? Нет, не читай его! Я этого больше с тебя не спрашиваю. Что тебе до короля, который плачет от одиночества? Не надо, чтобы твои ясные глаза туманились, подергивались сонной одурью от упорного чтения стихов и от меланхолии... Быть таким, как ты! Начать все сначала, вырасти похожим на тебя, честным, веселым и простодушным, надежным, добропорядочным, в ладу с богом и людьми; быть любимым такими же чистыми сердцем счастливцами, взять в жены Ингеборн Хольм, и иметь сына, такого, как ты, Ганс Гансен, жить свободным от проклятья познания и творческих мук, любить и радоваться блаженной

заурядности. Начать сначала. Но стоит ли? Это ни к чему не приведет. Все будет, как было. Ведь иные сбиваются с пути только потому, что для них верного пути не существует».

ВОЛШЕБНАЯ ГОРА

Затем спящему приснилось, что он на школьном дворе, где столько лет проводил перемены между уроками... И тогда он перенесся в раннюю пору своей жизни...

Тринадцатилетним четырехклассником, когда он еще носил короткие штанишки, он однажды остановился среди школьного двора, разговаривая с другими мальчиками примерно того же возраста, но из следующего класса. Разговор затеял Ганс Касторп, воспользовавшись случайным поводом, и хотя по своему вполне определенному и ограниченному содержанию разговор этот мог быть только очень деловым и коротким, он доставил Гансу Касторпу огромную радость. Это произошло как раз в перемену между предпоследним и последним уроком в классе Ганса Касторпа — между историей и рисованием. По двору, вымощенному красным кирпичом и отделенному от улицы оградой и воротами, ученики гуляли парами и рядами, стояли кучками или полусидели, прислонившись к облицованным выступам школьного здания. По двору разносился громкий гул. Учитель в мягкой шляпе смотрел за школьниками и жевал булку с ветчиной.

Фамилия мальчика, с которым беседовал Ганс Касторп, была Хиппе, имя Прибыслав; интересно было то, что буква «р» в этом имени произносилась как «ш» — «Пшибыслав»; это странное имя подходило к его наружности — не вполне обычной и действительно своеобразной. Хиппе был сыном ис-

торика, преподавателя гимназии, а потому и образцовым учеником, уже опередившим на класс Ганса Касторпа, хотя они были почти ровесниками; он родился в Мекленбурге и, видимо, унаследовал от предков смешанную кровь — германскую и вендо-славянскую, или наоборот. Его коротко остриженные волосы на круглой голове были белокурыми, а глаза голубовато-серые, подобно изменчивому и неопределенному цвету далеких гор, имели необычную форму: они были узкие и даже чуть раскосые, а под ними резко выступали широкие скулы — склад лица, отнюдь не уродовавший мальчика и делавший его даже привлекательным, но послуживший достаточным основанием для того, чтобы товарищи прозвали его «Киргизом». Хиппе носил уже длинные брюки и наглухо застегнутую синюю куртку с хлястиком, на воротнике которой всегда чуть белела перхоть.

Дело было в том, что Ганс Касторп уже давно обратил внимание на Прибыслава, выделил его из кишевшей на школьном дворе толпы знакомых и незнакомых мальчиков, интересовался им, следил за ним взглядом, может быть, даже восхищался им... Во всяком случае, он наблюдал за Хиппе с особой симпатией, уже по дороге в школу думал о том, что вот сейчас увидит Хиппе среди его товарищей. Пшибыслав будет говорить и смеяться. Ганс Касторп уже издали различит его голос, приятно глуховатый, словно затуманенный, чуть-чуть хриплый. Для такой заинтересованности как будто не было оснований, если не считать его языческого имени, примерных успехов (хотя это не могло играть никакой роли) и, наконец, киргизских глаз мальчика, которые порой, когда Пшибыслав смотрел в сторону, но не с целью что-либо увидеть, странно темнели и как будто томно затуманивались ночной

дымкой; однако Ганс Касторп мало заботился о моральном оправдании своих ощущений или о том, как их в случае надобности определить, — ведь о дружбе между ними не могло быть и речи, раз они с Хиппе «незнакомы». А тогда зачем искать названия для этих отношений? Он и мысли не допускал, что когда-нибудь о них заговорит, тема слишком неподходящая, да и к чему? Кроме того, всякое определение, если оно и не содержит критической оценки, все же вводит свой предмет в круг знакомого и привычного, а Ганс Касторп был проникнут бессознательной уверенностью, что такое внутреннее сокровище надо оберегать от всяких определений и не приобщать к будничному и повседневному.

Однако, оправданные или нет, эти безымянные и невыразимые чувства обладали такой жизненной силой, что Ганс Касторп примерно год, почти целый год, — втайне носился с ними, что служило доказательством верности и постоянства его натуры, особенно если представить себе, какой это громадный срок в юном возрасте. К сожалению, когда мы говорим о тех или иных особенностях характера, в наших словах всегда скрыта моральная оценка, либо хвала, либо порицание, хотя у каждой такой особенности всегда есть две стороны. «Верность» Ганса Касторпа, которой он, однако, ничуть не гордился, — сейчас мы оставляем в стороне всякие оценки, — проистекала от некоторой душевной неповоротливости, медлительности, инертности, вследствие чего преданность чувств и устойчивость жизненных отношений казалась ему тем почтеннее, чем дольше они оставались неизменными. Поэтому он был уверен, что настроения и переживания, владевшие им в то время, будут продолжаться бесконечно, оттого и дорожил ими и отнюдь не жаждал перемен. Так он в сердце своем сжился с далеким

и тихим чувством к Пшибыславу Хиппе и считал его неотъемлемой частью своей внутренней жизни. Он любил те душевные движения, которые вызывало в нем это чувство, — напряженное ожидание, увидит ли он сегодня Хиппе, пройдет ли тот совсем близко от него и, может быть, взглянет на него, любил немые хрупкие радости, какие дарила ему его тайна, и даже неизбежные в таких случаях разочарования, — самое сильное он испытал, когда Пшибыслав «отсутствовал»; школьный двор казался ему опустевшим, день — тусклым, но упорная надежда на завтра поддерживала его.

Продолжалось это год, пока не достигло упомянутой высшей и волнующей точки, потом благодаря постоянству и верности Ганса Касторпа еще год, и наконец прекратилось, причем, он так же не заметил, как ослабели и исчезли узы, связывавшие его с Пшибыславом Хиппе, как не заметил и их зарождения. Да и Пшибыслав покинул этот город и школу оттого, что его отца перевели в другое место; но Ганс Касторп едва обратил на это внимание, он забыл Хиппе еще раньше. Образ «Киргиза», как бы выступив из тумана, вошел в его жизнь, становясь постепенно все яснее и осязаемее, вплоть до той минуты величайшей близости и телесной воплощенности, когда они разговаривали во дворе, некоторое время продержался на переднем плане, а затем снова начал отступать и без боли прощания исчез в тумане.

Но та минута, то опасное и волнующее положение, в которое себя поставил Ганс Касторп, разговор, реальный разговор с Пшибыславом Хиппе — все это возникло следующим образом: предстоял урок рисования, а Ганс Касторп обнаружил, что забыл дома карандаш. Всем его одноклассникам их карандаши были нужны; однако у него были знакомые

18 Заказ 773

мальчики в других классах, и он мог бы попросить карандаш у них. Но в глазах Ганса Касторпа Пшибыслав был самым близким знакомым — ближайшим, так глубоко он уже общался с ним в тайниках своего сердца; и вот, почувствовав какой-то радостный подъем, он решил воспользоваться удобным случаем — он назвал это про себя удобным случаем — и попросить у Пшибыслава карандаш. Что такая просьба будет выглядеть довольно странно — ведь он с Хиппе все-таки незнаком, — этого мальчик не сообразил или махнул на это рукой, так он был захвачен и ослеплен каким-то неожиданно нахлынувшим на него бесшабашным настроением. И вот на вымощенном красным кирпичом дворе, среди школьной толчеи, он действительно остановился перед Пшибыславом Хиппе и сказал:

— Извини, пожалуйста, ты не можешь одолжить мне карандаш?

И Пшибыслав посмотрел на него своими киргизскими глазами над выступающими скулами и ответил приятно-хрипловатым голосом, ничуть не удивившись или не высказав никакого удивления:

— С удовольствием. Только после урока непременно верни. — И он достал из кармана свой карандаш — тоненькую посеребренную гильзу с колечком, которое достаточно было передвинуть кверху, и тогда из металлического футляра показывался заостренный грифелек. Он стал объяснять несложный механизм карандаша, и их головы сблизились.

— Только смотри не сломай! — добавил Хиппе.

К чему эти предупреждения? Разве Ганс Касторп мог не вернуть карандаш или допустить в обращении с ним малейшую небрежность?

Потом они, улыбаясь, посмотрели друг на друга и, так как говорить было больше не о чем, повер-

нулись друг к другу сначала боком, потом спиной и разошлись в разные стороны.

И все. Но ни разу еще в своей жизни Ганс Касторп не испытывал такого удовольствия, как на этом уроке рисования, — ведь он рисовал карандашом Пшибыслава Хиппе, да еще предстояло потом снова возвратить карандаш его владельцу, этот возврат, как нечто само собой разумеющееся, совершенно естественно вытекал из того факта, что карандаш был дан. Ганс Касторп даже позволил себе небольшую вольность слегка очинить карандаш, а потом, подобрав три-четыре красных лакированных стружки, хранил их чуть не целый год во внутреннем ящике своей парты, и если бы кто их увидел, никому и в голову не пришло, что они ему дороги. Впрочем, возврат карандаша совершился очень просто, вполне во вкусе Ганса Касторпа, да он ни к чему иному и не стремился: привычка к тайному и безмолвному общению с Хиппе притупила в нем желание разговаривать с ним вслух.

— Вот, — сказал он. — Большое спасибо.

А Пшибыслав ничего не сказал, он лишь бегло проверил механизм, затем сунул карандаш в карман...

После этого случая они больше ни разу друг с другом не беседовали, но благодаря предприимчивости Ганса Касторпа в тот единственный раз это все же случилось...

ПРИЗНАНИЕ АВАНТЮРИСТА ФЕЛИКСА КРУЛЯ

...я хлебнул с ней немало горя. И надо же было, чтобы в это самое время разыгралась еще история с лордом Килмарноком! Испытание, пожалуй, куда более трудное, ибо я здесь столкнулся уже не с

озорной влюбленностью маленькой упрямицы, а с личностью, чьи чувства немало весили на весах человеческих, так что я не мог советовать ему юмористически отнестись к ним или сам над ним подсмеиваться. Не знаю, как другие, но я этого не мог.

Лорд, проживавший у нас уже две недели и неизменно садившийся за один из моих столиков, был человек лет пятидесяти с небольшим, весьма аристократической внешности: среднего роста, стройный, необыкновенно аккуратно одетый, с еще густыми седеющими волосами, тщательно расчесанными на пробор, и с закрученными кверху тоже полуседыми усами над удивительно красивым ртом. Зато его толстый нос, что называется «картошкой», отнюдь не отличался аристократизмом и как-то тяжело выступал вперед, образовывая сплошную линию с несколько косо очерченными бровями и серо-зелеными глазами, казалось, трудно открывавшимися. Но если это и производило неприятное впечатление, то оно вытеснялось необыкновенно гладко, до последней мягкости выбритыми щеками и подбородком, слегка блестевшим от крема, которым лорд натирался после бритья. Платок он свой душил какой-то никогда мне больше не встречавшейся фиалковой водой, естественно и прелестно пахнувшей весенней свежестью.

Когда он входил в зал, в нем замечалась странная застенчивость, не вязавшаяся с важной и аристократической внешностью, но, по крайней мере в моих глазах, ничуть ей не вредившая. Столько достоинства было в этом человеке, что такая его манера держаться заставляла разве что предполагать в нем какую-то странность, которая, по его ощущению, должна была привлекать к нему назойливое внимание. Голос у него был очень мягкий, и я

старался еще мягче отвечать ему, лишь много позднее осознав, что это было нехорошо с моей стороны. Дымка меланхолической задумчивости и приветливости окружала этого, видимо, много страдавшего человека. Я не мог быть к нему жестокосердным. Я был очень приветлив, обслуживая его. Но ему это пошло во вред. Правда, он почти не смотрел на меня, и в то время как я подавал на стол, мы обменивались лишь краткими замечаниями о погоде или меню, которыми вначале ограничивались наши беседы; да он и вообще берег свои взгляды, скупился на них, словно опасаясь, что они поставят его в неловкое положение. С неделю наши отношения сводились к учтивым пустым разговорам, но затем я с удовольствием, не чуждым тревоги, убедился, что он проявляет ко мне участливый интерес. Неделя — это тот минимум времени, который нужен человеку, чтобы заметить, что в его ежедневном общении с кем-то произошли разительные перемены, в особенности если собеседник так бережно расходует каждый свой взгляд.

Он стал расспрашивать, давно ли я служу, откуда родом, сколько мне лет, и, узнав мой возраст, пожал плечами с растроганным «Бог мой» или «Боже милостивый» — он одинаково хорошо говорил по-французски и по-английски. Если я немец по происхождению, полюбопытствовал он, то почему мое имя Арман? Я отвечал, что имя Арман присвоено мне по желанию начальства, на самом же деле я зовусь Феликс.

— Какое красивое имя! — воскликнул он. — Будь на то моя воля, я бы его вам возвратил.

И добавил — при его высоком положении мне это показалось признаком известной неуравновешенности, — что его при крещении нарекли Нектаном, по имени некоего короля пиктов, коренных обита-

телей Шотландии. Я изобразил на своем лице почтительный интерес, но тут же недоуменно спросил себя, на что мне, собственно, знать, что его зовут Нектан? Ведь я-то обязан называть его милорд?

Мало-помалу я узнал, что он живет в Эбердине в своем родовом замке вместе с сестрой, женщиной уже немолодой и, увы, очень болезненной, что, кроме того, у него есть летняя резиденция на одном из озер шотландской возвышенности, в местности, где еще говорят на галлском наречии (он тоже немного знает его) и где природа очень красива и романтична: отвесные склоны, пропасти, воздух, напоенный пряным ароматом вереска. Окрестности Эбердина, сказал он, тоже очень хороши. В самом городе имеются все виды развлечений для любителей развлекаться, и с моря всегда веет бодрящим соленым воздухом.

На следующий день он рассказал мне, что любит музыку и сам играет на органе, но в горной своей резиденции довольствуется фисгармонией.

Все эти сведения я почерпнул не из связного разговора, а исподволь, от случая к случаю; и, за исключением «Нектана», в них не было ничего излишнего ничего, что не мог бы рассказать кельнеру любой одинокий путешественник, не имеющий других собеседников. Сообщал же он их мне главным образом за вторым завтраком, так как предпочитал, не спускаясь в кафе, сидеть за своим столиком в почти пустом зале, курить египетские сигареты и пить кофе. Кофе он, как правило, выпивал несколько чашечек, но, кроме того, ничего другого не пил и почти не ел. Лорд вообще ел так мало, что оставалось только удивляться, чем он жив: консоме, суп из телячьей головы или бычьих хвостов быстро исчезали из его тарелки. Что касается всех остальных кушаний, которые я приносил ему, то, отведав

кусочек-другой, тотчас же закуривал сигарету, предоставляя мне уносить их почти нетронутыми. В конце-концов я даже не удержался и с огорчением сказал:

— Но вы ничего не кушаете, милорд. Шеф будет очень обижен, если вы станете так пренебрегать нашими блюдами.

— Что делать, нет аппетита, — отвечал он. — И никогда не было. Я всю жизнь испытывал отвращение к приему пищи. Возможно, это признак известного самоотрицания.

Я никогда не слышал этого слова, оно испугало меня и заставило из вежливости воскликнуть:

— Самоотрицание! О, нет, милорд, тут никто с вами не согласится. Напротив, в этом случае каждый постарается вас опровергнуть!

— Вы полагаете? — спросил он, медленно поднимая глаза от тарелки и глядя мне прямо в лицо. В этом взгляде, как всегда, было что-то принужденное, преодоление чего-то мне неизвестного. Только на этот раз я видел, что усилие такого преодоления ему приятно. На губах его появилась меланхолическая усмешка, от этого еще резче выступил вперед тяжеловесный и несообразно большой нос.

«Подумать только, что у человека может быть такой прекрасный рот, а нос картошкой», — мелькнуло у меня в голове.

— Да, — не без смущения подтвердил я.

— Возможно, дитя мое, — заметил он, — что самоотрицание способствует утверждению личности другого.

С этими словами он встал и вышел из зала. Погруженный в размышления, я остался у своего столика, который мне предстояло убрать и снова накрыть.

Не подлежало сомнению, что встречи со мной несколько раз на дню шли лорду во вред. Но я не мог отменить их, не мог сделать их безвредными, хотя изгнал из своего обращения оттенок ласковой предупредительности, стал холоден и официален, раня чувства, мною же возбужденные. Потешаться над ними я, конечно, не мог, тем более не мог их принять по существу. Итак, я переживал сложный внутренний конфликт, грозивший превратиться в искус, когда лорд Килмарнок сделал мне неожиданное предложение, неожиданное, впрочем, только в смысле делового его содержания.

Случилось это к концу второй недели за послеобеденным кофе. Небольшой оркестр расположился у самого входа в зал за группой пальм. Вдали от него, на другом конце зала, лорд облюбовал себе столик, несколько на отлете, за который садился уже не впервые, и я немедленно подал ему кофе. Когда мне пришлось снова пройти мимо него, он попросил сигару. Я принес два ящика окольцованных и неокольцованных сигар. Взглянув на них, он спросил:

— Какие же мне выбрать?

— Фирма, — отвечал я, указывая на окольцованные, — особенно рекомендует вот эти, но я лично посоветовал бы другие.

Сам того не желая, я спровоцировал его куртуазный ответ:

— В таком случае, я последую вашему совету, — сказал он, но не взял у меня из рук ни того, ни другого, хотя и не отрывал от них своего взгляда.

— Арман, — тихо проговорил он, так тихо, что оркестр почти заглушил его голос.

— Милорд?

Он назвал мое другое имя:

— Феликс?

— Что угодно милорду? — с улыбкой отвечал я.

— Не хотели бы вы, — донеслось до меня, хотя он продолжал смотреть на сигары, — переменить вашу нынешнюю должность на должность камердинера?

Вот оно самое!

— То есть как, милорд? — отозвался я, притворяясь непонимающим. Он предпочел бы услышать: «У кого?» — и, слегка передернув плечами, ответил:

— У меня. Все очень просто. Вы поедете со мной в Эдинбург, в замок Нектанхолл. Сбросите ливрею и оденетесь в элегантный штатский костюм, что будет отличать вас от остальных слуг. В замке много разной прислуги; ваши обязанности сведутся только к обслуживанию моей особы. Вы всегда будете при мне — в замке и в моем летнем доме. Жалованье ваше, — добавил он, — раза в два или три превысит то, что вы получаете здесь.

Я молчал, и он ни единым взглядом не торопил мой ответ. Он даже взял из рук у меня оба ящичка и занялся сравнением того и другого сорта.

— Об этом, милорд, надо серьезно подумать, — наконец пробормотал я. — Стоит ли говорить, что ваше предложение — большая честь. Но все это так неожиданно. Я попрошу себе небольшой срок на размышление.

— Для размышления, — отвечал он, — у вас мало времени. Сегодня пятница, а я уезжаю в понедельник. Поедемте со мной! Я этого хочу.

Он взял одну из рекомендованных мною сигар, осмотрел ее, медленно поворачивая между пальцев, и поднес ее к носу. Ни один человек не мог бы догадаться, что он при этом произнес, а сказал он:

— Этого хочет мое одинокое сердце.

У кого достанет жестокости поставить мне в вину мое смятение? А все-таки я уже знал, что не решусь пуститься по этой боковой дорожке.

— Ваше лордство, — пробормотал я, — даю слово, что я сумею добросовестно использовать срок, предоставленный мне на размышление. — И поспешил уйти.

«Он курит, — подумал я, — хорошую сигару и запивает ее кофе. В высшей степени уютное занятие, а уют — все же малый сколок счастья. Временами приходится довольствоваться малым».

В этой мысли было подспудное желание прийти ему на помощь, и себе тоже. Но тут как раз наступили трудные дни, потому что после каждого завтрака, обеда и ужина, даже чая лорд поднимал на меня взор и спрашивал: «Итак?» Я же либо опускал глаза долу и поднимал плечи, словно на них наваливался тяжелый груз, либо вдумчиво отвечал:

— Я еще не пришел к окончательному решению.

Его прекрасный рот кривила горькая усмешка. Но даже если бы хрупкая на здоровье сестра лорда не пеклась ни о чем, кроме его счастья, то подумал ли он о той жалкой роли, которую мне пришлось бы играть среди многочисленной прислуги, упомянутой им, и даже среди галльского населения его родных гор? «Осыпать насмешками будут не прихотливого вельможу, — говорил я себе, — а игрушку его прихоти». И сострадая ему в глубине души, я тем не менее мысленно обвинял его в эгоизме...

— Феликс, — сказал он, — у вас нет больше времени на раздумья. Я еду завтра, с самого утра. Чтобы сопровождать меня в Шотландию, вам надо будет в течение ночи уложить свои вещи. Что вы решили?

— Милорд, — отвечал я, — я глубоко вам признателен. Прошу на меня не гневаться, но я не чувствую себя в силах справиться с должностью, которую вы мне предложили. Полагаю, что мне лучше будет заблаговременно от нее отказаться и не сворачивать со своего прямого пути.

— Первое ваше положение, — возразил он, — я всерьез принять не могу, что же касается всего остального, — он бросил взгляд на дверь... — то у меня создалось впечатление, что здесь у вас с делами покончено.

Мне пришлось собраться с духом и сказать:

— Я должен покончить еще с одним делом, милорд, и мне остается только пожелать вашему лордству счастливого пути.

Он опустил голову и вновь медленно поднял ее только затем, чтобы с мучительным самопреодолением посмотреть мне в глаза.

— А не боитесь вы, Феликс, — проговорил он, — принять решение, которое роковым образом отзовется на всей вашей жизни?

— Я принял его, милорд, именно потому, что боюсь этого.

— Иными словами, вы боитесь не справиться с должностью, которую я вам предлагаю? Тем не менее я остаюсь в полной уверенности, что вы заодно со мной считаете, что вам подобает куда более высокое место. В моем предложении содержатся возможности, которых вы, видимо, недоучитываете, отвечая мне отказом. Существуют случаи адаптации... Вы могли бы однажды проснуться лордом Килмарноком и наследником всего моего состояния.

Это был сногсшибательный довод! Он пустил в ход все свои средства. Сотни мыслей зароились у меня в мозгу, но в единую мысль — взять назад

свой отказ — они не складывались. Его предложение сулило мне жалкое лордство, жалкое в глазах людей и лишенное подлинного достоинства. Но не это было главное. Главное, что не ведающий сомнения инстинкт противился такой дареной и к тому же подмоченной действительности, предпочитая царство игры, то есть самовластие фантазии.

Когда я еще ребенком просыпался с твердым решением быть принцем по имени Карл и наслаждался этим чистым и чарующим вымыслом ровно столько, сколько мне хотелось, — это было настоящее, а не то, что в своих попечениях обо мне предлагал лорд со своим оцепенелым носом.

Я очень быстро и кратко суммировал мысли, молниеносно проносившиеся у меня в мозгу, и твердо заявил:

— Прошу прощения, милорд, если мой ответ вновь ограничится пожеланием вам счастливого пути.

Он побледнел, и я вдруг увидел, что у него дрожит подбородок.

Найдется ли человек, у которого достанет жестокости бранить меня за то, что и у меня покраснели, может быть, даже увлажнились глаза. Участие участием, но подлец тот, кто бы в ответ не испытал благодарности.

Я сказал:

— Милорд, не принимайте это так близко к сердцу! Вы встретились со мной, изо дня в день видели меня, моя юность внушила вам участие, и я всей душой благодарен вам. Но ведь с этим участием дело обстоит очень случайно — вы могли не менее участливо отнестись и к другому. Простите, мне не хотелось бы вам причинять боль или умалить честь, которую вы мне оказали, но пусть я такой, каков я есть — каждый ведь бывает таким, каков он есть, и только однажды, — но вокруг миллионы

людей одного со мной возраста и стати, и за исключением малой толики самобытности все мы одинаковы. Я знал женщину, в ней все мои сверстники гуртом возбуждали участие. По существу, это и с вами так. А молодые люди есть везде и всюду. Сейчас вы вернетесь в Шотландию, да разве они там хуже представлены и разве именно я вам нужен для проявления участия? Там они ходят в клетчатых юбочках и с голыми ногами, ведь это же прелесть что такое! Из них вы сумеете выбрать себе великолепного камердинера, вы будете болтать с ним по-галльски и под конец, возможно, усыновите его. Пусть поначалу это будет немножко нескладный лорд, потом он привыкнет, а все-таки он уроженец страны. Мне этот юноша представляется до того привлекательным, что я твердо уверен — знакомство с ним непременно заставит вас позабыть о случайной встрече со мной. Пусть уж воспоминания о ней останутся на мою долю: так будет надежнее. Потому что, смею вас заверить, никакое время не изгладит из моей благодарной памяти дни, когда я вас обслуживал, давал вам советы, какие выбрать сигары, и радовался тому мимолетному участию, которое вы во мне приняли. И кушайте побольше, милорд, если мне позволено просить вас об этом! Ибо ни один человек на свете не в состоянии сочувствовать вам в вашем самоотрицании.

Вот что я говорил, и какое-то благотворное действие мои слова все же на него оказали, хотя при упоминании юноши в юбочке он и качнул головой. Потом он улыбнулся своим прекрасным и печальным ртом точь-в-точь как в тот раз, когда я упрекнул его за самоотрицание, снял с пальца великолепный смарагд, которым я часто любовался на его руке и на который я смотрю и сейчас, когда пишу эти строки. Он надел мне его на палец —

нет, этого он не сделал! — но протянул мне и сказал очень тихим, надломленным голосом:

— Возьмите это кольцо! Я так хочу. Благодарю вас. Будьте здоровы!

Затем он повернулся и ушел. У меня нет слов, чтобы описать деликатность и великодушие этого человека...

СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ

За бамбуковым столиком под надзором гувернантки сидела компания подростков, совсем еще зеленая молодежь. Три молоденькие девушки, лет, видимо, от пятнадцати до семнадцати, и мальчик с длинными волосами, на вид лет четырнадцати. Ашенбах с изумлением отметил про себя его безупречную красоту. Это лицо, бледное, изящно очерченное, в рамке золотисто-медвяных волос, с прямой линией носа, с очаровательным ртом и выражением прелестной серьезности, напоминало собою греческую скульптуру лучших времен и, при чистейшем совершенстве формы, было так неповторимо и своеобразно обаятельно, что Ашенбах вдруг понял: нигде, ни в природе, ни в пластическом искусстве, не встречалось ему что-либо более счастливо сотворенное. Далее ему бросилось в глаза явное различие между воспитательными принципами, применяемыми к мальчику и его сестрам, что сказывалось даже в одежде. Наряд молодых девиц, — старшая из них могла уже сойти за взрослую, — был так незатейлив и целомудрен, что не только не красил их, но скорее даже уродовал. Из-за строгого монастырского платья, аспидно-серого цвета, полудлинного, скучного, нарочито мешковатого покроя, с белыми отложными воротничками в качестве единственного украшения, фигуры их казались приземистыми и

лишенными грации. Приглаженные и туго стянутые волосы сообщали лицам молодых девиц монашески пустое, ничего не говорящее выражение. Здесь, несомненно, сказывалась власть матери, и не подумавшей распространить на мальчика педагогическую суровость, необходимую, по ее мнению, в воспитании девочек. Его жизнь, видимо, протекала под знаком нежного потворства. Никто не решался прикоснуться ножницами к его чудесным волосам; как у «Мальчика, вытаскивающего занозу», они кудрями падали ему на лоб, на уши, спускались с затылка на шею. Английский матросский костюм с широкими рукавами, которые сужались книзу и туго обтягивали запястья его еще совсем детских, но узких рук, со всеми его выпушками, шнурами, петличками, сообщал его нежному облику какую-то черту избалованности и богатства. Он сидел вполоборота к Ашенбаху, за ним наблюдавшему, выставив вперед правую ногу в черном лакированном туфле, подперевшись кулачком, в небрежно изящной позе, не имевшей в себе ничего от почти приниженной чопорности его сестер. Не болен ли он? Ведь золотистая тьма волос так резко оттеняет бледность его кожи цвета слоновой кости. Или он просто избалованный любимчик, привыкший к потачкам и задабриванию? Ашенбаху это показалось наиболее вероятным...

Мальчик вошел в застекленную дверь и среди полной тишины наискось пересек залу, направляясь к своим. Походка его, по тому, как он держал корпус, как двигались его колени, как ступали обутые в белое ноги, была неизъяснимо обаятельна, легкая, робкая и в то же время горделивая, еще более прелестная от того ребяческого смущения, с которым он дважды поднял и опустил веки, вполоборота оглядываясь на незнакомых людей за сто-

ликами. Улыбаясь и что-то говоря на своем мягком, расплывающемся языке, он опустился на стул, и Ашенбах, увидев его четкий профиль, вновь изумился и даже испугался богоподобной красоты этого отрока. Сегодня на нем была легкая белая блуза в голубую полоску с красным шелковым бантом, завязанным под белым стоячим воротником. Но из этого воротничка в несравненной красоте вырастал цветок его головы — головы Эрота в желтоватом мерцании паросского мрамора, — с тонкими суровыми бровями, с прозрачной тенью на висках, с ушами, закрытыми мягкими волнами спадающих под прямым углом кудрей.

«Как красив!» — думал Ашенбах с тем профессиональным холодным одобрением, в которое художник перед лицом совершенного творения рядит иногда свою взволнованность, свой восторг. Мысли его текли дальше: «Право же, если бы море и песок не манили меня, я бы остался, покуда ты остаешься здесь!»

Много, почти постоянно, видел Ашенбах мальчика Тадзио; ограниченное пространство и общий для всех распорядок дня способствовал тому, что всегда, разве что с короткими перерывами, прекрасный Тадзио был подле него. Он видел, он встречал его повсюду: в нижних залах отеля, на приятно освежающих водных прогулках в город и обратно из города, среди великолепия площади и, когда случаю угодны были эти встречи, вообще на каждом шагу. Но главным образом утро на пляже со счастливейшей регулярностью предоставляло ему возможность долго и благоговейно изучать прекрасное создание. Да, эта непременность счастья, эта ежедневно обновляющаяся милость обстоятельств наполняли его сердце довольством, радостью, и

сияющие солнечные дни долгой чередой следовали друг за другом...

...он мог смотреть на Тадзио...

Вскоре Ашенбах знал каждую линию, каждый поворот этого прекрасного, ничем не стесненного тела, всякий раз наново приветствовал он уже знакомую черту красоты, и не было конца его восхищению, радостной взволнованности чувств... Медвяные волосы мальчика кольцами вились на висках и на затылке, солнце подсвечивало чуть заметный пушок между лопаток, изящный абрис ребер и гармоническая линия груди проступала сквозь ткань простыни; под мышками у него была гладкая впадинка, как у статуи, кожа под коленами блестела, и голубоватые жилки, казалось, говорили о том, что это сотворено из необычайно прозрачного вещества. Какой отбор кровей, какая точность мысли были воплощены в этом юношески совершенном теле! Но разве суровая и чистая воля, которая сотворила во мраке и затем явила свету это божественное создание, не была знакома, присуща ему, художнику? Разве не действовала она и в нем, когда зажегшийся разумной страстью, он высвобождал из мраморной глыбы языка стройную форму, которую провидел духом и являл миру как образ и отражение духовной красоты человека?

Образ и отражение! Его глаза видели благородную фигуру у кромки синевы, и он в восторженном упоении думал, что постигает взором самое красоту, форму как божественную мысль, единственное и чистое совершенство, обитающее мир духа и здесь представившееся ему в образе и подобии человеческом, дабы прелестью своей побудить его к благоговейному поклонению. Это был хмельный восторг, и стареющий художник бездумно, с алчностью предался ему. Дух его волновался, всколыхнулось

19 Заказ 773

все узнанное и прожитое, память вдруг вынесла на свет старые-престарые мысли, традиционно усвоенные смолоду и доселе не согретые собственным огнем...

И вот из рокота моря и солнечного блеска соткалась для него чарующая картина. Старый платан под стенами Афин, — та священная сень, напоенная ароматами, которую украшают изваяния и набожные приношения афинян в честь нимф и Ахелоя. Прозрачный ручей спадает к подножию ветвистого дерева и бежит по мелкой округлой гальке, стрекочут цикады. На лужку, чуть покатом, укрывшись от знойного солнца: один уже в летах, другой еще юноша, один урод, другой красавец, — мудрый рядом с тем, кто создан, чтобы внушать любовь. Вперемежку с любезными словами, с остроумными, поощрительными шутками Сократ поучал Федра тоске по совершенству и добродетели. Он толковал ему о горячей волне испуга, захлестывающей того, кто способен чувствовать, когда его взору открывается подобие вечной красоты; говорил о вожделениях дурного, лишенного благодати человека, который не может вообразить себе красоту, глядя на ее отображение, и не знает благоговейного чувства; еще говорил о священном страхе, нападающем на чистого сердцем при лицезрении богоподобного лица и совершенного тела, — о волнении, которое его охватывает до полной потери самообладания, он едва смеет поднять глаза и преклоняет колени перед тем, кто одарен красотой, и готов был приносить ему жертвы как изваянию божества, если бы не боялся, что люди ославят его безумцем. Ибо только красота, мой Федр, достойна любви и в то же время зрима; она, запомни это, единственная форма духовного, которую мы можем воспринять через чувства и благодаря чувству — стер-

петь. Подумай, что сталось бы с нами, если бы все божественное, если бы разум, истина и добродетель явились нам в чувственном облике? Разве мы не изошли бы, не сгорели бы от любви, как некогда Семела перед Зевсом? Итак, красота — путь чувственности к духу, — только путь, только средство, мой маленький Федр... И тут, лукавый ухаживатель, он высказал острую мысль: любящий де ближе к божеству, чем любимый, ибо из этих двоих только в нем живет бог, — претонкую мысль, самую насмешливую из всех когда-либо приходивших на ум человеку, мысль, от которой взялось начало всего лукавого, всего тайного сладострастия, любовной тоски.

Счастье писателя — мысль, способная перейти в чувство, целиком переходящая в мысль. Эта пульсирующая мысль, это тонкое чувство в те дни было подвластно и покорно одинокому Ашенбаху, мысль о том, что природу бросает в дрожь от блаженства, когда дух в священном трепете склоняется перед красотой. Внезапно ему захотелось писать... Потребность открыто и весомо высказаться о значительной, жгучей проблеме культуры и вкуса завладела его интеллектом, так сказать, догнала беглеца. Предмет ему был знаком, был составной частью его бытия; желание, чтобы он заблистал в свете его слова, сделалось вдруг непреодолимым. К нему присоединилось второе — работать в присутствии Тадзио, взять за образец облик мальчика, принудить свой стиль следовать за линиями этого тела, представлявшегося ему богоподобным, и вознести его красоту в мир духа, как некогда орел вознес в эфир троянского пастуха. Блаженство слова никогда ему не было сладостнее, никогда он так ясно не ощущал, что Эрот присутствует в слове, как в эти опасно драгоценные часы, когда он, под тентом, за

некрашеным столом, видя перед собой своего идола, слыша музыку его голоса, формировал по образцу красоты Тадзио свою прозу, — эти изысканные полторы странички, прозрачность которых, благородство и вдохновенная напряженность чувств, вскоре должны были вызвать восхищение многих. Хорошо, конечно, что мир знает только прекрасное произведение, но не его истоки, не то, как оно возникло; ибо знание истоков, вспоивших вдохновение художника, нередко могло бы смутить людей, напугать их и тем самым уничтожить воздействие прекрасного произведения. Странные часы! Странно изматывающие усилия! На редкость плодотворное общение духа и тела! Когда Ашенбах сложил листки и собрался уходить с пляжа, он почувствовал себя обессиленным, опустошенным, его даже мучила совесть, как после недозволенного беспутства...

КАРЛУ МАРИИ ВЕБЕРУ

Мюнхен, 4.VII.1920.
Пошингерштрассе, 1

...я написал «Смерть в Венеции», которой Вы посвятили в своем письме такие приветливые слова, защищающие ее от доводов и упреков, хорошо, вероятно, известных и Вам самому. Хотел бы я, чтобы Вы участвовали в разговоре, который мы недавно допоздна вели об этих вещах с Вилли Зейделем и еще одним товарищем по искусству, Куртом Мартенсом; ибо мне было бы очень неприятно, если бы у Вас — и у других — осталось впечатление, будто я отрицаю или, поскольку она мне доступна, — а она, смею сказать, доступна мне чуть ли не безоговорочно, — отвергаю некую разновидность чувства, которую, наоборот, чту, потому что она почти обязательно — во всяком случае, более обязательно, чем «нормальная», — обладает *духовностью*...

...предметом моего рассказа была страсть как смятение и унижение, в том, что я первоначально хотел рассказать, не было вообще ничего гомоэротического, это была — гротескно поданная — история старца Гете и той девочки в Мариенбаде, на которой он, при согласии ее мамаши, карьеристки и сводницы, и к ужасу собственной семьи, хотел жениться во что бы то ни стало, чего, однако, эта малютка совсем не хотела... мучительная, трогательная и великая история, которую я еще, может быть, когда-нибудь напишу. А тогда произошло одно лирически-дорожное переживание, надоумившее меня заострить ситуацию мотивом «запрещенной» любви...

Письму пришлось полежать. Я не хотел кончить его, не сказав Вам еще кое-что о своем отношении к этому направлению чувств вообще. Вы не станете требовать от меня, чтобы я поставил его абсолютно выше более распространенного. Поставить его абсолютно *ниже* могла бы только одна причина — «неестественность», а эту причину уже Гете убедительно отвергал. Закон полярности имеет силу явно не всегда, мужская стать не обязательно тянется к женской, опыт опровергает утверждение, что лишь при «эффеминизации» она чувствует влечение к своему полу. Опыт, правда, и учит, что причиной тут может быть, и часто бывает, вырождение, двуснасность, промежуточность стати, короче, нечто отталкивающе патологическое. Это медицинская сфера, она заслуживает внимания разве что в аспекте гуманности, но не в духовном и культурном аспекте. С другой стороны, не может быть и речи о том, будто, скажем, Микеланджело, Фридрих Великий, Винкельман, Платон, Георге были не мужественными или женственными мужчинами. Тут полярность просто не срабатывает, и налицо мужественность такого рода или даже такой *степени*, что и в эротических делах для нее имеет интерес и значение лишь сфера мужского. Меня нисколько не удивляет, что закон природы (полярность) дает перебои в той области, которая, несмотря на ее чувственность, имеет очень мало отношения к природе и куда больше к духу. Что зрелая мужественность ласково тяготеет к красивой и нежной, а та, в свою очередь, тянется к ней, в этом я не нахожу ничего неестественного, вижу

большой воспитательный смысл и высокую гуманность. Кстати сказать, в культурном отношении однополая любовь явно так же нейтральна; в обеих все решает индивидуальный случай, обе родят пошлость и низость, и обе способны на нечто высокое. Спору нет, Людвиг II Баварский типичен, но типичность его инстинктов, по-моему, щедро уравновешена строгостью и достоинством такой фигуры, как Ст. Георге.

Что касается меня лично, то мой интерес в какой-то мере делится между двумя блюеровскими принципами общества, принципом семьи и принципом мужских союзов. Я по инстинкту и убеждению сын семьи и отец семейства. Я люблю своих детей, особенно горячо — девочку, которая очень похожа на мою жену, какой-нибудь француз назвал бы это обожествлением, — вот Вам «бюргер». Но если речь идет об эротике, не бюргергской, духовно-чувственной авантюре, то дело представляется несколько иначе. Проблема эротики, даже красоты, на мой взгляд, заключена в напряженности отношений жизни и духа. Я намекнул на это в одном месте, где ничего подобного нельзя было ожидать. «Отношение жизни и духа, — сказал я в «Размышлениях», — это крайне деликатные, трудные, волнующие, болезненные, заряженные *иронией и эротикой* отношения...» А дальше я говорю о «лукавой» страсти, которая и составляет, может быть, философское и поэтическое отношение духа к жизни. «Причем, страсть исходит и от духа, и от жизни. Жизнь тоже желает духа. Два мира, взаимоотношения которых эротичны, *без явственной полярности полов*, без того, чтобы один мир представлял мужское начало, а другой — женское — вот что такое жизнь и дух. *Поэтому у них не бывает слияния, а бывает лишь короткая опьяняющая иллюзия слияния и согласия, и между ними царит вечное напряжение без разрешения... Проблема красоты заключена в том,* что дух воспринимает за «красоту» жизнь, а жизнь — дух... Дух, который любит, не фанатичен, он талантлив, он политичен, он домогается, и его домогательство — это эротическая ирония...»

ЦВЕЙГ

Стефан Цвейг (1881—1942) — австрийский писатель. С 1934 г. жил в Великобритании, США и Бразилии. Покончил жизнь самоубийством. В первых сборниках новелл («Первые переживания», «Амок», «Смятение чувств») стремился проникнуть в тайники человеческой психологии. Важное место в творчестве Цвейга занимают биографические романы и эссе, посвященные Стендалю, Толстому, Фрейду, Ницше. Автор психологических романов «Магеллан» (1938), «Нетерпение сердца» (1939), «Америка» (1942).

СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ

У них были самые лучшие побуждения — у моих учеников и коллег по факультету: вот он лежит, в роскошном переплете, торжественно мне преподнесенный первый экземпляр юбилейного сборника, который филологи посвятили мне в шестидесятую годовщину моего рождения и тридцатую моей академической деятельности. Получилась настоящая биография; ни одна самая мелкая статья, ни одна произнесенная мною речь, ни одна рецензия в каком-нибудь научном ежегоднике не ускользнули от их библиографического прилежания...

И все же, когда я перелистал эти двести прилежно написанных страниц и внимательно вгляделся в отражение моего облика, — я невольно улыбнулся. Неужели это была моя жизнь, неужели в самом деле с первого часа до нынешнего она тянулась ровными нитями какого-то целенаправленного серпантина, как представил ее биограф на основании бумажного материала?.. Посвятив всю свою жизнь изображению людей и попыткам установить содер-

жание их духовного мира на основании их творчества, я убедился на собственных переживаниях, каким непроницаемым в жизни каждого человека остается его настоящее ядро — творческая клетка, из которой все произрастает...

Об одном тайном источнике развития моей духовной жизни эта книга не говорит ни слова: вот почему я не мог не улыбнуться. Все в ней верно, но самого существенного нет. Она меня описывает, но она меня не выражает. Она только говорит обо мне, но она не выдает меня. Двести имен заключает в себе тщательно составленный указатель, — не хватает лишь одного — имени человека, от которого исходит творческий импульс, человека, который определил мою судьбу и теперь с новой силой возвращает меня в юные годы. Здесь сказано обо всех, умолчали только о том, кто дал мне язык, о том, чьим дыханием жива моя речь... К лежащим передо мною листам я присоединяю еще одну, скрытую страницу — исповедь чувства к ученой книге; я расскажу себе самому правду о моей юности...

С того вечера, когда этот замечательный человек раскрыл передо мною, будто морскую раковину, свою судьбу, игрушечным кажется мне все то, о чем рассказывают писатели и поэты, все, что мы привыкли в книгах и статьях считать необыкновенным и на сцене — трагическим. Из лени, трусости или недостаточной проницательности наши писатели рисуют только верхний, освещенный слой жизни, где чувства выделяются открыто и умеренно, в то время как там, в погребах, вертепах и клоаках человеческого сердца, разгораются, фосфорически вспыхивая, самые опасные животные страсти; там, во тьме, они взрываются и вновь сочетаются в самые причудливые сплетения. Пугает ли писателей

запах гниения, или они боятся загрязнить свои изнеженные руки прикосновением к этим гнойникам человечества, или их взор, привыкший к свету, не различает этих скользких, опасных, гнилью проеденных ступеней? Но для прозревшего ни с чем не сравнима радость созерцания этих глубин; нет для него трепета более сладостного, чем тот, который вызывается этим созерцанием, и нет страдания более священного, чем то, которое скрывает себя из стыдливости.

Но здесь человек раскрыл свою душу во всей своей наготе; здесь разрывалась человеческая грудь, обнажая разбитое, отравленное, сожженное, гниющее сердце. Буйное сладострастье исступленно бичевало себя в этом годами, десятилетиями сдерживаемом признании. Только тот, кто всю свою жизнь провел под гнетом вынужденной скрытности и унижения, мог с таким упоением изливаться в этих неумолимых признаниях. Кусок за куском вырывалась из груди человека его жизнь, и в этот час я, мальчик, впервые заглянул в бездонные глубины земного чувства.

Вначале голос его бесплотно витал в пространстве — смутный угар чувств, отдаленное предвестие таинств; но уже слышалось в нем мучительное заклятие хаотического взрыва — как мощные замедленные такты, предвещающие бешеную бурю ритма. Но вот из урагана страсти судорожно засверкали образы, постепенно проясняясь. Я увидал мальчика — робкого, замкнутого мальчика, который не решается даже заговорить с товарищами; но страстное физическое влечение толкает его к самым красивым в школе. С гневом встречает один из них неумеренные проявления его нежности, другой издевается над ним в отвратительно откровенных выражениях; но что ужаснее всего: оба они раз-

болтали об его противоестественном влечении. И вот, как по уговору, товарищи подвергают его унизительным издевательствам и, будто прокаженного, единодушно изгоняют из своего веселого общества. Ежедневный крестный путь в школу; тревожные ночи, полные отвращения к самому себе. Как безумие, как унизительное бремя ощущает отверженный свою извращенную страсть, раскрывшуюся в мечтах.

Дрожит повествующий голос; будто мгновение, когда казалось, что сейчас он растворится во тьме. Но вот, вместе с вздохом, вырывается он из груди, и вновь вспыхивает в густом дыму призрачного видения. Мальчик вырос, стал студентом. Он в Берлине. Подземный город впервые дает ему возможность удовлетворить извращенное влечение. Но как отвратительны, отравлены боязнью были эти встречи в темных закоулках, в тени мостов и вокзалов! Как бедны наслаждением и как ужасны своей опасностью! Большей частью они кончались унизительным вымогательством, на долгие недели оставляя за собой тягучий след леденящего душу страха. Вечное блуждание между светом и мраком: ясный рабочий день погружает ученого исследователя в кристально-прозрачную стихию духовности, а вечер снова толкает раба своей страсти на окраины города, в сомнительное общество товарищей, которых обращает в бегство каска встречного шуцмана, в наполненные дымом пивные, недоверчивая дверь которых открывается только перед условной улыбкой. И нечеловеческое напряжение воли требуется для того, чтобы скрывать эту двуличность — в течение дня безупречно сохранять достоинство доцента, а ночь неузнанным странствовать по подземельям, отдаваясь постыдным приключениям в тени робко мигающих фонарей. Снова и снова пытается

он, измученный бичом самообладания, загнать свою непокорную страсть на путь естественного удовлетворения: снова и снова увлекает его опасный мрак. Десять, двенадцать, пятнадцать лет терзающей нервы борьбы с невидимой магнетической силой непреодолимой склонности проходят, как одна сплошная судорога. Наслаждение, не приносящее удовлетворения, гнетущий стыд и омраченный взор, робко прячущийся перед собственной страстью.

Наконец, уже поздно, на тридцать первом году жизни — насильственная попытка стать на естественный путь. У одной родственницы он познакомился со своей будущей женой: загадочность его натуры пробудила в молодой девушке искреннюю симпатию. Своей мальчишеской внешностью и юношеским задором она сумела на короткое время привлечь к себе его страсть, которую возбуждал до тех пор только мужской пол. Мимолетная связь удается, сопротивление женскому началу, казалось, преодолено, и, в надежде, что таким путем ему удастся победить противоестественное влечение, он спешит бросить якорь там, где впервые нашел опору в борьбе с опасным недугом, и после откровенного признания, он женится на молодой девушке. Он уверен, что возврата к прежней жизни нет. Первые недели укрепляют в нем эту уверенность. Но затем быстро нарастает конец кратковременному увлечению. После непродолжительного сопротивления жена, обманувшая его ожидания и сама обманутая, становится только ширмой, скрывающей от глаз общества возврат к застарелой привычке. И снова пускается он по скользкому пути, на рубеже закона и общественных условностей, в опасный мрак.

И к внутренней смуте присоединяется еще особая: круг деятельности обращает его влечение в настоящее проклятие. Для доцента, а вскоре ординарного

профессора, постоянное общение с молодыми людьми является служебной обязанностью. Какое искушение — постоянно видеть вокруг себя цвет юности — эфебов невидимого гимназиума в мире прусских параграфов. И — новое проклятие, новые опасности! — как страстно любят его, не замечая скрытого под маской лика Эроса. Каждый из них счастлив, если его рука (с затаенной дрожью) случайно коснется его; они расточают перед ним свой восторг, невольно вводя его в соблазн. Муки Тантала! — опускать руку, когда исполнение страстных желаний, казалось бы, так близко! Вечно жить в беспрерывной борьбе с собственной слабостью! Случалось, что кто-нибудь из этих молодых людей слишком неумеренно возбуждал его чувство, силы изменяли ему, — и тогда он обращался в бегство. Вот чем объяснялись его внезапные исчезновения, которые так смущали меня. Теперь встал перед моими глазами ужасный путь этого бегства от самого себя. Он отправляется в один из больших городов, где, в укромном месте, он находил наперсников. Унизительные встречи, продажные тела, разврат вместо любви; но это омерзение, это болото, это ядовитое противоядие были ему необходимы, чтобы дома, в тесном кругу студентов, быть уверенным в своем самообладании и в их неведении. Боже! что за встречи, что за призрачные и вместе с тем насквозь человеческие образы! И этот человек, стоящий на вершине духовной культуры, человек, для которого красота форм была необходима, как воздух, этот благородный повелитель чужих чувств должен был подвергаться самым отвратительным унижениям в накуренных, переполненных притонах, куда впускают только посвященных. Он был знаком с наглыми требованиями накрашенных молодых людей с бульваров, знал слащавую интимность надушенных па-

рикмахерских подмастерьев, возбужденное хихиканье травести, кокетничающих в женских нарядах, свирепую алчность бродячих комедиантов, похотливое безвкусие светловолосых кельнеров из трактиров предместий, неуклюжую нежность жующих табак матросов — все эти боязливые извращенные, фантастические формы, в которых заблудший пол отыскивает и узнает своих товарищей. Все унижения, весь стыд и всякое насилие встретилось ему на этом скользком пути: не раз его обкрадывали до последней нитки (он был слишком слаб и слишком благороден, чтобы вступать в драку с конюхом); он возвращался домой без часов, без пальто, осмеянный и оплеванный пьяным товарищем по трактиру. Вымогатели следовали за ним по пятам; один из них выслеживал его шаг за шагом целыми месяцами, садился в аудитории на первую скамью и с наглой улыбкой смотрел на профессора, которому с трудом удавалось связать слова. Однажды, — сердце замерло у меня, когда он говорил об этом, — ночью, в Берлине, в одном из таких баров, он, в числе других, был захвачен полицией; с самодовольной, насмешливой улыбкой откормленный, краснощекий вахмистр, обрадовавшись случаю поиздеваться над интеллигентным человеком, записал его имя и звание и, наконец, милостиво объявил ему, что на этот раз он будет отпущен без наказания, но имя его будет занесено в особый список. И как к платью человека, проводящего время в трактирах, пристает спиртной запах, так постепенно здесь, в его городе, из неизвестного источника, распространилась глухая молва, связанная с его именем. Точно так же, как некогда в школе, так теперь, в кругу его коллег, все холоднее становились слова и поклоны, пока, в конце концов, и здесь не образовалась между ним и внешним миром та же стеклянная прозрачная

стена отчуждения. И при всем своем одиночестве, у себя дома, за семью замками, он чувствовал, что его разгадали, что за ним следят.

Но никогда его измученное, исстрадавшееся сердце не испытало радости обладания искренним, благородным другом; ни разу его мощная мужская нежность не встретила достойного ответа. Постоянно ему приходилось делить свое чувство между нежно-томящим духовным общением с новыми университетскими товарищами и ласками скрывающихся во тьме ночных наперсников, о которых он не мог вспомнить без содрогания на следующее утро. Никогда не пришлось ему, уже стареющему, испытать чистую привязанность юноши, и, утомленный разочарованиями, с нервами, расшатанными от блужданий по этой тернистой чаще, он замкнулся в себе. И вот еще раз вступает в его жизнь молодой человек, страстно привязавшийся к нему, уже состарившемуся, радостно отдавший себя ему словом и делом. В испуге он смотрел на свершившееся чудо: достоин ли он такого чистого, неожиданного дара? Еще раз явился к нему посланник юности — чарующий облик, страстное сердце, пылающее для него духовным огнем, нежно привязанное к нему, жаждущее его любви и не предчувствующее кроющейся в ней опасности. С факелом Эроса в руке, в смелом неведении, подобно глупцу Парсифалю, он наклоняется к отравленной ране. Не зная о волшебстве, не зная, что уже самый его приход приносит исцеление, так поздно, в вечерний час угасания, вошел он в дом, долгожданный, в течение целой жизни ожидаемый.

И, повествуя об этом образе, оживился окутанный мраком голос. Светлые ноты пронизали его. Глубокая, окрыляющая нежность звучала музыкой, когда вдохновенные уста заговорили о юноше, об

этой поздней, последней любви. Я дрожал, охваченный его волнением, его восторгом, — но вдруг будто молот ударил по моему сердцу: этот пламенный юноша, о котором говорил мой учитель, был я! Будто в пылающем зеркале, я увидел свой образ, облеченный горячим блеском неподозреваемой любви, — даже отсвет ее обжигал меня. Да, это был я, — все отчетливей я узнавал эту настойчивую страстность, восторженную жажду его постоянной близости, безудержный экстаз, не удовлетворяющийся духовным общением; я узнавал себя, глупого, буйного мальчика, который в неведении своей силы еще раз пробуждает в отрекшемся от жизни богатый источник творчества, еще раз зажигает в его душе факел Эроса. С изумлением я узнал, чем был для него, — я, робкий юноша, навязчивый энтузиазм которого он любил, как самую святую отраду своей старости. И с ужасом я узнал, с какой нечеловеческой силой боролась в нем воля с соблазном: ибо как раз от меня, любимого чистой любовью, больше всего он боялся испытать издевательство, отвращение, содрогание оскорбленного тела. Эту последнюю милость жестокой судьбы он не хотел отдавать на поругание чувственным инстинктам. С ужасающей ясностью обнажились передо мной все его загадочные поступки: он хотел во что бы то ни стало скрыть от меня эту тайну Медузы. Вот почему он так ожесточенно сопротивлялся моей навязчивости, охлаждая мое бурное чувство леденящей иронией, резко заменял интимный тон условной сдержанностью, укрощал нежное прикосновение руки — только ради меня принуждал он себя к суровости, — чтобы отрезвить меня и уберечь от самого себя, — а ведь все это нарушало мой душевный мир на целые недели. И с той же ослепительной очевидностью я понял эту ночь, когда, не в силах подавить бурную чувственность, он, словно лунатик, поды-

мался ко мне по скрипучей лестнице, чтобы оскорбительным словом спасти нашу дружбу. И, содрогаясь, рыдая без слез, изнывая от жалости в нему, растроганный, в лихорадочном возбуждении, я понял, сколько он выстрадал из-за меня, как героически переносил эти страдания.

О, этот голос, звучавший во мраке! Как проникал он в самую глубь моей души! Таких звуков я никогда больше не слыхал: они шли из недосягаемых глубин; их не знает обыкновенный человеческий удел. Так говорить мог человек только раз в жизни, подобно лебедю, который, по преданию, поет только раз — перед смертью. И этот голос, пылающий голос, я принял в душу с трепетом и болью, как женщина принимает мужа в свое лоно.

* * *

И внезапно умолк этот голос, и только тьма соединяла нас. Я ощущал его близость, — он был от меня на расстоянии ладони. И он почувствовал мое неудержимое желание сказать ему слова утешения.

Но он сделал движение, — зажегся свет. Утомленный, старый, измученный, поднялся он с кресла. Медленными шагами приближался ко мне старик.

— Прощай, Роланд. Больше ни слова! Все между нами сказано! Хорошо, что ты пришел... и хорошо для нас обоих, что ты уходишь... Прощай... И позволь мне... поцеловать тебя на прощанье!

Магическая сила толкнула меня ему навстречу. В его глазах засветился яркий, обычно затуманенный огонь; он сверкал обжигающим светом. Он привлек меня, его губы жадно впились в мои губы; нервно, судорожно он прижал меня к себе.

На моих губах запечатлелся поцелуй, какого не дарила мне ни одна женщина, — жгучий и полный

отчаяния, как предсмертный стон. Судорожный трепет его тела передался мне; я содрогался от неиспытанного, двойственного ощущения: отдаваясь ему всем своим существом, я в то же время был преисполнен протеста против столь близкого прикосновения мужского тела, — тягостное смятение чувств, превратившее краткое мгновение в целую вечность.

Он выпустил меня из своих объятий, — будто какая-то внешняя сила оторвала одно тело от другого, — он с трудом отвернулся и бросился в кресло, спиной ко мне. Неподвижно он смотрел перед собой в пространство. Но постепенно его голова будто тяжелела; она склонялась все ниже и ниже, и наконец, как тяжесть, долго качавшаяся над пропастью, с глухим стоном внезапно опустилась на письменный стол.

Чувство бесконечной жалости охватило меня. Невольно я приблизился к нему. Но вдруг выпрямилась сгорбленная спина, и, отвернувшись от меня, из-за ограды сомкнутых рук он угрожающе простонал:

— Уходи!.. уходи!.. не надо… не надо… ради бога… пощади нас обоих… иди теперь… иди!

Я понял. С трепетом я отступил. Как беглец, оставил я милую комнату.

* * *

Никогда я больше не встречал его. Никогда не получал от него ни письма, ни устной вести… его имя забыто; никто, кроме меня, его не помнит. И теперь вновь, как некогда, еще неопытный мальчик, я чувствую: отец, мать до встречи с ним, жена, дети после этой встречи не возбуждали во мне столь глубокого чувства благодарности. Никого я не любил так, как любил его.

20 Заказ 773

ПЕССОА

Фернандо Пессоа (1888–1935) – великий португальский поэт, философ, эссеист. Учился в Кейптаунском университете, на Высших филологических курсах в Лиссабоне. В 1908 г. становится переводчиком в торговых фирмах. Стихи сочинял от имени нескольких гетеронимов: он пишет то под именем Каэйро, Рейса, Кампоса, то под собственным именем. Поэты, рожденные его фантазией, результат не только стремления к мистификации, но и желания объяснить свои произведения. Биография Пессоа не отмечена сколь-нибудь заметными внешними событиями. Никто не знал, были ли у него женщины, увлечения и привязанности. Известно только о его трогательной любви к матери и потрясении от смерти близкого друга – поэта. Характерная черта – стремление укрыться от реального мира. Умер от болезни печени – одиноко и незаметно, как и жил.

АНТИНОЙ

Как дождь, душа дрожала Адриана.
Был отрок тих
В испарине последнего тумана,
И зренье Адриана страх постиг
Затменьем смерти, павшим в этот миг.

Был отрок тих, во мрак свернулся свет –
И дождь долбил и был как скверный бред
Убийцы – перепуганной Природы.
Прошло очарованье прежних лет,
Врата восторга затворили входы.

О руки, к Адриановым рукам
Тянувшиеся, – сколь сегодня стылы!

О волосы, привычные к венкам!
О взор, своей не ведающий силы!
О тело — то ли девы, то ли нет, —
Божественный посул земного счастья!
О губы, чей вишневый цвет
Таил секрет любви и сладострастья!

Перстов неописуемый язык!
И влажный зов, каким звучал язык!
И полная победа совершенства
В самодержавном скипетре блаженства!
Отныне всё — тоска, туман, обман
И небыль. Дождь стихает. Адриан
Склоняется над телом. Горе гневно:

Нам жизнь даруют боги — и берут,
И красоту, создав ее, крадут, —
Но самый плач щемит в груди плачевно:
Объемлет стон грядущие века,
И боль в душе настолько велика,
Что нас не оставляет повседневно.

Он мертв и не вернется никогда.
Сама Венера, зная Антиноя
И зная — он погублен навсегда,
Былые по Адонису печали
Смешала с Адриановой тоскою.
Но все слова любви бессильны стали.
И Аполлон поник, когда объяли —
Уж не само ль объятье? — холода.
Соски его двуглавою горою
Лобзаний позабудут горный снег,
Застынет кровь в теснине прежних нег,
Твердыня страсти станет грудой льда.
Тепло не ощутит тепла другого —
И руки на затылке не скрестит,

Когда, навскрыт распахнут и раскрыт,
Всем телом ждешь касания другого.

Дождь падает, а отрок возлежит,
Как будто позабыв уроки страсти,
Но ожидая: обожжет она
Внезапным возвращеньем. Надлежит
Былому жару быть у льда во власти.
Не плоть, а пепел; смерть сильнее сна.
Как быть отныне с жизнью Адриану?
С империей? Чем горе превозмочь?
Кому запеть блаженную осанну?
Настала ночь —
И новых нег не чаешь и невмочь.
Ночь вдовствует на ложе одиноком,
Сиротствует не ждущий ночи день,
Уста сомкнулись, только ненароком
На миг окликнув на пути далеком
В объятья смерти схваченную тень.

Блуждают руки, радость уронив.
Дождь кончился, не ведаешь, давно ли,
В нагое тело тусклый взор вперив.
Лежит он, наготу прикрыв
Движеньем сладострастья, а не боли.
Он, возбуждавший страсть и поневоле,
Любое пресыщенье претворив
В любовный нескончаемый порыв.

Его уста и руки поспешали,
Куда едва за ним ты поспевал.
Казалось: он тебя опустошал,
Усталости не ведая, печали
И чувства. Он тебя околдовал,
И наставал карнальный карнавал,
Взывая окончаньем о начале.

«Любовь моя как пленница была
И в муках отдавалась и брала,
И боль свила гнездо в ее глубинах.
Тебя похоронил великий Нил
И выдал нам — и смерть зажала в львиных
Объятиях превыше сил».
И с этой мыслью страсть его (а страсть —
Всего лишь память о страстях минувших)
Очнулась победительно в уснувших
Бессильно чреслах и взыграла власть.
Мертвец восстал, и ожил, и все ближе,
Все ближе подходя, манил на ложе —
И смертью не смиренная рука
Проведала все подступы и входы
Туда, где плоть не ведает свободы, —
Нежна, неосязаема, легка...
Парфянцы, вы жестоки и бесстыжи!

И вот припал к влюбленному влюбленный,
И оба стали стылы и мертвы
В слиянности, столь неопределенной,
Что каждый поцелуй их воспаленный
Был ледяным ожогом, и, увы,
Как тени были оба; как волхвы,
Как дух живой и дух непогребальный
Был каждый и витал речной травы
Вкус на устах, ленивой и зеленой.

Туман или иная пелена,
Меж Антиноем пав и Адрианом,
Дышать им не давала. И, влажна,
Скользила по округлостям желанным
Рука, в них вызвать пламя не вольна;
Бог умер, бог казался деревянным!

Он взор воздел и руку в небеса,
Но боги были символ безучастья,

Иль их неразличимы голоса.
Бессмертные! Свою отрину власть я!
В пустыню я навеки удалюсь,
Меж варваров простым рабом представлюсь, —

Лишь с отроком, прошу вас, не прощусь,
Покуда сам спокойно не преставлюсь.

Податливую женственность земли
Избудьте, не изведав сожаленья.
Но ты, Юпитер, внемлющий вдали,
Ты, юноше отдавший предпочтенье
Пред девою, во имя восполненья
Того, чем губы Гебы не могли
Окликнуться желаньем в исполненье, —
Отринь, отец богов, бездушный прах
Постылой женской плоти — и в мирах
Восстав, поставь над ними Ганимеда!
Иль сжал уже в завистливых руках
Ты Антиноя? В том твоя победа?

Котенком он играл с мужским желаньем
И с отроческим — то их сочетая,
То чередуя, — и игра такая,
Где промедленье сходно с обладаньем,
Где загляденье слитно с упоеньем,
Неведенье чревато нападеньем,
Разнузданность лукава обузданьем,
Игра — игрой, волнение — волненьем, —
Часам давала волю, как мгновеньям,
И сочетала младость с мирозданьем.

Часы струились из сплетенных рук,
Лобзаньям срока не было — и пыткам:
Бил в пальцах вечный ключ то нег, то мук,
То чашей были губы, то напитком,





То был туманен, то был чуток взор,
То чудились призывы, то отпор,
То был листом распластанным, то свитком.

Богослуженьем их любовь была —
И боговоплощеньем это было:
Над алтарем порой витала мгла,
И матовая мраморность царила
Богов в пылу, спалившем их дотла...
....
Дождь зарядил с болезнетворной силой,
И сырость загустела, как тоска.
И Адриан на свой альков унылый
Взглянул, как сквозь века, издалека.
Увидел тело тихое на ложе,
Себя в слезах над ним увидел тоже
И в мыслях, не отличных от скорбей,
Промолвил приговор души своей:

«Я статую воздвигну на века
Свидетельством незыблемым тому,
Каков он был, каким сошел во тьму.
Такой красе и вечность коротка.
Божественности подлинную суть
Она вдохнуть умела мне во грудь, —
И если смерть и жизнь и страсть затмила, —
Ваятель одолеет естество
И возвратит потомкам божество
Из глубины веков и Нила.

И статую я эту вознесу
На высоту невиданной колонны,
Чтоб времени завистливые стоны
Не посягнули на ее красу
Чредой сражений и землетрясений.
Рок не таков! Богами правит рок,

Рукою рока часто служит бог,
И роковых страшится сам гонений, —
Ни бог, ни рок не смеет в здешний срок
Сразить уже сраженный ими гений.

Из прошлого в грядущие века
Мост нашей страсти белый перекинем.
Как Рим над миром, в вечности застынем.
Чтобы потомок понял: высока
Любовь и бесконечна в небе синем.

Но подлинной тоски не передашь...
Ты — обонянья розовая дрожь.
С зеленым лавром ты безмерно схож
И с пламенем любви из винных чаш.
Воистину алтарь повержен наш,
И ты меня из бездны упрекнешь,
Мол, пыл бессилен и напрасен раж —
И ничего из мрака не вернешь, —
А может, головы не повернешь,
А может, возвратишься, как мираж,
И боль мою, кровавую, как нож,
Глухим ножнам отчаянья предашь».

Как тщетно ожидающий свиданья,
По анфиладам собственной души
Он мечется — то полон упованья,
То ужаса — и муки хороши,
Чтоб время скоротать в такой тиши.

Там, где сошлись любовь и смерть, — туман.
Там, где в любовь проникла смерть, — неясность,
Опасность превратилась в безопасность,
А безопасность — в морок и обман, —
И пустоты прекрасный истукан
Вдохнул огонь в минутную безгласность.

«Мне твой удел внушил иную страсть —
По вечности великую печаль:
Достойна ль императорская власть
Державного стремленья ввысь и вдаль —
Туда, где боги, жизни не поправ,
Но подлинную жизнь даруя ей,
Тебя скрывают в вечности своей —
Еще прекрасней, но не столь желанным,
Как некогда любим был Адрианом, —
И ждет забвенье всех земных забав?

Любимый мой, любимый мой, ты — бог!
Ты бог уже — так я велю и жажду!
Не жажду, не велю, а вижу — в срок,
Отмеренный богами, нашу жажду
Любви переливающими в чаши,
Где жизнь — не только в жизнь заточена,
И чувство не повязано на чувство,
Где и желанье — только лишь искусство
Желать того, чем боль обделена,
Иначе бы звалась она блаженством.
Ты на Олимпе — и завершена
Земная жизнь небесным совершенством.

Душа моя, как птица, запоет.
Надежда к ней направится с небес
С известием: зла не содеял тот,
Кто вовсе не попал в водоворот,
А лишь в бессмертье собственном исчез.
Любимый мой! Мой бог! О, дай прильнуть
К твоим остылым мертвенно устам.
Они как пламя в вечности. Ведь там
Земную смерть дано перечеркнуть.

Не будь Олимпа, я б его сложил
По камешку — и там тебе служил —
Единственному богу и один —

Превыше всех заоблачных вершин.
Божествен был тогда бы космос наш
Любви и поклоненья. Мы вдвоем
И вечность бесконечная кругом,
И прошлое — лишь призрачный мираж...

Но вся твоя божественная сила —
Есть плоть твоя, изваянная мной, —
И если плоть победно покорила
И если победила мир земной,
То страсть моя была тому виной —
Та страсть, что вознесла тебя превыше
Затменья, и забвенья, и затишья,
Из праха вырвав горькою ценой.
Полки молитв моих полны тобой:
Не ты, а мощь их — вот что небу мило.

Создатель твой, а не любовник твой,
Созданье я любил, а не находку —
Любил твой облик и твою походку,
Тебя любил, но более — себя,
И, возроптав, склоняюсь все же кротко
Пред тою, что и губит не губя.
Любимый мой, любимый мой! На Небо
Моей великой властью вознесен
Там кравчий Ганимед, там он и Геба
Поникнут пред тобой! Но будь влюблен —
В божественной телесности отныне —
И в тех, кого найдешь в небесной сини,
В старейших небожителей... Не там,
А здесь тебе воздвигнут храм!

Но истинно бессмертным изваяньем
Не мрамор станет или же гранит,
А боль моя, которая кричит,
Проникнувшись неслыханным страданьем, —

Кричит, чтоб стать всеобщим достояньем,
Пусть боль моя и память о былом
Предстанут обнаженным божеством
Над Времени великим океаном.
Одни сочтут такое горе странным,
Другие — непростительным грехом,
И, красоту земную ненавидя,
Рванутся в оскорбленье и обиде
С холодным оскопительным ножом
К тому, в ком подражателя найдем, —
Но весь Восток любви своим восходом
Сиять во мраке будет год за годом,
И боги снидут в мир, как мы вдвоем.

Не ты один поник, а мы с тобой.
Любовь образовала двуединство
И в узел плоть стянула — столь тугой,
Что жизнь стряхнула пошлое бесчинство,
Божественной омывшись чистотой, —
Не признавая никакой другой...
....
Двойным напоминаньем мы застынем;
Обнявшись, мы друг друга не покинем,
Хоть не в прикосновеньи суть любви.
Нас видеть будут люди, будут боги,
Века на нескончаемой дороге
Узнают очертания твои.
Ты Золотого века будешь эхо,
Его возврата будешь знак и веха.

Дни кончатся, Юпитер вновь родится
И кравчим станет снова Ганимед —
Но наш союз, взаимный наш обет
В мирах превыше сроков укрепится —
Дано любви продлиться, —
И даже если сгинет белый свет

И станут прахом мрамор и гранит,
Над прахом будет веять вышний свет,
И небо наши тени сохранит,
И все, что было с нами, повторится».

Дождь не кончался. Наступала тьма,
Любому чувству веки опуская
И самый ум души сводя с ума.
Ночь наставая, длилась, наставая.
Забылся Адриан, уже не зная,
Не понимая, где он и зачем,
И голос скорби стал не глух, а нем,
Все отошло, ушло, свернулось в свиток,
Дрожа вдали; как круглая луна,
Когда ущербом кажется избыток...
Бесчувственна была и холодна
Рука, надгробья пальцами терзая.
Глаза закрыты были. И, теряя
Связь с явью, силуэты полусна
Струились. Он хрипел и, значит, жил.
И ветер оглашал потемки воем,
И душу он вытягивал из жил.
Спал император. Боги, он забыл!
Берите же порывом мощных крыл
Блаженный груз, проникнутый покоем.

Р. ИВНЕВ

Рюрик Ивнев (псевдоним Михаила Александровича Ковалева, 1891–1981) – русский поэт и прозаик, автор нескольких романов и повестей. Печататься начал с 1909 г. Друг С. Есенина. Член группы имажинистов, секретарь А. В. Луначарского. Вся жизнь поэта – поездки по стране. Умер за письменным столом, за несколько часов до этого написав последнее стихотворение.

СОНЕТ

Борису Ясницкому

Я уезжаю, милый друг,
Я уезжаю, славный Боря.
Меня приветят волны моря
И улыбнется хитрый юг.
Но в этих песнях будет горе,
В висках – больной холодный стук.
Сжимая пальцы нежных рук,
Бродить я буду на просторе.
Весна и там мне будет в очи
Печально-юные глядеть.
Я бархатной туникой ночи
Хочу на миг тебя одеть.
Ах, без тебя весна короче
И солнце – только злая медь!

Сереже Есенину

Смотрю на кудри светлые, крутые
Как будто изгнанных из рая облаков.
Тот не поймет живой души России,
Кто не читал есенинских стихов.

Рязанский день я встречу у вокзала:
Мы дальше, друг мой, вместе держим путь.
Вот ты идешь — и светлый и усталый,
Блестя глазами, сгорбленный чуть-чуть.

А в час, когда, пыланьем утомленный,
Ложится день, чтоб завтра утром встать,
Тебя таким притихшим и влюбленным
Душа моя хотела б созерцать.

1916

* * *

Кто понять эти чувства сможет?
За окном, точно призрак, рассвет.
Рядом друг, который моложе
Меня на десять лет.
Я смотрю сквозь сон, сквозь ресницы
На того, кто рядом со мной,
И шуршат моей жизни страницы,
Подернутые желтизной.

Знаю, с этим нельзя смириться,
Как себя не утешай,
В двадцать — одна, а в тридцать
Уже другая душа.

Кто понять эти чувства сможет?
За окном, точно призрак, рассвет.
Рядом друг, который моложе
Меня на десять лет.

СТРАННИКУ

Н. Леонтьеву

На первый взгляд, страшнее нет судьбы:
Остаться одиноким до предела.

Ловить глазком дымок чужой избы,
Не ощущая собственного тела.

Бродить в лесу, ведя деревьям счет,
Завидуя древесному покою,
Кривить улыбкой побелевший рот
И судорожно плакать над собою.

Бежать из леса в пригород любой,
Потом нестись по улицам столицы,
С самим собой вступая в смертный бой,
С надеждой жадной всматриваться в лица.

Но с детских лет я слышал, будто черт
Не так уж страшен, как его малюют.
Еще немного, вздох один, и вот —
Счастливых дней у жизни не молю я.

Заметил я улыбку на лице,
Твой нежный взгляд, прямой и добродушный.
И я нашел таинственный рецепт,
И мне уже не тягостно, не душно.

Так жизнь твоя смягчила боль мою,
А радость встречи обогрела сердце.
Мне показалось: я обрел семью,
И я не прав, что некуда мне деться.

Я вновь смотрю на город и леса
Другими, просветленными глазами.
И в этот миг вдруг понимаю сам,
Что я уже не странник на вокзале,

Я дом нашел на склоне бурных дней,
Семью нашел в стране моей огромной.
И, может быть, стал для нее родней,
Чем те, кто были безотлучно дома.

С. ЕСЕНИН

Сергей Александрович Есенин (1895–1925) – великий русский поэт. Родился в крестьянской семье. Испытал влияние творчества А. Блока и Н. Клюева. Глава поэтической группы имажинистов (1919–1921). Есенин – один из корифеев мировой лирической поэзии, обновитель поэтической образности. Поэзия Есенина – искренняя, напевна и живописна.

ПРОЩАНИЕ С МАРИЕНГОФОМ

Есть в дружбе счастье оголтелое
И судорога буйных чувств –
Огонь растапливает тело,
Как стеариновую свечу.

Возлюбленный мой! Дай мне руки –
Я по-иному не привык, –
Хочу омыть их в час разлуки
Я желтой пеной головы.

Ах, Толя, Толя, ты ли, ты ли,
В который миг, в который раз –
Опять, как молоко застыли
Круги недвижущихся глаз.

Прощай, прощай. В пожарах лунных
Дождусь ли радостного дня?
Среди прославленных и юных
Ты был всех лучше для меня.

В такой-то срок, в таком-то годе
Мы встретимся, быть может, вновь...
Мне страшно, – ведь душа проходит,
Как молодость и как любовь.

Другой в тебе меня заглушит.
Не потому ли — в лад речам —
Мои рыдающие уши,
Как весла, плещут по плечам?

Прощай, прощай. В пожарах лунных
Не зреть мне радостного дня,
Но все ж средь трепетных и юных
Ты был всех лучше для меня.

* * *

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

Я. ПАРАНДОВСКИЙ

Ян Парандовский (1895–?) – польский писатель и историк культуры. Окончил Львовский университет. С 1945 г. – профессор Люблинского католического университета. Автор серии книг и эссе об античной культуре и искусстве («Мифология», «Эрос на Олимпе» и др.), о психологии творчества («Алхимия слова»), романов о духовном развитии юношества («Небо в огне»), биографического романа «Петрарка» и романа «Король жизни», посвященного О. Уайльду.

КОРОЛЬ ЖИЗНИ

Осенью 1891 г. поэт Лайонел Джонсон посетил Оскара Уайльда в обществе стройного, изящного юноши с глазами цвета фиалки и золотистыми волосами. Красавец эфеб звался лорд Альфред Брюс Дуглас и был третьим сыном маркиза Куинсберри. Ему минул двадцать один год. М-с Уайльд подала гостям чай и исчезла, прежде чем гости успели обратить на нее внимание. Джонсон, завладев бутылкой коньяка, молча сидел в своем углу. Уайльд говорил весь вечер необычно оживленно. Дуглас слушал с упоением. Сам он едва ли сказал несколько фраз, признался, что пишет стихи. После его ухода в памяти Уайльда осталось «ангельское выражение» непорочного лица, словно сделанного из слоновой кости и лепестков роз.

У Оскара, который в этот день дописал последний акт «Веера леди Уиндермир», создалось чувство, что это чудесное явление посетило его дом не без влияния звезд. На тридцать шестом году жизни он вдруг поддался власти непонятного. Поверил, что каким-то чудом к нему явилось живое, зримое воплощение идеала. Так недавно он чувствовал над

собою парение творческого духа, из которого возник Дориан Грей, что неожиданное это приключение могло показаться новым чудом Пигмалиона: создание фантазии предстало в телесном облике, ничего не утратив из своего очарования.

В доме на Тайт-стрит всегда много недоставало для счастья. Довольно скоро после свадьбы прекратилось между Оскаром и Констанцией то, что для него было нервом жизни, — беседа. Они попросту находились на разных ступенях интеллектуальной лестницы. Уже через год — и то если щедро закруглить счет — обозначилась пропасть, стоя на противоположных концах коей существа только перекликаются в силу повседневных надобностей. В обществе жены Оскар редко давал волю своим мыслям и говорил в основном то, что могло соответствовать ее чувствам и понятиям, — во избежание скучной необходимости переубеждать. Он никогда не мог упрекнуть ее ни в чем, что входило в скромный идеал примерного, почтенного супружества, но и не испытывал тоски по ее словам, взглядам, присутствию.

Тот, кто попытался бы пробудить в нем нежность, потратил бы время зря — это был бы, по его словам, «разговор перса, живущего в зное и любящего солнце, с эскимосом, прославляющим китовый жир и шестимесячные ночи в духоте снежного дома». Он никогда не умел быть добрым той заурядной добротой, которая складывается из толики обычной трусости, из неразвитого воображения и не слишком высокого мнения об ответственности перед собой. Констанция, уставшая от семейных забот и неожиданно воцарившейся в доме роскоши, едва заметила, что Оскар совершенно от нее отдалился.

Немного спустя после первой встречи Дуглас прислал сонет. Если бы с этого листка бумаги на

Оскара не смотрело лицо юного лорда, он не стал бы читать дальше первой строфы. Подпись тоже не внушала доверия — точка после фамилии, возможно, указывала на недостаток воображения. Но Уайльд находился в Кромере, и к этим студенческим виршам сразу примешался шум моря. Он ответил письмом, как бы отрывком из сонетов Шекспира.

«Милый мой мальчик, сонет твой захватывает, просто удивительно, насколько твои розовые губы равно созданы для песен и для поцелуев. Твоя легкая золотая душа витает между страстью и поэзией. Никакой Гиацинт во времена древних греков не стремился к любви столь самозабвенно. Почему ты сидишь в Лондоне один и когда поедешь в Солсбери? Поезжай туда и охлади свои руки в серых сумерках готических зданий. Потом возвращайся сюда. Здесь премило, только не хватает тебя. Но прежде съезди в Солсбери.

С неумирающей любовью
всегда твой
Оскар».

На письменном столе стояла фотография Дугласа в студенческой форме, в берете с квадратным донышком. Под жестким воротничком был повязан смешной галстучек в светлый горошек, а сюртук из грубого сукна морщился у верхней пуговицы забавно, неуклюже, очаровательно. Столь же забавной и очаровательной казалась складка век — левый глаз полуприкрыт, а правый широко раскрыт. В лице было столько наивной серьезности, сколько можно собрать в двадцать лет, за которые еще ничего не произошло. Наполнить светом эти чистые, ничего не ведающие глаза, блистательным словом

заставить эти прямые, робкие губы разомкнуться, придать легкость этим опущенным, праздным рукам!

Счастье представало в таком виде: оба усаживались у камина, рядом коробка с папиросами, на столике рейнское вино и зельтерская вода. В такие минуты Оскар слышал, как его собственная мысль переливается в это чужое и близкое существо, и каждое слово Дугласа действительно отвечало ему, будто эхо — уже докатившимся и нашедшим новые свои берега волнам.

С невозмутимой серьезностью, с религиозным пафосом, как некий magister vitae, Оскар предсказывал, что должна наступить эпоха нового гедонизма, который преобразует жизнь и рассеет противное строгое пуританство...

То, что у Уайльда при его высокой умственной культуре чаще всего было лишь мечтами богатого воображения, сочетаясь с множеством образов идеальной красоты и превращаясь в чистое, бесстрастное созерцание, то в маленьком мозгу Дугласа, негусто засеянное школьной наукой и довольно небрежным воспитанием, укрепилось, как удобный катехизис потакания страстям и прихотям. В своем благодушном цинизме Оскар не замечал, что слова его бушуют и кипят в беспокойной душе юноши, — среди страстей, которые прежде внушали тревогу, среди приглушенных страхом мыслей, воспоминание о которых окрашивалось румянцем стыда. Оскара привлекал дикий нрав Дугласа, скрытый за почти девичьим обликом. Рядом с огромным Оскаром Бози казался невысоким, слабым, хрупким, и было невыразимо приятно чувствовать, насколько Бози был другой. Оскара восхищало каждое его движение, улыбка, выражение лица, виделось особое очарование в нежности красок, в изяществе черт. Все в Бози казалось Оскару совершенным. Каждый пос-

тупок друга он готов был одобрить, не желая и думать о том, что юный лорд мог бы поступить иначе. Любя Дугласа, Оскар обретал самого себя в облике юного красавца, в чьих жилах течет королевская кровь.

Оскар потакал всем его капризам, посылал в деревню корзины винограда и папиросы, навещал в Оксфорде и опять звал к себе, ревновал к каждому, кто к нему приближался. Даже краткая разлука была невыносима. «Я уже не надеюсь, — писал Уайльд однажды около полуночи, — что ты придешь нынче, ведь уже так поздно. Может быть, утром получу от тебя весточку. Ты знаешь, какой радостью будет для меня вновь тебя увидеть». В конце концов они обменялись перстнями — как помолвленные.

По тому, как вскружилась голова, молодой лорд чувствовал, на сколь высокой вершине он очутился. До сих пор в его жизни были лишь мелкие прихоти да ребяческие выходки, уместные в тесных рамках Оксфорда. Горести измерялись числом морщин на лбу вице-канцлера или выговорами проктора, самым волнующим событием могла быть победа колледжа Магдалины в лодочных гонках и венчавший ее студенческий пикник. Дома царила скука и блистательная бедность, которую не удавалось скрыть полутора тысячами фунтов ренты, доставшейся леди Куинсберри после развода. Попав в широкий, бурный поток жизни Оскара, Бози прилип к нему как тень. Юноша был пленен обаянием его ума, положением в мире искусства, славой и щедростью — короче, множеством черт, составлявших великолепный, неправдоподобный образ Короля жизни.

Они путешествовали вместе. То были великосветские поездки в Париж, Флоренцию, Рим, Алжир, куда угодно, поездки ненадолго, как бы лишь для того, чтобы взглянуть на любимый пейзаж, уловить

особый эффект освещения или полакомиться необычным блюдом, которое умеют готовить только в этом месте. Рука под руку ходили они по музеям, дворцам, церквам, но, прежде чем Оскар успевал найти слова для их красоты, Бози гнал ее прочь взрывом своих первобытных инстинктов. Больше, чем на две недели, они нигде не задерживались. Возвращались всякий раз внезапно — из-за неожиданных перемен в капризах Дугласа, который становился все более требовательным и нетерпеливым.

Уайльд не мог себе позволить даже быть осторожным. Когда однажды он вошел в ресторан «Савой» через боковой вход и сел в отдаленном углу зала, Бози целый день не давал ему покоя.

— Я не хочу, чтобы ты входил в эти двери. Я требую, чтобы ты входил в «Савой» через главный вход, со мною. Чтобы все нас видели, чтобы каждый мог сказать: «Вот идет Оскар Уайльд и его миньон».

Бози давно перестал быть архангелом Рафаилом, каким показался Уайльду при первой встрече. В нем бушевала дикая натура его рода, на протяжении веков давшая миру извергов, преступников и самоубийц. Поверхностная культура не развила в нем поэтичности и не подняла на высокий уровень умственной жизни. Из двух миров — реального, о котором не надо говорить, чтобы его увидеть, и воображаемого, существование которому дает лишь слово, — из этих двух миров для лишенного воображения Бози только первый обладал формой и значением. Бози был равнодушен ко всему, что не касалось еды, питья, развлечений, мюзик-холлов, парней, которых Уайльд угощал обедами в отдельных кабинетах, рассказывая им о палестрах и греческих эфебах. Единственную тему их бесед составляло то, что в светозарном кругу Платонова «Пира» или при взгляде на некоторые античные

статуи могло иметь огромное очарование, могло породить новую версию прекрасной легенды, но стало чем-то гнусным при столкновении с людьми, которые крали письма Уайльда и вымогали у него деньги. Знакомства Дугласа отнюдь не имели основой «постижение высшей красоты через видимую форму».

Весною 1892 года приехала Сара Бернар. В театре «Палас» она должна была играть в «Саломее»...

В феврале следующего года «Саломея» вышла отдельной книжкой...

Бози получил книжку в переплете зеленого сафьяна с золотыми ненюфарами. Он тут же принялся переводить ее на английский язык. Часть своей рукописи он привез в Торки, где они с Оскаром собирались провести несколько недель. Обнаружилось, что Бози вносит в текст собственные домыслы, произвольно и неудачно его меняет. Уайльд сделал замечание. Дуглас воспылал гневом.

— Ты тщеславен, — кричал он, — тщеславен до глупости. Ты считаешь себя самым великим человеком в мире, а ты просто плохой поэт. Я поэт, а ты нет.

Он швырнул рукопись к ногам Оскара.

Когда Бози садился в экипаж, Оскар крикнул из окна:

— Клянусь всем, чем хочешь, отныне между нами все кончено. Кончено.

Дуглас погрозил ему кулаком. А на другой день прислал телеграмму из Бристоля. Несколько часов спустя прибыло письмо. Бози просил прощения и спрашивал, можно ли вернуться. Оскару хотелось поехать встречать, но он остался. Все, что он намеревался высказать Бози, все горделивые и язвительные слова улетучились при виде Альфреда.

Вместе возвратились они в Лондон, а потом Оскар проводил его в Оксфорд.

«Чувствую себя очень одиноким без тебя, — писал Оскар на следующий день, — вдобавок угнетают денежные затруднения. Как это неуютно — жить в стране, где культ красоты и любви считают преступлением. Ненавижу Англию. Могу переносить ее только потому, что в ней живешь ты, мой дорогой мальчик...»

На лето Оскар снял дачу в Горинге, на берегу Темзы. Бози сам выбрал дом и привез туда своего слугу. Через неделю покой и тишина ему наскучили. Он пригласил нескольких приятелей из Оксфорда, которые три дня наполняли дом невероятным шумом. Назавтра после их отъезда на Альфреда по какому-то пустячному поводу нашел приступ его необузданной ярости, посыпались брань и проклятия — это было отвратительно. Игра в крокет прервалась. Оскар молча отвернулся, ему вдруг захотелось, чтобы Дуглас умер, и он боялся, как бы тот не прочитал эту мысль на его лице. Только почувствовав, что вид прелестного луга умиротворил его искаженные гневом черты, Оскар мягко сказал:

— Бози, мы только портим себе жизнь. Ты меня губишь, и я не могу дать тебе счастья. Расстаться, расстаться навсегда — вот единственно разумное, что мы можем сделать.

Дуглас уехал. Через три дня он из Лондона прислал телеграмму, в которой отказывался от своих слов, умоляя простить. Потом вернулся.

Лето было такое жаркое, что даже кататься на лодке по реке не хотелось. Бози раздевался догола. Оскар обливал его водою из шланга для поливки цветов. Однажды они не заметили, что в сад кто-то вошел.

— Я — пастор этого прихода.

Уайльд сидел в плетеном кресле, укутавшись в мягкий купальный халат. При звуке сухого, скрипучего голоса он обернулся и увидел черную, худощавую фигуру. Лысый череп слегка качнулся в поклоне, костлявые, желтые руки прижимали к груди черную шляпу.

— Рад приветствовать вас. — Уайльд как мог плотнее и благопристойнее запахнул на себе халат. — Вы явились в самую удачную минуту, чтобы полюбоваться сценой из греческой древности.

В нескольких шагах лежал на траве Бози, совершенно голый. Пастор, смутясь, минуту постоял с открытым ртом, затем убежал. Еще в прихожей дома он слышал громкий смех Уайльда.

Двенадцать недель, почти без перерыва, Оскар находился в обществе Дугласа. Он был утомлен, нуждался в покое и отдыхе. В Динарде, куда он поехал к концу лета, он искал более светлых дней, подальше от этих тревожащих голубых глаз. Через две недели он вернулся в Лондон и снял на Сент-Джеймс-плейс небольшую квартирку, где мог бы работать. Дугласу убежище было неизвестно, а тем временем там созревала комедия «Идеальный муж».

Но и там нашлось вдоволь щелей, через которые вползала праздность. Ведь Оскар уже давно из всех трудов творчества оставил себе лишь самое приятное занятие — мечты. Он так долго довольствовался этим бесплодным флиртом, что стал бояться долгих мук, с какими рождается произведение. Ему стала чужда борьба, одновременно страшная и заманчивая, со словом и мыслью, он не испытывал безграничного отчаяния и горя от разлуки с листом бумаги, не видел нависшего над головою, готового обрушиться черного свода, — он уже только мог подчиняться

равномерному колыханию подсказанных разговором фраз и принимал легкость за мастерство.

Вскоре Уайльд затосковал по Дугласу. По его смеху, голосу, даже крикам. Думал уже только о том, что скажет, когда тот появится опять, как будут звучать слова Бози, какой будет блеск в глазах, в каком Бози будет настроении.

«Мой дорогой мальчик, — написал он наконец, — это действительно нелепо: я не могу жить без тебя. Ты мне так дорог, ты такой чудесный. Думаю о тебе целыми днями, мне не хватает твоего изящества, твоей молодости, ослепительного фехтования остротами, нежной фантазии твоего таланта... Твоя дивная жизнь всегда рядом с моей жизнью... Какое счастье, что в мире есть кто-то, кого можно любить!»

Назавтра Дуглас оказался в квартире на Сент-Джеймс-плейс. Он был лучезарно светел в костюме из желтой фланели, и лишь три цветные пятна выделялись на фоне этой палевой гармонии: голубые глаза, розовый галстук и сиреневый уголок платка в кармане. О работе уже не было речи. Оскар, правда, как и прежде, садился в половине двенадцатого за стол, но почти в ту же минуту доносился стук колес экипажа. Появлялся Дуглас, курил папиросы, болтал до половины второго. Затем ленч. Они ехали вместе в «Кафе-роял» или в «Беркли». Черный кофе и ликеры затягивались обычно до половины четвертого. Дуглас на час заходил в Уайт-клуб. К пяти он уже возвращался. Пили чай, надевали фраки и ехали в «Савой» обедать. Когда на следующий день Оскар вспоминал, чем занимался накануне, его охватывало чувство тщеты и невыносимой пустоты. Хотелось вернуть время, прожить час за часом по-иному — было грустно до слез. Так продолжалось три месяца с перерывом в четыре

дня, которые Альфред провел за границей. Оскар ездил в Кале — встретить его...

P. S. В 1896 г. лондонский судья Олд Бейли приговорил выдающегося ирландского писателя и драматурга Оскара Уайльда к двум годам тюремного заключения за мужеложество.

Документы, относящиеся к этому делу, до сих пор хранятся в секретных архивах.

Это объясняется тем, что маркиз Куинсберри довел до сведения правительства, что, если Уайльд не будет привлечен к суду за интимную связь с его младшим сыном, он информирует общественность об интимной связи бывшего премьер-министра лорда Розбери с его старшим сыном виконтом Драмлерингом, которая явилась причиной самоубийства последнего.

КЕППЕН

Вольфганг Кеппен (р. 1906) — немецкий писатель. Учился в университете, работал в театре и кино. Первое произведение — «История несчастной любви» — появилось в 1934 г. Основные сочинения Кеппен создал в послевоенное время. Мировую известность писателю принесли романы «Голуби в траве», «Теплица» (1953), «Смерть в Риме» (1954). На мировоззрение Кеппена существенное влияние оказал фрейдизм. Писатель убежден, что человеком и миром правят грубые и низменные инстинкты. Для его стиля характерно сочетание журналистского эссеизма и высокой поэтичности.

СМЕРТЬ В РИМЕ

После того, как Зигфрид и Адольф долго бродили по городу мимо ночных садов и каменных стен, после бесцельных споров о спорных целях, после звездной меланхолии и тщетных попыток приблизиться к незримому, Зигфрид пригласил двоюродного брата зайти в бар. Ему не нравились такие заведения, но его забавляли посетители-гомосексуалисты, сидевшие перед стойкой на высоких табуретах, забавляли их бабьи повадки, их фальшивое птичье щебетанье, их женоподобное тщеславие, их ложь и игра в ревность, их бесконечные, запутаннейшие романы; взрослые мужчины были Зигфриду неприятны, ему нравилась горькая и терпкая красота подростков, и он восхищался чумазыми уличными мальчишками, с их дикими забавами и лицами в шрамах, оставшихся после драк. Они были недоступны и неуязвимы и поэтому не вызывали в нем разочарования. Он желал их только взглядом, он любил их только в своем воображении, он как бы

духовно, эстетически отдавался красоте, они вызывали в нем волнующее чувство радости и печали. Порой Зигфрид сближался с женщинами, напоминавшими ему этих мальчишек, и тут современные вкусы шли ему навстречу, существовало множество безгрудых девушек, которые бродили по жизни с растрепанными мальчишескими вихрами, в длинных шелковых или полотняных брюках, но в них был скрыт источник материнства. И упорно действовала биологическая алхимия, а Зигфрид не хотел продолжать свой род. Мысль о том, чтобы дать жизнь новому существу, которое ждут непредвиденные встречи, случайности, действия и противодействия и которое, в свою очередь, через поступки, мысли или дальнейшее размножение будет влиять на далекое будущее, мысль о том, что он может стать отцом ребенка, казалась ему вызовом миру, приводила просто в ужас и омрачала отношения с женщинами, даже когда применялись предохранительные средства, омерзительно неприятные сами по себе и омерзительно неприятно напоминавшие о том, от чего они предохраняли. В глазах Зигфрида физическое рождение было преступлением, но, конечно, не для всех. Других можно оправдать легкомыслием и неразумием, для него же это было преступлением. Семя оскверняет красоту, рождение слишком похоже на смерть.

Адольф был несколько ошарашен элегантностью этого бара, истинное лицо которого, однако, осталось для него скрытым; его стесняли эти канделябры, сияющие зеркала, лиловые фраки красавцев официантов. Конечно, в своем облачении духовного лица он не мог взгромоздиться на высокий табурет перед стойкой и решил, что даже сидеть на улице перед баром на одном из расцвеченных стульев едва ли будет для него прилично...

Лаура видела, что в бар вошел священник, и так как она была благочестивой католичкой, ее оскорбило, что даже священники стали гомосексуалистами; конечно, такие люди встречаются и среди духовенства, но ее возмущало, что этот явился именно в этот бар, он же выдал себя и поступил дурно, хотя в баре ничего непристойного не происходило; но потом, наблюдая за усевшимся Адольфом, она заметила, как он пожирает ее глазами, поняла, что никакой он не гомосексуалист — у нее был наметанный глаз — поняла также, что он невинен, и не за тем пришел в бар, и теперь сидит перед ней, невинно уставившись на нее, не помышляя о мужчинах, и было что-то в лице его, напоминавшее ей другое лицо, лицо человека, также не интересовавшегося мужчинами, но она не могла вспомнить, чье именно, и лицо того человека не было невинным; тогда она стала улыбаться, улыбаться своей прелестнейшей улыбкой, и думала при этом: да-да, я бы пошла на это, правда, это грех, но не такой уж большой грех, я пошла бы на это, а в грехе своем покаялась бы. И Лаура почувствовала, что она — подарок, у нее есть что дарить, и обрадовалась, что и священнику можно сделать подарок, очень хороший подарок; Лаура знала — такой подарок будет большой радостью.

Адольф рассказал мне о деньгах, данных ему отцом. Он рассказал мне об этом в парке и хотел бросить деньги на дорожку в надежде, что их найдет бедняк, но я отговорил его, ведь банкноты скорей всего найдет какой-нибудь богач, скупердяй или ростовщик. И тогда Адольф добавил, что отец, дав деньги, посоветовал на них купить женщину. Я же сказал ему:

22 Заказ 773

— Ту девушку за кассой ты за эти деньги не купишь. Ты сможешь купить себе только очень дешевую девчонку, и не на вио Венето.

Он ответил, что это пошлость, а я возразил, что нет, не пошлость, он покраснел, а потом спросил, неужели я знаю любовь только как разврат.

— Нет, — ответил я. — Я не знаю, что назвать развратом.

Но он меня не понял: он выучил в семинарии и назвал мне всевозможные греческие термины для различных обозначений любви; я тоже знал эти греческие слова и тоже воображал, что ищу Федру. Пусть он попробует, пусть отведает горько-сладкого напитка. Я подошел к Лауре, оплатил чек для бармена и спросил, сможем ли мы проводить ее, а она заулыбалась так, словно перед нею предстал ангел...

...тут я обернулся и увидел Юдеана, который проталкивался к стойке. Я был поражен, он, видимо, тоже, мы уставились друг на друга, и мне следовало бы тут же отвернуться, но мне показалось уж очень смешным, что Юдеан здесь, в баре гомосексуалистов, в адском круге, где находимся мы, грешники, меня так и подмывало его подразнить, и я сказал:

— Разве ты тоже стал увлекаться мужчинами, дядя Юдеан?

Лицо его исказилось, он посмотрел вокруг и, кажется, только сейчас поняв, где находится, яростно прошипел:

— Я всегда подозревал, что ты такая же скотина, как эти!

Подозревал! А подозревал он, почему я стал таким? Подумал он о нацистской школе и мальчиках, насильно одетых в солдатские куртки, — они были красивы, когда снимали форму, и, сбросив одежду, из маленьких чиновников превращались опять в

мальчуганов, которые жаждут любви и нежности и чьи молодые тела полны желаний...

...и я сказал ему:

— Адольф тоже здесь!

Юдеан проследил глазами за моим взглядом, и мы увидели Адольфа, одиноко сидевшего за столиком, он бросался в глаза своей сутаной, своим одиночеством среди щебечущих и кудахтающих гомосексуалистов, мы увидели, как он смотрит на Лауру, и я опять обратился к Юдеану:

— Он тратит те деньги, которые ты ему дал на девушку...

ТЕННЕССИ УИЛЬЯМС

Крупнейший современный американский писатель и драматург Т. Уильямс родился в штате Миссисипи в 1911 году. Получил университетское образование. Известен прежде всего как драматург и эссеист. Критическое восприятие действительности, сочувствие своим героям — отличительная черта таких известных во всем мире пьес Уильямса, как «Трамвай Желание», «Орфей спускается в ад» и др. Отдельными пьесами Уильямс нередко эпатировал самих американцев («И вдруг минувшим летом», «Нечто невысказанное», «Спектакль для двоих» и др.), которые считают его одним из самых «крутых» авторов. Умер в 1983 году.

ОДНОРУКИЙ

Зимой тридцать девятого года в Новом Орлеане на углу Кэнэл-стрит и одной из этих улиц, которые узким клином впадают в старую часть города, обычно дежурили трое мужчин-проституток. Двое, ребята лет семнадцати, достойны лишь беглого упоминания, зато третьего — самого старшего из них — невозможно было обойти вниманием. Его звали Оливер Уайнмиллер. До того как потерять руку, он был чемпионом Тихоокеанского флота среди боксеров-полутяжеловесов. И теперь выглядел как статуя Аполлона с разбитой рукой; его безразличное, равнодушное отношение ко всему происходящему еще более усиливало сходство со статуей.

В то время как двое юнцов в поисках добычи с резвостью воробьев носились по улицам, залетая то в один бар, то в другой, Оливер стоял на месте и ждал, пока с ним заговорят. Сам он первым никогда не заговаривал и ни к кому не «клеился»,

даже взглядом. Казалось, он смотрел поверх голов с безразличием, которое не было ни напускным, ни мрачным, ни высокомерным, — просто ему было все равно. Погода его почти не волновала. Когда шел дождь и с залива дул холодный ветер, юнцы в своих поношенных пиджаках втягивали головы в плечи и дрожали; их как будто не было видно; Оливер же оставался в нижней рубашке и джинсах, которые от долгой носки и многократной стирки стали почти белыми; в этой облегающей тело одежде его можно было принять за изваяние.

На углу происходили такие разговоры:

— Парень, а ты не боишься простудиться?

— Нет, я не простужаюсь.

— Но когда-то это может произойти.

— В принципе, конечно.

— Ну, значит, надо пойти согреться.

— Куда?

— Ко мне домой.

— Где это?

— Тут, неподалеку. В Квартале. Мы возьмем такси.

— Лучше пошли пешком, а деньги за такси вы отдадите мне.

Оливер стал калекой два года назад. Это случилось в морском порту Сан-Диего, когда взятая внаем машина, в которой он ехал с приятелями-моряками на скорости сто двадцать километров в час, врезалась в стену подземного туннеля. Двое моряков погибли на месте, третий получил перелом позвоночника и до конца жизни вынужден ездить в инвалидной коляске, а Оливер отделался легче всех — только потерей руки. Ему было тогда восемнадцать лет, и жизненного опыта он тогда не имел.

Он родился и вырос на хлопковых полях Арканзаса, где знал только тяжелую работу под солнцем

и нехитрые развлечения с местными девушками по субботам и восресеньям. Однажды, правда, он неожиданно завел роман с замужней женщиной, муж которой возил дрова. Она первая заставила его осознать, что он способен вызывать необычное возбуждение. Чтобы прервать эту бесперспективную связь, он убежал из дома и попал на военно-морскую базу в Техасе. В период обучения, пока Оливер был «салагой», он начал заниматься боксом; вскоре прекрасно проявил себя и стал видным претендентом на звание чемпиона флота. Жить стало хорошо и просто — ведь думать-то ни о чем не надо было! Требовалось только следить за тем, чтобы тело и нервы были в порядке. Но когда он потерял руку, то остановился в росте как атлет и как человек, и оказался вычеркнутым из той жизни, к которой готовился.

Словами объяснить ту психологическую перемену, которая произошла в его организме после получения увечья, он не мог. Знал, что потерял правую руку, но не отдавал себе отчета в том, что вместе с рукой пропал и стержень его бытия. Однако бессознательное темное чувство, которое нельзя объяснить, вырвалось из тайных глубин и изменило его гораздо быстрее, чем зажила его культя. Он никогда не говорил себе: «Я — конченный!», но бессознательно это чувствовал, и потому, когда вышел из больницы, уже был готов к преступным действиям.

Он отправился в путь и сначала приехал в Нью-Йорк. Именно там впервые познал то, что в дальнейшем стало его натурой. Другой молодой бродяга, более опытный, прикинул его товарную стоимость и научил, как себя предлагать. За неделю однорукий юноша полностью адаптировался к вкусам обитателей «дна» — Таймс-Сквер, бродвейских баров — и любителей вечерних прогулок по аллеям

Центрального парка. Вначале новое дело показалось ему необычным, но шок был минимальным. Потеря руки, очевидно, притупила его чувства. Не так давно он сбежал из дома, когда любовные желания женщины приобрели противоестественные формы; теперь же он не чувствовал никакого стыда, даже когда туалетное мыло и горячая вода до конца не смывали следов греха.

Когда лето прошло, он подался на юг, какое-то время жил в Майами и там разбогател. Завел знакомство с богатыми спортсменами и всю осень ходил по рукам. Денег у него водилось больше, чем он мог истратить — на одежду и развлечения. Однажды вечером на яхте, принадлежавшей какому-то брокеру и стоявшей недалеко от гавани Палм-Бич, он напился и по какой-то необъяснимой причине стал бить хозяина медным книгодержателем; последний, восьмой, удар расколол ему череп. Оливер бросился в воду, поплыл к берегу, собрал вещи и дал деру. На этом относительно благополучное существование однорукого закончилось, ибо с того времени он вынужден был постоянно менять местожительство, стараясь затеряться среди бродяг в каком-нибудь большом городе.

Однажды зимним новоорлеанским вечером, вскоре после «Мари-Гра», когда он стал подумывать о переезде на север, его забрали и отвезли в тюрьму, причем, не за проституцию, а по подозрению в убийстве хозяина яхты в Палм-Бич. И через пятнадцать минут он сознался.

Оливер вряд ли долго пытался хитрить и вилять.

Чтобы развязать язык, ему дали полстакана виски, и он подробно рассказал о вечеринке на яхте брокера. Оливеру и женщине-проститутке заплатили по сотне долларов каждому за участие в съемках порнофильма, кадры которого должны

были сопровождаться непристойным комментарием. Пьяные режиссеры раздели его и девушку перед камерой и заставили проделать такое, чем люди обычно занимаются без свидетелей. До конца съемки довести не удалось. К своему удивлению, Оливер вдруг взбунтовался, ударил женщину, пнул камеру ногой и выскочил на палубу. Там он понял, что, если останется на яхте, совершит еще нечто более ужасное. Но когда все уплыли на катере к берегу, Оливер остался, потому что хозяин ему щедро заплатил и пообещал еще.

— Когда мы оказались вдвоем, я понял, что ему несдобровать, — написал Оливер в объяснительной записке полиции; она потом использовалась прокурором в качестве доказательства предумышленности убийства.

На процессе все свидетельствовало против него. Его показания не могли перевесить показаний именитых свидетелей, которые клялись, что никаких безобразий на яхте не происходило (ни о порнофильме, ни о женщине-проститутке никто и слыхом не слыхивал). А так как Оливер снял с убитого бриллиантовое кольцо и забрал бумажник с деньгами, он был обречен — приговорен к электрическому стулу.

Арест убийцы брокера широко освещался в прессе. Лицо однорукого смотрело со страниц газет на тех молодых людей, которым довелось с ним встречаться; никто из них его не забыл; высокий светловолосый юноша, который был боксером до того как потерял руку, казался им планетой, а они — его спутниками. А теперь его где-то схватили и он должен был умереть. И в некотором смысле опасность вновь возвратила его к ним — теперь он уже не стоял на шоссе и не несся куда-то в грузовиках, а был заперт в камере и ожидал конца.

Они стали писать ему письма. Каждое утро тюремщик просовывал их сквозь решетку. Письма подписывались фиктивными именами, и если Оливер захотел бы ответить, то ему пришлось бы писать по адресу почтовых отделений тех больших городов, в которых он имел клиентуру. Написаны были они на прекрасной белой бумаге, от которой иногда исходил легкий аромат духов; в некоторые конверты были вложены деньги. Содержание их почти не отличалось друг от друга. Все писали, что были поражены, когда узнали о случившемся, и до сих пор не могут поверить; это для них — дурной сон и так далее. Все вспоминали о совместно проведенных ночах (или часах) и писали о том, что это были лучшие минуты их жизни; о том, что есть в нем что-то такое, кроме его физических данных (что тоже, разумеется, очень важно), из-за чего он не выходит у них из головы.

То, что они имели в виду, было шармом побежденного — он действовал как бальзам для тех, кто считал свою позицию активной. Это качество редко сочетается с молодостью и физической красотой, но у Оливера было и то, и другое, и третье; из-за этого его и не могли забыть. И будучи приговоренным к смерти, Оливер стал для своих корреспондентов невидимым священником, который терпеливо выслушивает признание ими своей вины. Стандартные отговорки, вроде «не знал», «не понимал», отбрасывались, а на бумагу, как вода из прорванной плотины, выплескивались потоки их горестей и печалей, а также восклицания типа «Mea culpa»[1]. Для некоторых он стал даже архитипом Спасителя-на-Кресте, который добровольно принял на себя грехи мира — они будут смыты и очищены его

---

[1] Моя вина! *(лат.)*

страданиями и кровью. Эти письма приводили заключенного в ярость — он рвал их и топтал ногами, а клочки бросал в мусорное ведро.

В соответствии с неумолимым законом Оливеру пришлось ожидать казни несколько месяцев — летних месяцев. А так как делать в душной камере было нечего, он стал думать о своей прежней жизни, возвращаться к ней в воспоминаниях, и поводом для них постепенно стали эти письма.

Он сидел на раскладном стуле или лежал на койке в этом «доме смерти», и ему казалось, что нет большой разницы между тем, что происходит сейчас, и тем временем, когда он стоял у каменной стены на углу Кэнэл-стрит в насквозь промокших джинсах и нижней рубахе, ожидая, что кто-нибудь попросит у него прикурить или спросит, который час. Ему выдали колоду карт со следами шоколада и зачитанные книги комиксов — чтоб быстрее летело время. Еще в конце коридора было радио, однако Оливер его не слушал, равно как и не смотрел цветных картинок из мира детства, которыми пестрели книги комиксов. И лишь письма — лишь они продолжали его интересовать.

Через некоторое время он прочел все письма, перетянул их резинкой и положил на полку. Однажды ночью, не соображая, что делает, он полез за ними, взял, сунул под подушку и заснул, положив на них руку.

За несколько недель до казни Оливер начал отвечать тем корреспондентам, кто особенно жаждал ответа. Он писал мягким графитовым карандашом, который таял на глазах, потому что ломался, когда Оливер неосторожно на него нажимал. Писал на манильской бумаге, которую клал в специальные (правительственными органами проштампованные)

конверты и отправлял в те города, где когда-то ему жилось лучше всего.

Из родных у него в живых никого не осталось, поэтому тюремные письма стали его первым эпистолярным опытом. Сначала дело продвигалось с трудом, и даже простые предложения требовали напряжения всех мышечных усилий его одной руки, но потрясающе скоро дело пошло, и фразы стали струиться, как живая вода из источника; в них зазвучали экспрессивные нотки и слышались просторечные выражения, характерные для южан — выходцев из глуши; к ним присоединялись хлесткие идиомы из жаргона деклассированных элементов, шоферов, моряков — из того мира, в котором ему довелось вращаться. Встречались и те живые и теплые словечки, которые слетают с губ под влиянием алкоголя и дружеского общения. Он часто пользовался популярным для комиксом символом смеха «ха-ха», рисовал его с двумя вопросительными и восклицательными знаками, после которых шли звезды и спирали. Перенести все это на бумагу — значило ослабить внутреннее напряжение, грозившее взрывом. Нередко письма сопровождались иллюстрацией — рисунком стула, на котором его должны были казнить...

Вот одно из его писем:

«Да, я хорошо тебя помню. Мы познакомились в парке позади общественной библиотеки или в туалете на автовокзале компании «Грейхаунд». Вас так много — вот и я путаю. Но тебя помню отчетливо. Ты не то спросил у меня время, не то захотел прикурить, мы стали болтать, и вдруг — что такое? — уже кайфуем у тебя дома. А как сейчас в Чикаго — ведь опять лето? Отлично помню, как подуло с озера, это было очень в жилу после

бутылки пятизвездного коньяка — мы с тобой ее раздавили. А теперь послушай, что скажу тебе: «Ну и жарко в этом холодильнике!» Холодильничек-то ничего. Ха-ха! Я твердо знаю: скоро мне будет еще жарче, прежде чем станет совсем холодно. Понимаешь, о чем я? Об этом электрическом стуле, он только и ждет, когда я на него плюхнусь. Это будет десятого августа, приглашаю, только вряд ли тебя пустят. Зрелище для избранных. Наверное, тебе интересно, боюсь я или нет. Да, боюсь. Стараюсь не думать об этом. Пока была рука, я был боксером, а потом во мне что-то сломалось, не знаю что, но весь мир осточертел. А на себя стало наплевать. Уважение к себе потерял, это точно.

Я мотался по стране просто так, безо всяких планов, ездил, чтобы не застояться. Знакомился с мужчинами везде, куда приезжал. Ну, в первую очередь, чтобы было где переночевать, чтобы накормили и напоили. Но никогда не думал, что для них контакт со мной так важен, а теперь все эти письма, и твое тоже, это доказывают. У меня сейчас такое ощущение, что всем этим людям, чьи лица и имена я сразу же, как мы расставались, забывал, я что-то должен. Не деньги — чувства. А ведь с некоторыми я поступал по-свински: уходил, не попрощавшись, хотя они были очень радушны, — и даже кое-что у них спер. Не представляю, как меня можно простить. Если б я знал, когда был на свободе, что у этих людей, с которыми я знакомился на улице, настоящие чувства, может быть, у меня было бы больше желания жить. А сейчас положение безнадежное. Очень скоро для меня все кончится. Ха-ха.

Ты, наверное, не знаешь, что я был не только боксером, но и художником, а потому нарисовал тебе этот шедевр!»

Письма были его единственным занятием, и подобно тому, как нагревается камень, брошенный в раскаленные угли, так и общение с единоверцами согревало его сердце. Человеческие контакты перед переходом в иной мир могли означать для него спасение. Так обеспечивалось единство духа и тела — стержень, на котором держалась жизнь, чего не было у него со времени потери руки. Не имея этого стержня, человек возводит вокруг себя глухие стены и живет словно в осажденной крепости; вот почему до сих пор Оливер был столь холоден и замкнут — ведь внутри крепости калеки-чемпиона лежали руины, и на поле сраженья было мало чего такого (если вообще было), за чье возрождение стоило бы бороться. Теперь же что-то в нем встрепенулось, ожило.

Но это возвращение к жизни было безжалостным — оно произошло столь поздно. Безразличие исчезло, а ведь ему лучше было бы остаться — с ним легче умирать. Время побежало быстрее. В камере, не знавшей перемен, время между жизнью и смертью таяло на глазах, словно тот мягкий графитовый карандаш, которым он писал свои письма.

Как он хотел теперь жить!

До того, как Оливер попал в тюрьму, он думал, что его искалеченное тело теперь ни для чего другого не пригодится, как для похоти. «Ты Богом проклятый калека!» — твердил он себе. Раньше ощущения, которые он вызывал в других, были не только ему не понятны, но и отвратительны. Однако в тюрьме поток писем от мужчин, которых он забыл, но которые не забыли его, пробудил в нем интерес к себе. В нем стали оживать эротические ощущения. Он со скорбью почувствовал удовольствие, когда пах легко возбуждался в ответ на

прикосновения. Жаркими июльскими ночами он лежал на койке голый и огромной рукой без особой радости исследовал все те эрогенные зоны, которых сотни других рук, тысячи незнакомых пальцев касались с такой ненасытной жадностью; теперь страсть стала ему понятной. Но слишком поздно произошло это воскресение. Время сладострастных стонов должно было умереть тогда же, когда отрезали руку, — в больнице Сан-Диего.

Раньше Оливер особенно не замечал ограниченности пространства своей камеры; по крайней мере, это его не беспокоило. Достаточно было сидеть на краю койки, а двигаться — столько, сколько было нужно, чтобы поддерживать функции тела. Это было нормально. Но теперь он смотрел на все другими глазами; каждое утро ему представлялось, что за ночь, пока он спал, пространство таинственным образом уменьшилось. Все то, что он сдерживал в себе, теперь жаждало освобождения и рвалось наружу. Тревога переросла в страх, а страх — в панику.

На месте он спокойно сидеть не мог ни минуты. Его тяжелые — словно огромной обезьяны — шаги слышались и в дальнем конце коридора. Громко шлепая босыми ногами, он быстро ходил от стены к стене своей камеры. Сам с собой разговаривал — сначала тихо и монотонно, потом громче, а в конце концов болтовня вступила в конкуренцию с тюремным радио. Сначала, когда ему приказывали замолчать, он слушался, но потом паника сделала его глухим к голосам охранников, и им приходилось орать на него и угрожать наказанием. А он хватался за металлическую решетку дверного окошка и обрушивался на охранников с такими ругательствами, которых и они себе не позволяли. Такое поведение смертника привело к тому, что стража стала обра-

щаться с ним без того милосердия, которое она могла бы проявить к человеку, чьи дни были сочтены. В конце концов за три дня до казни во время одного из припадков на него направили брандспойт — он упал и в потоках воды продолжал кричать и ругаться; воспаленное воображение однорукого мучали кошмары.

К этому времени писать письма он уже перестал, а когда успокаивался, то рисовал в своем блокноте дикие рисунки и делал к ним не менее дикие надписи; особенно часто повторялось огромное «ха-ха» с последующей вычурной, кричащей пунктуацией. В последние дни ему в пищу стали добавлять транквилизаторы, но он был на таком взводе, что порошки почти не действовали; лишь ненадолго погружался в сон, во время которого его преследовали кошмары, даже хуже, чем наяву.

За день до казни Оливера в камеру смертника пришел посетитель.

Это был молодой лютеранский священник, который только что окончил семинарию и еще не получил направления. Оливер отказался от встречи с тюремным священником. Об этом написали в местных газетах и поместили его фотографию с надписью: «Приговоренный к смерти юноша отказался от отпущения грехов». В статье говорилось также о тяжелом характере Оливера, его гордыне и об агрессивном поведении в тюрьме. Но фотография эту информацию опровергала: красивое мужественное лицо блондина и глаза, в которых застыл нежный взгляд, — так озорной художник эпохи Возрождения мог изобразить юного святого. О таких, как Оливер, чувствительные комментаторы говорят: «Убийца с лицом ребенка».

С того момента, когда он увидел фотографию, лютеранский священник потерял покой: Бог велит

ему туда пойти — и он покорился высшей воле. Стремление повидать заключенного было настолько сильным, что он легко убедил охрану: его миссия к юноше навеяна божественным промыслом; но когда ему выписали пропуск, сила духа его покинула, священник впал в панику и убежал бы, если бы охранник не шел с ним рядом.

Когда священник вошел в камеру, Оливер сидел на краю койки и бессмысленно тер ступню голой ноги. На нем были только шорты, и почти все его обнаженное потное тело горело и источало жар, словно прожектор. Священник взглянул ему в глаза и вдруг вспомнил, как однажды летом в детстве он каждый день ходил в зоопарк смотреть на огненного ягуара. Животное, очевидно, было свирепым, во всяком случае, табличка просила посетителей держаться от него подальше. Но взгляд зверя излучал невинность. И мальчик, который был чрезвычайно робким и страдал от беспричинных страхов, нашел неожиданное успокоение в этом взгляде. С тех пор ягуар нежно смотрел на него из темноты, когда он закрывал глаза — перед тем, как заснуть. Он заливался слезами от жалости к заключенному в клетку животному — по всему телу разливалась сладкая истома. И он засыпал.

Но однажды он увидел ягуара в не совсем приличном сне. Перед ним в чаще леса возникли огромные лучезарные глаза, и он подумал: если я буду лежать тихо, ягуар подойдет ко мне, и я не испугаюсь — ведь мы давно общаемся через решетку клетки. Он разделся и лег на землю в лесу. Подул холодный ветер — его бросило в дрожь. Обуял страх, нервы напряглись. Он начал сомневаться в том, что ягуар не причинит ему зла. Страшно было открывать глаза. Но он все-таки решился как можно медленнее и беззвучнее сгрести побольше листьев

вокруг своего дрожащего, голого тела и свернуться под ними калачиком, едва дыша. Теперь, он надеялся, ягуар его не найдет. Однако холодный ветер, становившийся все сильнее, разметал листья в разные стороны. И вдруг — несмотря на леденящий холод — он в темноте почувствовал тепло и понял, что оно исходило от приближавшегося к нему огненного ягуара. Прятаться теперь было бесполезно, бессмысленно было и бежать. И тогда он выпрямился, раскинул руки и ноги и всем видом изобразил свое полное доверие и покорность. И почувствовал, как ягуар начал ласкать его. Мокрый язык зверя делал то, что делает животное, когда купает детенышей: облизал ступни и медленно двинулся вверх по ногам, пока не достиг паха, создав сладостно-наркотическое ощущение. Тут сон приобрел неприличный поворот, и мальчик проснулся, сгорая от стыда, — он обнаружил под собой жгучие и влажные следы Эроса.

После этого он видел огненного ягуара только раз и понял, что больше не может без угрызений совести смотреть в лучистые глаза зверя. Идиллия кончилась — и, как ему казалось, навсегда. Но сейчас священник вновь встретился с тем же взглядом огненного ягуара, говорившим: «Невинности грозит опасность!» Сходство было столь сильным, что к священнику, знавшему, к чему это приведет, вернулось инстинктивное детское желание свернуться калачиком и укрыться листвой.

Но вместо этого он полез в карман и достал упаковку таблеток.

Теперь юноша пристально смотрел на него, но никто из них не осмеливался заговорить. Охранник постоял-постоял и ушел к себе, в дальний, невидимый конец коридора.

— Что это? — спросил юноша.

— Барбитал. Мне не по себе, — прошептал священник.

— Что вас беспокоит?

— Сердце пошаливает.

Священник положил таблетку на язык, но из-за сухости во рту не смог проглотить ее.

— Вы не могли бы подать мне воды? — попросил он.

Оливер встал, подошел к крану, налил в эмалированную кружку тепловатой воды и подал ее гостю.

— Зачем вы пришли? — спросил молодой человек.

— Просто поговорить.

— Мне нечего сказать. Дело-то состряпано.

— Тогда можно я вам что-нибудь почитаю?

— Что именно?

— Двадцать первый псалом.

— Я уже сказал, что священника видеть не хочу.

— Я не священник, я просто...

— Кто просто?

— Просто незнакомец, сочувствующий тем, кого не понимают.

Оливер пожал плечами и снова принялся тереть ступню. Священник вздохнул и откашлялся.

— Вы готовы? — прошептал он.

— К чему? Жариться на электрическом стуле? Нет — если вы об этом. Но стул готов, так что все остальное не имеет значения.

— Я говорю о вечности, — сказал священник. — Этот мир, в котором мы временно пребываем, есть только преддверие чего-то Великого и Необъятного, что находится вне пределов.

— Чушь! — сказал Оливер.

— Вы мне не верите?

— Почему я должен вам верить?

— Потому что вы вот-вот отправитесь в последний путь!

Эти слова он произнес с патетикой. Юноша посмотрел на него немигающим взглядом, и священник, не выдержав его, отвернулся — так же как в последний раз отвернулся от ягуара.

— Ха-ха, — засмеялся Оливер.

— Я только хочу вам помочь понять...

Оливер оборвал его.

— Я был боксером. И потерял руку. За что?

— Вы упорствовали в своих заблуждениях.

— Чушь! — сказал Оливер. — Ведь не я сидел за рулем. Я кричал этому сукиному сыну, чтобы он вел осторожнее, но он не слушал. Вот мы и врезались. Как боксер может быть без руки? Объясните!

— Этот случай давал вам возможность...

— Какую возможность?

— Духовно расти и познать Бога. — Он наклонился к Оливеру и схватил его за колени. — Не думайте обо мне как о человеке, а думайте как о связующем звене.

— Не понял.

— В вашей душе появился приемник, который позволит вам услышать голос Бога.

Юноша с любопытством уставился на священника. Потом сказал:

— Намочите полотенце.

— Какое полотенце?

— Вон то. Оно висит на спинке стула, где вы сидите.

— Но оно не очень чистое.

— Для меня сойдет.

— Что вы собираетесь делать?

— Вытереть пот.

Священник намочил мятую, жесткую ткань и протянул ее юноше.

— Сделайте сами.

— Что сделать?

— Вытрите пот с моей спины.

Юноша глубоко вздохнул и лег на живот — в испуганном воображении священника возникла встреча с ягуаром пятнадцатилетней давности.

Священник приступил к работе.

— От меня воняет? — спросил Оливер.

— Нет. Почему же?

— Я чистый, — сказал юноша. — После завтрака моюсь.

— Хорошо!

— Я всегда старался быть чистым. Чисто работал — и как боксер, и как проститутка.

Он засмеялся.

— Ха-ха! А вы не знали, что я был проституткой?

— Нет. — Ответил священник.

— Но я правду сказал. Это моя вторая профессия.

Священник продолжал работу и вдруг почувствовал громкий стук — словно какой-то невидимый барабанщик вышел из коридора, подошел к двери камеры, пролез через решетку и встал прямо над ними.

Это билось его сердце. С перебоями. И к дыханию стал примешиваться свист. Он уронил полотенце и полез в карман за таблетками, но когда достал упаковку, то увидел, что от пота они слиплись и превратились в белую пасту.

— Продолжайте, — проговорил Оливер. — Мне приятно.

Он прогнулся и приспустил шорты, обнажив узкие, скульптурные ягодицы.

— А теперь, — попросил Оливер с нежностью в голосе, — помассируйте меня.

Священник спрыгнул с койки.

— Ни в коем случае!

— Не будь дураком! Дверь — в том конце коридора, и она скрипит, когда входят.

Священник попытался уйти — юноша протянул руку и схватил его за запястье.

— Видишь эту связку писем на полке? Это счета от людей, которым я должен. Не деньги, чувства. Целых три года я болтался по стране и будил в людях чувства, но сам не чувствовал ничего. А теперь все изменилось — и я тоже стал чувствовать. Я одинок и ни с кем не общаюсь — как и ты. Таких, как ты, я знаю. Или артисты, или ушли в религию, но мне на это наплевать. А на самом деле ты только и мечтаешь, чтобы я сейчас тебе как следует..!

И, собираясь осуществить свое намерение, он пошел на священника.

Тот закричал. Вбежал охранник и вывел священника из камеры, поддерживая на всем пути, чуть ли не неся на руках. Довел до конца коридора, и там священника стало выворачивать — словно у него внутри все разорвалось.

Оливер это слышал.

— Может быть, ночью он вернется, — думал смертник. Но священник не вернулся, и Оливер умер, так и не отдав долг. Однако он принял смерть с большим достоинством, чем ожидалось.

В последние несколько часов он снова обратился к письмам: снова и снова их перечитывал, шептал что-то вслух. И когда охранник пришел, чтобы отвести его в камеру смерти, он сказал:

— Я хотел бы взять их с собой.

И понес письма в камеру смерти, как ребенок несет в зубоврачебный кабинет куклу и игрушку,

чтобы им — любимым! — не было скучно. Разве можно их дать в обиду?!

Он сел на стул и аккуратно положил письма между ног. В последнюю минуту охранник сделал попытку забрать их, но бедра Оливера сжались с такой отчаянной силой, что охранник плюнул — ладно, пусть останутся. А потом наступил тот миг: все вокруг загудело и потемнело. Стрелы молний, посланные неизвестной, хотя и имеющей практическое наименование и применение, но чрезвычайно таинственной силой, которая изначально дала статичному, бесконечному пространству тепло, свет и движение, мгновенно прошли через нервные клетки Оливера, а затем вернулись через те же огромные пределы, захватив с собой то, что принадлежало им в юноше, чью потерянную правую руку называли «молнией в коже».

После смерти тело не востребовали, и оно поступило в медицинский колледж для лабораторных исследований. Студенты, производившие вскрытие, были поражены: им показалось, что оно предназначено для высокой цели — находиться в галерее античных скульптур; чтобы им тихо восхищались; потому что в нем воплощалось благородство форм разбитой статуи Аполлона, которую еще раз высечь невозможно.

Но разве смерть понимает, что такое совершенство?!

ВАСКО ПРАТОЛИНИ

Васко Пратолини (1913–?) – итальянский писатель, журналист, участник движения Сопротивления. Автор «Семейной хроники», романов «Повесть о бедных влюбленных», «Метелло». Роман «Квартал», отрывок из которого помещается здесь, опубликован в 1945 г.

КВАРТАЛ

Джино теперь показывается редко, и, если кому-нибудь из нас случается рассказать ему о своих сомнениях, он привычным жестом проводит рукой по губам и говорит: «Для вас, я вижу, ничто не меняется! А ведь достаточно выйти утром из дому, чтобы случились чудеса. Иногда у меня такое впечатление, что вы такие же дети, как тогда, когда мы сидели верхом на скамейках и играли в свои игры, а девчонки стояли возле нас и глазели. Вы въедаетесь друг другу в сердца, как будто вокруг не существует других мужчин или женщин. Откройте глаза, посмотрите – мир не начинается у арки Сан-Пьеро и не кончается у ворот алля Кроче!»

Он живет в доме сестры, которая старше его на десять лет, вместе с ее мужем и двумя их детьми. Шурин держит парикмахерскую на виа Гибеллина; одно время Джино ходил туда обучаться ремеслу. Потом нашелся покровитель – один из клиентов шурина, который упомянул мальчика в завещании, оставив ему небольшую ренту, чтобы он мог продолжать учение. В то время ему было одиннадцать лет. Мы всегда издевались над его школьным усердием. Но, поступая в лицей, он провалился на первом же экзамене и потерял право на наследство, главным условием которого было непременное пре-

успевание в науках. Уже тогда он начал отдаляться от нас и уже тогда понимал, что мир продолжается и за воротами алля Кроче.

Но, пожалуй, он, больше чем кто-либо из нас, остался этим самым «вечным ребенком», ребенком, бессознательно играющим в опасную игру. Его странная натура, которая еще в детстве его мучила приступами меланхолии, жестокой сыпью на лице, теперь хватает его за волосы и забавляется им, как игрушкой, заставляя часами стоять на уличных перекрестках, обивать пороги ресторанов, искать извращенных наслаждений. Покинув мир наших игр (тогда небо над нами было безоблачным и разве что появлялись царапины на коленях), он теперь увяз обеими ногами в смоле. И от этого на его лице блуждала вялая апатичная улыбка, а в глазах появляется смущение, которое он старается прикрыть лицемерием. Его светлые глаза невинного младенца избегают взгляда друзей, когда он разговаривает с ними; проводя рукой по губам, он говорит: «Мир не кончается у ворот алля Кроче». И, говоря так, он предает все, что еще связывало его с нами: чувство Квартала и то умение устраивать себе жизнь по своей мерке, всем вместе, все друг за друга...

Джорджо встретил Джино на пороге бара. Он взял его под руку...

Джорджо говорит:

— Поверь, Джино, и твой мир где-нибудь да кончается. Только в тысячу раз хуже, чем у ворот алля Кроче.

— Не читай мне мораль, Джорджо, надоело.

— А я и не думаю. Для меня это вопрос дружбы, а не морали. И, может быть, сейчас тебе это покажется странным, но я обвиняю себя самого, обвиняю Карло, Арриго и Валерио. Если уж ты пошел по этой дорожке, то это значит, что мы

были не интересны для тебя, оно и выходит, что мы проглядели.

— Чушь.

— Нет, не чушь...

На секунду он умолкает. Потом говорит спокойно, примирительно:

— Осторожно, здесь на скамейке грязь...

И продолжает:

— Если тебе такой разговор не по душе, поговорим, как мужчина с мужчиной: на этой самой скамейке вместе играли. Валерио — свидетель. Так. И не будешь отрицать, что мы относились друг к другу, как родные братья. В таком случае, будь добр, удовлетвори мое любопытство. Допустим, что ты уезжаешь в Америку, одним словом, подальше, чем ворота алля Кроче. А раз ты уезжаешь и считаешься моим другом, расскажи мне, чем ты собираешься заняться, когда приедешь в Америку? Чего ты, собственно, думаешь достичь, продолжая идти по этой дорожке?

Джино снова потупился...

— Я и сам не знаю, — отвечает он. — Я только знаю, что в глазах людей я — негодяй и бездельник, а ты — честный парень, что надо.

Он останавливается. Глядит на Джорджо, потом на меня. И двусмысленно ухмыляется, как карточный игрок, пойманный на подтасовке, который пытается все обратить в шутку. Но Джорджо, видно, не собирается отступать: его чистые проницательные глаза пристально глядят в глаза Джино, который вдруг отводит их, смотрит по сторонам, будто чувствует за спиной чей-то взгляд.

— Оставь людей в покое. Ты лучше ответь на мой вопрос. Легче всего сказать «не знаю». Хочешь, чтобы я тебе помог?

— Ну...

— Что «ну»?..

— Ну ладно! — говорит Джино; им теперь владеет глухая злоба. Лицо его стало бледным, взгляд потемнел. — Ладно, а это что, по-твоему, не работа?

Вдруг широкая ладонь Джорджо бьет его по щеке. И прежде чем я успеваю вмешаться (меня связывает забинтованная рука), Джорджо, приподняв друга за грудки, своей широкой ладонью бьет его по лицу, потом рывком сажает его обратно на скамью. «Встань, гадина», — кричит он ему. Но так как Джино даже не пытается защищаться, Джорджо снова хватает его и продолжает бить. Он удивительно спокоен и сдержан. Его рука обрушивается на Джино. Каждый удар — это обдуманное оскорбление. Меня опережает откуда-то прибежавший солдат. Он разнимает их. Даже старики, сидевшие на пьедестале поэта, и те заволновались. Извозчики вышли из остерии и, стоя у дверей, глядят в нашу сторону. Вокруг стали собираться прохожие.

— Как, Джорджо, — обращаются к нему рабочие. — Неужели вы подрались?

— Дурак, чего смотришь, дай ему! — Какой-то мальчуган подзадоривает Джино, который прикладывает платок к разбитому носу.

Джорджо разогнал любопытных. Перед тем как уйти, он говорит Джино:

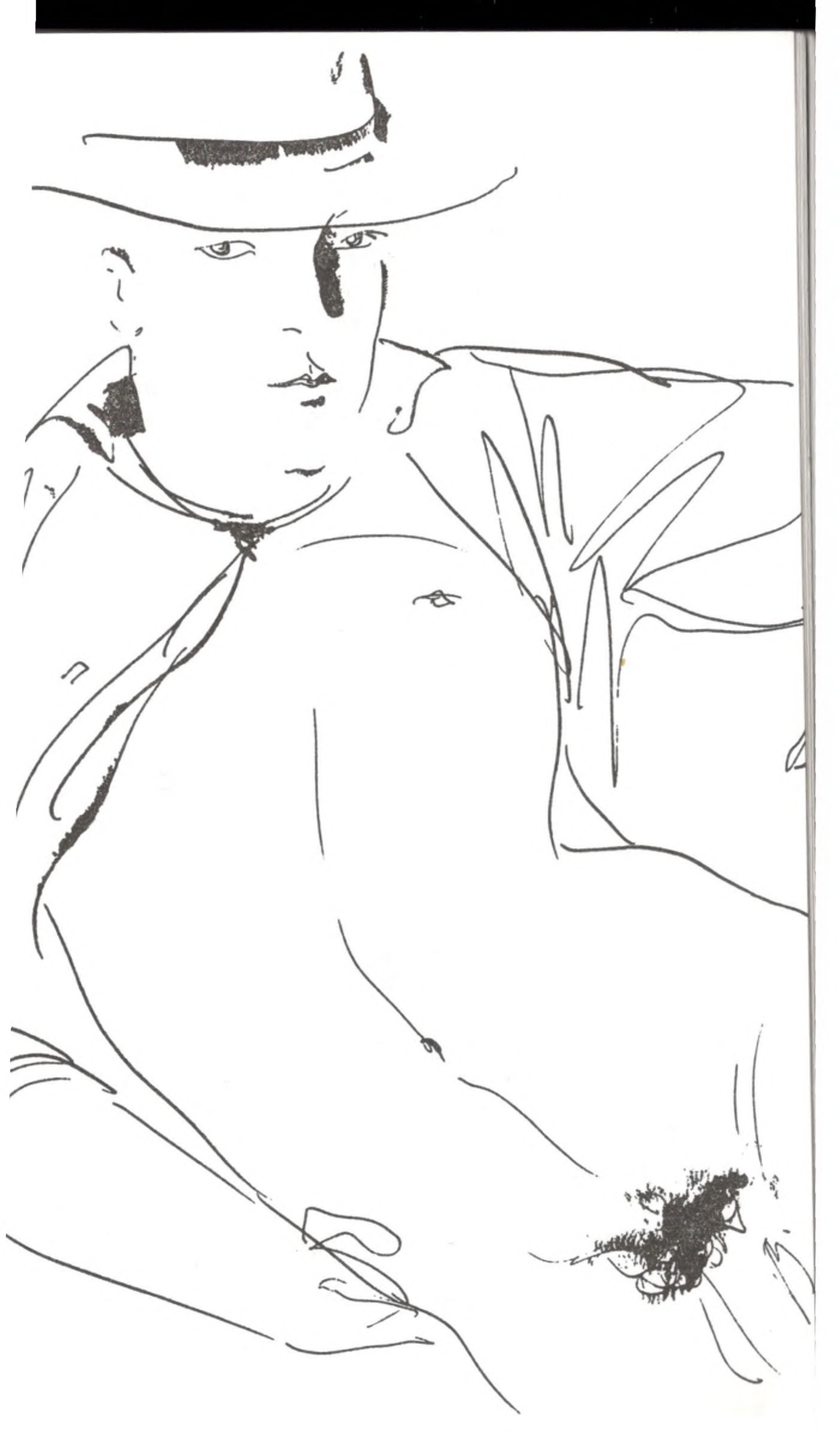
— Не забудь, в воскресенье у меня свадьба. Попробуй-ка не прийти!

А по дороге домой он сказал мне:

— Мне кажется, что он для нас потерян. Как по-твоему?

Но я не могу с этим примириться...

Свадьбу сыграли в самом конце апреля, в воскресенье...





Мы разбились на пары, чтобы сопровождать новобрачных: Арриго с Лючианой, Мариза со мной, а Карло с Арджией; и так как Джино опоздал на церемонию, то Ольга шла под руку с Берто, товарищем жениха по работе...

Угощение устроили в комнате новобрачных. На кровати были разложены подарки; спальня и зала были битком набиты друзьями и соседями, все поздравляли друг друга; среди них был и мой отец с бабушкой. Обе матери молча стояли в дверях кухни, держась за руку... До тех пор пока не остались только мы, друзья, Берто был с нами.

Мы сели за стол, на нем стояли пирожные и две бутылки шампанского; жених с невестой — во главе стола, потеснившись на одном стуле, — таково было их желание. Джорджо обнимал Марию за плечи. Он сказал:

— Джино ответит нам за такое оскорбление.

— Долой Джино! — вскричали мы хором. Хлопнула пробка шампанского...

С лестницы послышался крик Джино:

— Вот и я! Иду, иду! — и тотчас изо всех сил он стал колотить в дверь.

Его встретили бурей возгласов и дружеских укоров. Он тяжело дышал, как после бега, и был чем-то страшно возбужден. С него градом валился пот.

— Я опоздал, знаю, знаю. Я, наверное, всю жизнь буду опаздывать, — сказал он, усаживаясь с краю стола. Мария вынула у него из карманчика платок и подала ему.

— Сперва вытри пот. Потом рассказывай и поздравляй нас.

Отдышавшись немного, Джино попытался извиниться:

— Я был далеко. Трамвай не ходил.

— Ладно уж, — сказал ему Джорджо. — Нечего оправдываться. Впрочем, ради сегодняшнего дня ты мог бы оставить все свои дела.

— Да, да, конечно, но я не ночевал дома. Вернее, ночевал, но мне нужно было очень рано вставать. Я просил их разбудить меня, но они забыли.

Джорджо шутливо стукнул его по затылку. Наливая ему шампанского, он сказал:

— Слушай, брось завираться, это уж слишком. Ты поспел как раз, чтобы выжать бутылки, чего тебе еще надо?

— Не только это, — ответил Джино. — Я ведь и подарок принес.

Он вытащил из кармана ручные часы.

— Покажи-ка, покажи! — закричали мы с Карло.

— О, да они золотые! — удивился Джорджо. — Вот это подарочек!..

* * *

Вот письмо Джино к Джорджо.

«Собираю последние крохи решимости, чтобы написать тебе. Чувствую, что должен сделать это: ты — единственный человек на свете, которому я обязан признаться во всем. Говоря с тобой, я лишь немного предвосхищаю последний разговор с богом, в чьи руки предаю себя, хотя я и слишком поздно нашел слова, чтобы обратиться к нему и покаяться в своих грехах. Лишь недавно я понял, что бог — это небесная доброта и милосердие; ты же был единственным воплощением бескорыстной доброты, которую я встретил на земле. И если сейчас я нахожу мужество писать тебе, значит, твоя доброта все еще помогает мне, и я прибегаю к ней, пытаясь в этом письме до конца разобраться в себе самом,

дабы предстать перед вечным судией нагим в позоре своем.

Самым тяжким моим грехом была зависть.

Мои родители поженились, бог знает почему, когда матери не было еще двадцати лет, а отцу — уже около сорока; я никогда ничего не знал о своих дедах и бабках, о семьях моих родителей: губка времени стерла их следы. Мы жили в квартале Сан-Фредиано. Мой отец был землекопом. Сестра Джизелла родилась вскоре после свадьбы. Спустя некоторое время отец начал пьянствовать, забросил работу и семью. Мать стала любовницей какого-то комиссионера, который бывал в городе по делам и часто показывался на наших улицах. Я не смею судить своих родителей. Через десять лет после сестры родился я. Отец не желал признать меня своим сыном. Когда мать забеременела, он начал избивать ее; комиссионер сунул матери несколько тысяч лир и порвал с нею. В это время мы уехали из Сан-Фредиано и поселились в нашем Квартале. С тех пор как я научился смотреть и понимать и запоминать отдельные картины — еще не мысли, — нет, — с тех пор стоит перед моими глазами багровое лицо отца, который в бешенстве кидается на мать и колотит ее огромными ручищами. Он снимал ремень и полосовал им бедняжку. Первые физические ощущения, которые я вспоминаю, — это пощечины, которые отец отвешивал мне по всякому пустячному поводу, — да так, что я на несколько секунд терял зрение, не помня себя от боли и страха. Мама, хотя и не дралась, тоже не терпела меня, и я понимал это, как всякий ребенок, которого терпеть не может собственная мать, и, как всякий ребенок, растущий в пренебрежении, преувеличивал свои горести. Мне казалось, что по отношению к сестре, уже взрослой девушке, родители были под-

черкнуто внимательны; отец как-то даже трогательно слушался ее, и достаточно было вмешательства Джизеллы, чтобы он перестал колотить мать. Мама тоже относилась к ней особенно заботливо: например, каждое утро она заставляла ее съедать яйцо, которого мне никогда не давали. Как я завидовал Джизелле из-за этого яйца, как я ненавидел ее! Мы жили в большой нужде, на скудные гроши, которые приносила мама, работавшая прислугой; ужинали мы объедками, собранными с тарелок в домах, где мама работала. Но Джизелла каждое утро получала свое яйцо, у нее было и новое платье, и деньги, чтобы купить пудру или «Модный песенник». Всем этим пустякам я дико завидовал. Мне было всего шесть лет, и в одиночестве, на которое меня обрекли, возрастали зависть и ненависть.

Потом отец умер в больнице, кажется, от апоплексического удара, — точно я не знаю. Да хранит господь его душу и душу мамы, которая вдруг сразу поблекла, постарела и через два года последовала за отцом в могилу. Джизелла всегда была честным и трудолюбивым существом, — она шила, и теперь мы жили на ее заработок. Мало-помалу я привязался к ней. Но вот она обручилась. Это показалось мне предательством, как будто внимание, которое она оказывала своему будущему мужу, принадлежало только мне. Я ненавидел их и завидовал им обоим.

То, что я должен сказать теперь, наверное, больше всего огорчит тебя. Я должен сказать о том времени, когда мы вместе — ты, Карло, Валерио, Арриго и я — играли на улицах Квартала. Я был скрытным мальчиком, не отрицаю, но дело не в скрытности: я просто не мог побороть свой характер, заставлявший меня в любой нашей затее подозревать ловушки. Особенно я боялся Карло. Я никогда

этого не показывал, но если ты подумаешь хорошенько, то припомнишь, что в нашу компанию я приносил разве что свою дурацкую замкнутость. Детские годы, которые все вы прожили весело и беззаботно, для меня прошли совсем иначе. Всегда я был настороже, и подозрительность отравляла мне всякое удовольствие. Я был убежден, что в сравнении с вами у меня есть какой-то изъян, я чувствовал в себе надлом, пустоту и смутно завидовал вашей естественной полноценности, недоступной для меня. А как я завидовал вашей дружбе с девочками! Помню, однажды я покраснел и убежал, потому что Лючиана должна была поцеловать меня (мы играли в «жениха» и «невесту»). Вы, мальчишки, погнались за мной и стащили с меня штаны, чтобы посмотреть, мужчина я или нет. Я долго после этого ненавидел вас, хотя и не подавал вида. Уединившись где-нибудь, я один поедал конфеты или винные ягоды, купленные на деньги, которые подарила мне Джизелла.

Только тебя одного я стеснялся. Правда, тебе я тоже завидовал, как и всем остальным, но к этому чувству примешивалось что-то вроде почтения. Внушал ли мне его твой внешний облик или что-нибудь другое, не могу сказать. Мне вспоминается тот день, когда ты застал меня на церковных ступеньках, — я сидел там и ел вишни из бумажного кулька. Ты сел рядом и прочел мне нотацию: «Почему ты прячешься и в одиночку ешь эти вишни? Конечно, ты купил их на свои деньги, они твои, но ведь тебе самому следовало угостить друзей». Тут подошли остальные трое, и Карло силой отобрал у меня весь кулек. Но ты ударил его, чтобы он отдал мне мою долю. Этот случай врезался мне в память. И я вспомнил о нем в прошлом году, когда ты

отколотил меня на скамейке, на площади Санта-Кроче.

Потом я стал ходить в парикмахерскую к своему зятю; вскоре началось учение. Условия моей жизни изменились, и мне стало казаться, что я выше всех вас. Но даже сидя в гимназии, в классе, я с завистью представлял себе, как вы бегаете по Холмам. Кажется, я завидовал вам больше, чем даже примерным ученикам, с которыми старался подружиться, оказывая им самые холуйские услуги (ну, какие, например? — завязывал ранцы на спине, таскал им непристойные фотографии из ящика зятя), — и все это лишь для того, чтобы они позволили мне списать задачу или перевод. Мои школьные товарищи были дети из хороших семей, иногда даже очень богатых. У них всегда водились деньги, выходя из школы, они забегали в бар выпить шоколад со сливками, сосали карамельки во время уроков, покупали сигареты. Я изнывал от зависти. Отчасти поэтому все и случилось, — ты правильно понял, — но больше всего виновата моя порочная натура. Первый раз, когда со мной случилось то постыдное дело, я не почувствовал никакого отвращения, как можно было предположить, а скорее испытал удовольствие. Мой случайный друг угадал характер созревшей во мне чувственности. Отвращение я испытал уже после того, как расстался с ним. Это был единственный момент, когда я увидел раскрывшуюся передо мной бездну. Мне было шестнадцать лет, я уже надел длинные брюки, как говорят у нас в Квартале. Я бросился в дома терпимости. Я еще не знал женщины и думал, что только так мне удастся одолеть порок, которому я оказался подверженным, и больше никогда к нему не возвращаться. Но тщетно я стучался во все публичные дома города — отовсюду меня гнали как несовершеннолетнего.

Тот день решил всю мою судьбу. Тот зимний день, когда дьявольский змий навсегда проник в мое сердце. Вечером я пошел в кино, но совершенно не понимал, что происходит на экране. Я вышел оттуда в диком возбуждении, я метался по центральным улицам, по переулкам. В каждой одиноко идущей женщине мне мерещилась проститутка, к которой можно подойти. Наконец на площади Сан-Фиренце я увидел фигуру женщины, сидевшей на низкой скамье, идущей вдоль фасада палаццо напротив Трибунала. Услышав мои шаги, женщина поднялась, подошла ко мне и попросила прикурить (в руках у меня была сигарета). Очутившись лицом к лицу с нею, я различил толстые накрашенные губы и копну белокурых волос, подстриженных челкой. Женщина была примерно моего роста или чуть пониже, полная. Хриплым голосом она спросила, что я, такой молодой, делаю на улице в час ночи. Я сказал, что ищу женщину, чтобы переспать с ней. Я был возбужден и полон решимости, сердце у меня бешено колотилось. Она улыбнулась, пустив мне прямо в лицо струю дыма, и что-то пробормотала, — я понял, что это говорится нарочно, — насчет того, что я слишком молод. Но потом сказала, что сама с удовольствием обучила бы меня всему. Тогда я попросил ее пойти вместе, куда она захочет. Но она остановила меня, взяв за руку, и спросила, есть ли у меня деньги. Я вытащил из кармана все, что там было. Она сказала «ладно» и велела идти следом на некотором расстоянии. Она свернула в какой-то переулок, подошла к двери и там подождала, пока я подошел. Потом взяла меня за руку и велела тихонько подняться по лестнице. Так мы поднялись на самый верхний этаж — низкая дверь вела в каморку без окна, размером не больше, чем эта моя камера. В ней стояла тахта, покрытая

темно-серым одеялом, стул, умывальник и зеркало на стене завершали обстановку. Моя спутница зажгла свет и пересчитала деньги, которые еще держала зажатыми в кулаке, а потом дружелюбно заявила, что я славный парень. Теперь наконец я как следует рассмотрел ее – увядшая, старая женщина с жирным телом и одутловатым лицом. Бедное создание, которое я не могу описать, потому что сердце у меня сжимается при воспоминании о ней. Мое разочарование увеличилось, вероятно, и от гнусного вида комнаты, я представлял себе, что все произойдет в совсем иной обстановке. Она велела мне раздеться, предупредив, что долго оставаться здесь нельзя. И тут же сама сняла блузку и юбку, внезапно обнажив свое жалкое тело; на ней остался лишь розовый заношенный бюстгалтер. Она была так смешна и ужасна, что я содрогнулся. Мое неудовлетворенное возбуждение сменилось отвращением. Лежа в постели рядом с ней, чувствуя, как ее руки охватили мою шею, прикасаясь к ее телу, к этой убогой плоти, казавшейся мне желатиновой массой, я испытывал смятение и отчаяние. Мужские силы покинули меня. Я начал дрожать, и утреннее происшествие всплыло в моей памяти, как промелькнувшее и утраченное счастие. Я вернулся домой, полный чувства неописуемого отвращения. Потом заснул и видел грешные сны. На следующий день я точно в назначенное время явился на свидание к своему новому другу, хотя накануне поклялся себе, что не пойду.

С этого момента я стал порочным юнцом, тем самым, кого ты исколотил на площади Санта-Кроче. Клавдио, моя жертва, приучил меня к тому, чтобы мне угождали, выполняли все мои желания. Мы проводили в его загородном доме поистине дьявольские дни, которые запечатлелись в моей душе как

обретенное счастье. Избивая меня, ты надеялся, что где-то в тайниках моей души еще сохранились последние проблески нравственности. А у меня уже их не оставалось, порок изъязвил меня до корней волос. Клавдио ввел меня в мир снобов и жуиров, и это льстило моему тщеславию выходца из низов. Так прошло два года. Клавдио был добр и мил, извращение его было скорее капризом, перешедшим потом в привычку, чем результатом подлинной душевной настроенности, — он сам сказал мне это как-то раз в минуту братской откровенности. Он был намного лучше меня. У него была жена и горячо любимый сын. Клавдио был человек умный и тонкий, редко случалось слышать от него резкие слова, а если он и прибегал к ним, то — теперь я это понимаю — только в отчаянии, как к последнему средству защиты. Я ревновал его к семье, к которой он был привязан. Я завидовал всему, чего не мог разделить с ним.

Много раз он беседовал со мной, убеждал образумиться. Потом, увидев, что порок стал для меня потребностью, он начал встречаться со мной все реже и реже, а затем и вовсе прекратил нашу тайную связь. Он уговаривал меня возобновить учение, брать частные уроки, завести дневник и в нем, не щадя себя, исповедоваться во всем пережитом, а затем время от времени перечитывать его, чтобы извлечь урок.

В конце концов порок, вошедший в мою плоть и кровь, стал, видимо, пугать Клавдио. Он попытался постепенно отдалиться от меня. И насколько была сильна моя извращенная привязанность к нему, настолько же сильной стала и ненависть, которую я себе внушал. Я нарочно по-глупому сорил деньгами, которые он давал мне, а потом требовал еще и еще. Я упрекал его, что мое жилище скромно в

сравнении с его хорошо обставленным домом. Я, бездельник, обвинял его в своей бедности, завидуя благосостоянию, которое он приобрел своим трудом. Но достаточно было одного его теплого слова, малейшей ласки, чтобы я тотчас готов был покориться и забывал о своей ненависти.

Ты, разумеется, не знаешь, Джорджо, что твоя попытка образумить меня, твои дружеские пощечины лишь ускорили решение, которое я принял в своей развращенной душе. Не упрекай себя за это. Ты был подобен доброму ангелу, который взял бич, дабы пробудить во мне совесть, но дьявол, вселившийся в мое сердце, использовал твои вдохновенные речи, чтобы окончательно завладеть мной. Я был больно задет твоими словами, мне захотелось добиться какого-то положения — ведь ты упрекнул меня в том, что я ничего в жизни не успел. Но я был во власти лукавого, и поэтому мне была уготована одна пагубная дорога.

Жена и ребенок Клавдио уже несколько месяцев жили в загородном доме. У нас с Клавдио происходили яростные ссоры, я настойчиво требовал от него какую-то сумасшедшую сумму, «чтобы обеспечить мое будущее», как я говорил. Вечером накануне твоей свадьбы я пошел к нему, зная, что он получил очень большие деньги: оказавшись в стесненных обстоятельствах, он был вынужден продать несколько земельных участков. В моей душе зрела угроза: я считал, что наступил самый удобный момент вытянуть из Клавдио все, что хочу. Я захватил с собой револьвер, собираясь припугнуть Клавдио, уверенный, что он не донесет на меня, боясь себя скомпрометировать. (Ты помнишь этот револьвер марки «Льисенти»? Мы еще ребятами купили себе по такому револьверу, нам казалось, что обзавестись револьвером — значит сразу стать

взрослым. Только Арриго не стал его покупать, боясь, что мать испугается, если обнаружит дома такую штуку. И подумать только, для чего пригодился мне револьвер!) Клавдио встретил меня дружелюбно. Мы отправились в центр, поужинали в ресторане, потом пошли в театр. Тяжелый револьвер оттягивал задний карман моих брюк. После театра Клавдио опять пригласил меня к себе, в такси мы пересекли город. Он очень тепло говорил со мной, но все же сказал, что с сегодняшнего дня мы прощаемся, что расстаться мы должны друзьями и что он подарит мне пять тысяч лир. У него дома мы возобновили разговор: я заявил, что такая сумма – сущая ерунда. Но он умел говорить со мной так, что все представлялось мне в новом свете, и в конце концов его патетическая речь убедила меня. Он сказал, что сможет устроить меня на хорошую службу в конторе одного промышленника, своего приятеля.

Я остался ночевать у Клавдио. Утром мне надо было подняться рано, чтобы не опоздать на твою свадьбу, так что Клавдио лежал еще в постели, когда я уже оделся. Он встал, чтобы проститься со мной, и опять повторил, но сурово, без прежней сердечности, чтобы я запомнил как следует: это наша последняя встреча, я смогу вернуться к нему лишь как друг, да и то если выброшу из головы все свои сумасбродные идеи. Потом он взял в руки портфель и, открывая его, вскользь заметил, что он сегодня надолго уезжает за границу. Я понял, что это ложь, но прицепился к его словам, и, упрекая его, постепенно сам себя убедил, что он лжет. Между тем он отсчитал пять бумажек по тысяче лир, вынув их из портфеля, битком набитого деньгами и чеками. Обезумев от ревности, я умолял Клавдио взять меня с собой: меня душила зависть

при мысли о том, что он будет наслаждаться своим путешествием, покинув меня и спровадив в какую-то контору. Но когда он отказался, снисходительно улыбнувшись, — я заорал, требуя не пять, а пятьдесят тысяч лир. С этой минуты я уже не владел собой. В помрачении я уже смутно различал Клавдио, который, в ответ на мое нелепое требование, насмешливо постучал пальцами по лбу, а потом защелкнул портфель и положил его на туалетный столик. Очевидно, я вытащил револьвер, а Клавдио, увидев мой жест, набросился на меня, потому что я ощутил его дыхание на моем пылающем лице. Я нажал курок, ничего не сознавая, и даже не услышал звука выстрела, так как Клавдио навалился на меня и я стрелял ему в грудь в упор. Он упал словно сраженный молнией: пуля попала в самое сердце. Увидев его распростертым на полу, я сразу пришел в себя. С хладнокровием автомата (при одном воспоминании об этом во мне стынет кровь!) я переступил через тело, взял с туалета портфель, забрал кольца, обычно лежавшие в одной коробке, и захватил ручные часы, которые заметил на комоде. В брюках Клавдио, висевших тут же, я нашел ключи и вышел, заперев на два оборота дверь особняка и садовую калитку. В переулке не было ни души; я дошел до Арно и, никем не замеченный, бросил в воду ключи и револьвер. Я долго бродил, не разбирая дороги, мысли мои были несвязны, мне было жарко, одежда словно прилипла к телу. Потом я вспомнил, что вы ждете меня. Я вытащил из кармана часы: было уже одиннадцать; значит, вот сколько времени я бродил! Я был на Холмах. Быстрым шагом направился я к Кварталу. Поднимаясь по лестнице, вспомнил, что обещал тебе подарок, и тотчас подумал о часах, тикавших в кармане. (На часах были цветные стрелки — зеленая

и красная — наверное, для защиты от дурного глаза, а ты не придал этому никакого значения.)

Расставшись с вами, я вернулся домой. Проспал весь день и всю ночь словно одурманенный. Проснулся, мокрый от пота, ясно вспомнил обо всем случившемся и удивился тому, что не испытываю ни угрызений совести, ни ужаса. Я был убежден, что по крайней мере еще несколько дней никто не станет разыскивать Клавдио. Тут же сообразил, что за это время вполне успею получить деньги по чекам. Я подделал подпись Клавдио. Злые силы помогали мне, дьявол направлял мои действия. С чеками я отправился в два различных банка; к вечеру в моих руках было триста тысяч лир. Вид этих ассигнаций, их цвет окончательно помутили мой рассудок. Знаю, что купил автомобиль, что уехал в Рим и остался там... Все эти факты мне предъявили на следствии, и я согласился, потому что, без сомнения, так оно и было, но сам я не помню ничего. Шесть месяцев я жил жизнью какого-то другого существа, которое уже не было мною. Словно моя душа покинула мою телесную оболочку, и та осталась среди разврата и адских необузданных наслаждений. Я бессмысленно тратил деньги — на цветы, развлечения, костюмы, бензин для машины, на всякие вещи, о которых ничего не помню. Все представляется мне расплывчатым, происшедшим в каком-то пустом пространстве: память не удержала ни очертаний предметов, ни перспективы. Например, я не могу вспомнить ни одной улицы, ни одной площади Рима, — одно это объяснит тебе, в каком ненормальном состоянии прожил я шесть месяцев. (Единственное, что ясно и четко стоит перед глазами, — это обнаженное тело подростка в убранной коврами, залитой светом комнате. Он распростерся на диване ярко-огненного цвета,

и я нежно ласкаю его. Это видение — последняя отчаянная попытка дьявола соблазнить меня, дьявол проник даже в эту камеру. И я умерщвляю свою плоть, чтобы побороть искушение.)

Но вот настал день, когда за мной пришли. И тотчас все те долгие месяцы, прошедшие после преступления, словно улетучились. Казалось, что полицейские, надевшие на меня наручники, пришли не в ту, полную цветов, убранную коврами комнату, но встретили меня на пороге комнаты Клавдио, и Клавдио — еще теплый — лежит, распростершись, у моих ног...»

В эти дни мы узнали, что Джино умер в тюрьме, изнуренный постами и молитвами.

КОРТАСАР

Хулио Кортасар (1914–1984) – аргентинский писатель. С 1951 г. живет в Париже. Литературная деятельность началась с 1938 г. Автор драмы «Короли» и нескольких сборников стихов и рассказов. Основная тема романов «Выигрыши» (1960) и «Игра в классики» – духовная жизнь человека.

ВЫИГРЫШИ

Фелиппе просвистал мамбо и выскочил на палубу. Он слишком долго грелся на солнце, сидя на краю бассейна, и теперь у него горели плечи и спина, пылало лицо. Но таковы радости путешествия – вечерний ветерок освежил его. Кроме двух стариков, на палубе никого не было. Спрятавшись за вентилятор, Фелиппе закурил и с издевкой взглянул на Бебу, неподвижно застывшую на ступени трапа. Он сделал несколько шагов, облокотился на поручни борта; океан походил... «океан словно огромное зеркало ртути», этот педик Фрейлих читал стихи под одобрительную улыбку училки по литературе. Весь обросший волосами, первый ученик в классе, дерьмовый педик Фрейлих. «Я схожу, сеньора, да, сеньора, я сделаю. Принести вам цветные мелки, сеньора?» И училки, ясное дело, млели от этого подлизы и ставили ему одни десятки по всем предметам. Слава богу, учителей ему не удавалось так легко провести, многие из них держали его на отдалении, но он все равно ухитрялся получать у них десятки, зубрил все ночи напролет, приходил наутро с синяками под глазами... Но эти синяки были у него не от зубрежки. Друтти рассказывал, что Фрейлих шлялся по центру с каким-то верзилой,

у которого, наверное, было полно монет. Друтти повстречался с ним однажды в кондитерской на Санта-Фе, и Фрейлих страшно покраснел и сделал вид, что его не узнал... Наверное, этот верзила был любовником Фрейлиха, наверняка... Фелиппе прекрасно знал, как делаются такие дела, с того самого праздничного вечера на третьем курсе, когда ставили пьесу и он играл роль мужа. Альфиери в антракте подошел к нему и сказал: «Глянь на Виану, настоящая красотка». Виана учился на третьем «С» и был педиком похлеще Фрейлиха, из тех, которые на переменах дают себя тискать, щупать, с наслаждением возятся и строят довольные рожи, но все же они хорошие ребята, этого у них не отнимешь, добрые, у них всегда в карманах найдутся американские сигареты, булавки для галстуков. В этот раз Виана играл роль девушки в зеленом, ох и здорово же его загримировали. Вот, наверное, наслаждался, когда его мазали. Раза два он даже осмелился прийти в колледж с подкрашенными ресницами, чем вызвал всеобщее веселье, ему кричали фальцетом, обнимали, щупали, щипали, давали коленками под зад. Но в тот же вечер Виана был счастлив, и Альфиери, смотря на него, повторял: «Гляди, какая красотка, прямо настоящая Софи Лорен». И это говорил бравый Альфиери, строгий надзиратель с пятого курса. Но стоило кому-нибудь зазеваться, и Алфьиери уже обнимал его и с кривой улыбочкой манерно спрашивал: «Тебе нравятся девочки, малец?» — и закатив глаза, ждал ответа. А когда Виана жадно высматривал кого-то из-за софитов, Альфиери сказал ему, Фелиппе: «Обрати внимание, сейчас увидишь, почему он так волнуется», — и тут действительно появился какой-то расфуфыренный коротышка в сером костюме с шелковым шейным платком и золотыми перстнями.

Виана поджидал его с улыбочкой и подбоченясь, точно Софи Лорен, а Альфиери продолжал нашептывать: «Это фабрикант, владелец фабрики роялей. Представляешь, какая у него житуха. А тебе бы не хотелось заполучить побольше бумажек, и чтоб тебя катали на машине в Тигре и Мардель-Плата?» Фелиппе ничего не ответил, захваченный происходящей сценой: Виана оживленно беседовал с фабрикантом, который, казалось, в чем-то упрекал его. Тогда Виана приподнял юбку и с восхищением посмотрел на свои белые туфли. «Если хочешь, давай пойдем куда-нибудь вместе, — сказал Альфиери Фелиппе. — Поразвлечемся, я тебя познакомлю с женщинами; они, наверное, тебе уже нужны... А может, тебе больше нравятся мужчины, кто знает», и голос его потонул в шуме молотков, которыми стучали рабочие сцены, и голосов из зала, где собралась публика. Фелиппе как бы невзначай освободился от рук Альфиери, легко обнимавших его за плечи, сказав, что ему надо готовиться к следующей сцене. Он до сих пор помнил, как пахло табаком от Альфиери, его прищуренные глаза, безразличное выражение лица, которое не менялось даже в присутствии ректора и преподавателей. Фелиппе не знал, что и думать об Альфиери, иногда он казался ему настоящим мужчиной, особенно когда разговаривал с пятикурсниками, и Фелиппе крадучись подбирался к ним и подслушивал. Альфиери рассказывал, как он соблазнил замужнюю женщину, описал в подробностях меблированную комнату, куда они ходили, как она сначала боялась, что узнает муж, который был адвокатом, а потом три часа вертела задом, и он все повторял и повторял эти слова. Альфиери хвастался своим молодечеством, тем, что ни на минуту не давал ей уснуть, но не хотел сделать ей ребенка и поэтому принимал меры

предосторожности. А от этого одни неудобства. Фелиппе не все понял из его рассказа, но про такое не расспрашивают, в один прекрасный день все узнаешь сам, и дело с концом. К счастью, Альфиери не был молчальником, он часто показывал им соответствующие картинки в книжках, которые он, Фелиппе, не осмеливался купить и тем более держать у себя дома, — эта гнида Беба совала нос всюду и рылась во всех ящиках. Его немного сердило и задевало то, что Альфиери не первый приставал к нему. Неужели он похож на педика? Ох, и темное это дело. Об Альфиери, например, тоже по виду ничего не скажешь… И сравнить нельзя с Фрейлихом или Вианой, вот уж кто вылитый педик. Два-три раза он наблюдал за Альфиери во время переменок, когда тот приближался к какому-нибудь мальчишке со второго или третьего курса и приставал к нему с теми же ужимками, и всегда это были ребята крепкие, здоровые, бравые, как он сам. Казалось, Альфиери нравились именно такие, а не потаскушки вроде Фрейлиха или Вианы. С удивлением вспоминал он и тот день, когда они очутились вместе с ним в одном автобусе. Альфиери заплатил за обоих, хотя сделал вид, будто не заметил его в очереди. Когда они уселись на задних сиденьях, Альфиери так непринужденно стал рассказывать ему о своей невесте, о том, что они должны встретиться вечером того же дня, что она учительница и что они поженятся, как только найдут квартиру. Все это говорилось тихим голосом, почти на ухо, и Фелиппе слушал с интересом и вниманием, ведь Альфиери был надзирателем, как ни говори, начальником; и вот после паузы, когда разговор про невесту, казалось, был уже исчерпан, Альфиери вдруг со вздохом сказал: «Да, че, скоро женюсь, но ты не представляешь, как мне нравятся маль-

чишки...» и снова Фелиппе почувствовал желание отодвинуться, отделаться от Альфиери, хотя тот беседовал с ним доверительно, как равный с равным, и, упоминая мальчишек, конечно, не имел в виду таких зрелых мужчин, как Фелиппе. Он едва осмеливался украдкой поглядывать на Альфиери и натужно улыбался, словно все, что сообщал Альфиери, было в порядке вещей и он привык к подобным разговорам. С Вианой или Фрейлихом было намного легче: ткнешь под ребра или куда еще, и вся недолга, а Альфиери ведь надзиратель, мужчина за тридцать, и вдобавок еще таскает в меблированные комнаты жен адвокатов.

«Наверное, у них что-то не в порядке с железками, вот они и такие», — подумал он и бросил окурок...

БОЛДУИН

Джеймс Болдуин (1924–1987) – американский негритянский писатель, драматург, публицист, общественный деятель. Автор нескольких романов, пьес, сборников рассказов и публицистики. Американский классик. Роман «Комната Джованни» рассказывает о любви двух парней и трагической развязке их отношений. Написанная в 1956 году, эта книга стала одним из самых заметных явлений в американской литературе XX столетия.

КОМНАТА ДЖОВАННИ

Когда я говорю о Хелле, что люблю ее, я вспоминаю те дни, когда мне ничего не стоило завести интрижку. Но это было до того, как случилось то ужасное, непоправимое. В эту ночь я понял, что сколько бы чужих постелей я ни сменил, пока не окажусь на своем последнем ложе, у меня никогда не будет пикантных мальчишеских интрижек, которые, если вдуматься, похожи на своего рода изысканный онанизм. Нельзя не принимать людей всерьез, они слишком сложны. Да и я слишком сложен, поэтому мне нельзя верить. Будь я попроще, нынешней ночью я не сидел бы один в этом доме. Хелла не была бы так далеко от меня, а Джованни на рассвете не ждала бы гильотина.

В жизни я не раз кривил душой, лгал и верил в придуманную ложь, но в одной лжи, хоть и сослужившей мне добрую службу, я теперь раскаиваюсь. Я раскаиваюсь в том, что солгал Джованни, будто прежде никогда не имел отношений с мужчинами. Джованни все равно мне не поверил.

Да, такое у меня один раз было. Тогда я твердо решил, что это не повторится. Теперь, когда я

пытаюсь осмыслить все случившееся со мной, мне делается страшно: неужели я убежал из дома и переплыл океан только для того, чтобы, повзрослев за короткое время, снова оказаться на заднем дворике перед страшилой бульдогом и убедиться, что двор стал еще меньше, а бульдог вырос.

Об этом парне — Джо — я не вспоминал уже черт знает сколько времени. Но сегодня ночью я отчетливо видел его перед собой. Это случилось несколько лет тому назад. Мне было тогда лет 15—16. Джо примерно столько же. Славный парень, смуглый, смешливый и непоседливый. Одно время я считал его своим лучшим другом. Позднее мысль о том, что им мог быть такой парень, стала страшным подтверждением моей врожденной порочности. Словом, я забыл его. Но этой ночью он буквально стоял у меня перед глазами.

Было лето. Занятий в школе не было. Родители Джо уехали куда-то отдыхать, а я проводил каникулы у него в доме, в Бруклине, неподалеку от Кони-Айленда. Тогда наша семья тоже жила в Бруклине, только в более аристократическом районе.

Помнится, мы часами валялись на пляже, глазели на проходивших мимо полуголых девчонок, заигрывали с ними, смеялись. Ответь какая-нибудь девчонка на наши приставанья, думаю, океан показался бы нам слишком мелким, чтобы мы могли спрятаться в нем от ужаса и стыда. Но девчонки, уверен, интуитивно это чувствовали, а, может, наша манера заигрывать не позволяла им принимать нас всерьез. Солнце уже садилось, когда мы, натянув штаны прямо на мокрые плавки, по пляжному дощатому настилу отправились домой.

По-моему, все началось в ванной. Мы катались друг на друге по небольшой душной от пара комнате, стегались мокрыми полотенцами, и вдруг я почув-

25 Заказ 773

ствовал нечто такое, чего не испытывал раньше, — безотчетное волнение, таинственным образом связанное с Джо. Помню, как неохотно я одевался: может, от жары — думалось мне тогда. С грехом пополам мы напялили на себя одежду, вытащили из холодильника еду, подзаправились и выпили несколько бутылок пива. Потом вроде бы решили пойти в кино. Да, конечно, иначе незачем нам было вылезать из дома, а я хорошо помню, как мы бродили по сумеречным, раскаленным за день улицам Бруклина, и жара, исходившая от тротуаров и стен, доводила нас до одуренья. В тот час все взрослые обитатели города, неопрятные и усталые, сидели на верандах и мозолили нам глаза, а их потомство путалось под ногами в переулках, возилось в сточных канавах или лазило по пожарным лестницам. Мы проходили мимо них и смеялись. Джо шутил. А я обнимал его за плечи и очень гордился тем, что был выше Джо почти на полголовы.

Странно, что только сегодня ночью в первый раз за все эти годы я вспомнил, как хорошо было в тот вечер и как мне сильно нравился Джо.

Когда мы возвращались с прогулки, на улицах было тихо и спокойно.

Мы тоже были спокойны, а дома почувствовали себя еще спокойнее. Уже в полусне разделись и легли спать. Я сразу же заснул, но, видимо, довольно скоро проснулся от яркого света. Пробудившись, я увидел, как Джо с яростной сосредоточенностью что-то ищет на подушке.

— Ты чего?

— По-моему, меня укусил клоп.

— Неженка несчастная! А у вас что, есть клопы?

— По-моему, он меня укусил.

— А раньше тебя кусали?

— Нет.

— Ну так спи, тебе приснилось.

Он посмотрел на меня: рот был полуоткрыт, темные глаза расширились. Казалось, что до него вдруг дошло, что перед ним крупный знаток по части клопов. Я рассмеялся и принялся трясти его за голову — одному богу было известно, сколько раз я так трепал его во время наших игр или когда он начинал нудить. На сей раз, стоило мне прикоснуться к Джо, как в нас обоих что-то сработало, что-то такое, от чего это обычное прикосновение сделалось до странности новым, непохожим на все прежние. Джо против обыкновения совсем не сопротивлялся, а неподвижно лежал, прижатый моей грудью. И тут я вдруг почувствовал, как бешено бьется мое сердце и что Джо, лежа подо мной, дрожит всем телом, а свет в спальне нестерпимо режет глаза. Я сполз с него, неловко отшучиваясь. Джо тоже бормотал что-то бессвязное. Прислушиваясь к его словам, я откинулся на подушку. Джо поднял голову, я тоже приподнялся, и мы как бы невзначай поцеловались. Так в первый раз в моей жизни я телом ощутил тело другого человека, услышал его запах. Наши руки сплелись в объятье. Мне вдруг показалось, что у меня в руках бьется редкая, обессилевшая, почти обреченная на гибель птица, которую непостижимым образом мне довелось поймать. Я был здорово напуган и прекрасно понимал, что Джо напуган ничуть не меньше. Мы оба закрыли глаза. Все это я вижу сегодня так ясно, что с болью в сердце осознаю — я никогда, ни на одну минуту не забывал этого. Я и теперь слышу, как во мне звучит отголосок того желания, которое тогда так властно подчинило себе все мои чувства, я снова ощущаю ту неодолимую, как жажда, силу, завладевшую моим телом, от которой, казалось, разорвется сердце. Эта непостижимая, мучительная

жажда нежности была утолена в ту ночь — мы доставили друг другу много радости. В те минуты я думал, что всей моей жизни не хватит на то, чтобы исчерпать себя до конца в обладании Джо.

Но эта жизнь была недолгой: она длилась всего одну ночь. Я проснулся, когда Джо еще спал, лежа на боку, по-детски поджав под себя ноги. Он был похож на ребенка: рот полураскрыт, на щеках румянец, завитки волос темными прядями закрывали круглый мокрый лоб, длинные ресницы чуть подрагивали под лучами летнего солнца. Мы оба лежали голыми — простыня, которой мы накрывались, скомканная, лежала у нас в ногах. У Джо было смуглое, чуть тронутое испариной тело — такого красивого парня я больше никогда не встречал. Мне хотелось дотронуться до него, разбудить, но что-то удерживало меня. Я вдруг испугался. Может, потому, что он лежал передо мной, как невинный младенец, с обезоруживающим доверием прильнувший ко мне, а может, потому, что он был младше меня; собственное тело показалось мне вдруг грубо скроенным, сокрушающе-тяжелым, а все возрастающее желание обладать Джо страшило своей чудовищностью. Но испугался я, главным образом, одной навязчивой мысли: *Джо такой же парень, как и я.* Я вдруг словно впервые увидел, как сильны его бедра, плечи, руки, некрепко сжатые кулаки. И эта сила, и одновременно необъяснимая притягательность его тела неожиданно внушили мне еще больший страх. Вместо постели я вдруг увидел зияющий вход в пещеру, где мне суждено претерпеть бесчисленные муки, быть может, сойти с ума или навсегда утратить свою мужественность. И все-таки мне до смерти хотелось разгадать тайну этого тела, и снова ощутить его силу, и насладиться им. Моя спина покрылась холодным потом. Мне стало стыд-

но, стыдно даже самой постели — свидетельницы моей порочности. И тут я стал думать о том, что бы сказала его мать, увидев эти скомканные простыни. Потом вспомнил о своем отце, у которого во всем свете был только я один — мать умерла, когда я был еще маленький. В моем мозгу разверзлась черная дыра, до краев наполненная пересудами, оскорбительными перешептываниями, обрывками услышанных краем уха, полузабытых и наполовину непонятых россказней. Я чуть было не заплакал от стыда и ужаса, не понимая, как такое могло случиться со мной, как такое вообще могло прийти мне в голову. И тогда я принял решение. Мне сразу стало легче, я спрыгнул с кровати, встал под душ, оделся, приготовил завтрак.

Джо к этому времени уже проснулся. Я ни словом не обмолвился о своем решении; я боялся, что разговор может поколебать мою волю. Я даже не стал дожидаться его к завтраку, отхлебнул несколько глотков кофе и, извинившись, побежал домой, хотя и понимал, что этими уловками мне Джо не провести. Он пытался меня удержать, уговаривал, урезонивал и тем самым сделал все, чтобы мы расстались навсегда.

Я, все каникулы проведший с ним вместе, больше ни разу не захотел его видеть. Он тоже не искал встреч. Конечно, доведись нам встретиться, я был бы просто счастлив, но в то утро, когда я ушел от Джо, в наших отношениях появилась трещина, которую ни он, ни я не могли преодолеть.

Уже в самом конце лета мы с ним встретились совершенно случайно, и я долго и нудно плел ему невероятные басни о какой-то девчонке, с которой будто бы крутил в то время, а когда начались занятия в школе, я завязал знакомство с компанией ребят постарше и покруче и уже стал относиться

к Джо с откровенной неприязнью. И чем мрачнее делалось его лицо, тем сильнее крепла моя неприязнь. Наконец, он переехал из нашего района, перевелся в другую школу, и я больше его никогда не видел.

Наверное, тем летом я впервые почувствовал себя как бы в пустоте, и тем же летом я впервые пустился в бегство от самого себя, которое и привело меня вот к этому темному окну. Да, как только начнешь отыскивать в памяти ту страшную, все определяющую минуту, которая разом задает новый ход событиям, становится ясно, скольких мучений стоило это блуждание в лабиринте обманчивых ориентиров и перед самым носом захлопнувшихся дверей. Наверняка, бегство от самого себя началось в то лето, когда я так и не понял, где искать суть вставшей передо мной проблемы, и бегство казалось тогда единственно возможным выходом. Теперь, конечно, я понимаю, что решение этой проблемы — во мне самом...

Я встретился с Джованни на втором году моей жизни в Париже, когда сидел без копейки. Мы познакомились вечером, а утром меня выкинули из номера...

Мы встретились с Жаком в уютном ресторанчике на улице Гринель и за первым же аперитивом сошлись на том, что он одолжит мне десять тысяч франков. Жак был в отличном настроении, я, разумеется, тоже не унывал, а это значило, что потом мы отправимся выпить в любимый бар Жака — шумный, тесный, плохо освещенный подвальчик с сомнительной, или, вернее, ни у кого не вызывающей сомнения вполне определенной репутацией. Время от времени полиция совершала налеты на этот кабачок, хотя, по правде говоря, происходило это не без ведома патрона Гийома, который, в свою

очередь, предупреждал своих завсегдатаев, чтобы те запаслись надежными документами или не появлялись вовсе.

В тот вечер, помню, народу в баре было больше, чем обычно, стоял гвалт. Кроме постоянных посетителей, набралось много случайных гостей, которые с любопытством глазели по сторонам. Сидело несколько шикарных парижанок со своими сутенерами, а может, любовниками или дальними родственниками, приехавшими из провинции — а их спутники держались довольно скованно. Здесь, как всегда, были пузатые, очкастые мужчины с алчными, подчас полными отчаянья глазами, тонкие, как лезвие ножа, мальчики в джинсах: трудно сказать, чего они искали в этом баре — крови, денег, а, может быть, любви? Они сновали взад и вперед, клянчили то сигарет, то выпить, и в их глазах было что-то жалкое и вместе с тем жестокое. Не обошлось, конечно, и без les folles[1]. Крикливо одетые, они вопили, как попугаи, обсуждая подробности последней ночи, а ночи у них всегда были сногсшибательными.

Поздно ночью один из них ворвался в бар и сообщил сенсационную новость: только что он (впрочем, они говорили друг другу «она») провел время с кинозвездой или боксером. Les folles набрасывались на вошедшего, обступали его, напоминая стаю павлинов, хотя и галдели, точно воробьи. У меня никак не укладывалось в голове, что эти мальчики были кому-то нужны: ведь мужчина, который хочет женщину, найдет настоящую женщину, а мужчина, которому нужен мужчина, никогда не согласится иметь дело с ними. Вероятно, поэтому они так

---

[1] Самые дешевые французские педерасты, которых называют «бешеные девчонки» *(фр.)*.

громко хвастались своими победами. Среди них был один мальчик, который, как мне говорили, днем работал на почте, а ночью появлялся в баре, нарумяненный, в серьгах, с высоко взбитыми белокурыми волосами. Иногда он даже надевал юбку и туфли на высоких каблуках. Держался он особняком, и Гийом любил подойти к нему и поддразнить. Многие находили его симпатичным, а меня так прямо воротило от этой тошнотворной пародии на человека...

Бар находился практически в квартале от моего дома, и я, как правило, завтракал в ближайшем бистро, куда по утрам, когда закрывались соседние бары, слетались эти ночные пташки. Иногда я там бывал с Хеллой, иногда один. В бар Гийома я тоже раза два-три заглядывал и однажды, сильно набравшись, даже произвел сенсацию местного значения: говорят, усиленно заигрывал с каким-то солдатом. По счастью, я почти ничего не помнил, поэтому мне ничего не стоило убедить себя, что такого произойти не могло, даже если я был пьян в стельку. Во всяком случае, меня здесь знали, и я чувствовал, что здесь спорили обо мне. Мне казалось, что я попал в странную секту, законы которой суровы и непреложны, и теперь жрецы неотступно наблюдают за мной и по особым, им одним понятным приметам пытаются разведать, есть у меня истинное призвание стать их собратом или нет. Отправившись к Гийому, оба мы, Жак и я, уже знали о новом бармене. Бар притягивал нас, как магнит, как горящий очаг, у которого можно отогреться. Смуглолицый бармен стоял, облокотившись о кассу, рассеянно потирал подбородок и окидывал толпу нагловатым взглядом победителя. Казалось, он стоял на крутом утесе и смотрел на

море, то есть на нас. Жак сразу загорелся. Я почувствовал, как он, так сказать, сделал стойку, и мне придется все это вытерпеть.

— Наверняка тебе не терпится познакомиться с барменом, — сказал я, — ты моргни, я сразу же смоюсь.

Моя терпимость держалась на довольно шаткой основе, всего лишь на понимании ситуации, я уже сыграл на этом, когда позвонил Жаку и попросил взаймы денег. Мне было ясно, что не видать Жаку этого мальчика, и я злорадствовал. Конечно, Жак мог купить его, если тот продавался, но раз он с такой неприступностью держался на этих торгах, он без труда нашел бы себе покупателя побогаче и привлекательнее Жака. Я знал, что Жак это понимает. Знал я и другое: за его пресловутой привязанностью ко мне скрывалось желание избавиться от меня, желание презирать меня так же, как он презирает всю эту армию мальчишек, без любви перебывавших в его постели. Я гнул свою линию, прикидывался, будто мы с Жаком друзья, и ему ничего не оставалось, как платить собственным унижением и подыгрывать мне. Я притворялся, что не замечаю, как ярость вспыхивает в его светлых злых глазах, и беззастенчиво пользовался этим. С чисто мужской грубой прямотой я давал понять Жаку, что дело его небезнадежно, и тем самым обрекал его на бесконечную надежду. Но я понимал, что в барах такого сорта служу Жаку своеобразным забралом. Ведь я был рядом с ним у всех на виду, и даже Жак начинал думать, что пришел сюда со своим другом, что настроение у него отличное, и потому плевать на то, что подкинет ему шалый и жестокий случай — он не станет довольствоваться его телесными или духовными подачками.

— Ты не уходи, — сказал Жак, — лучше поболтаем. Я посмотрю на него издали, зато деньги будут целы и никаких расстройств.

— Интересно, где Гийом его подцепил? — заметил я.

Но этот бармен был как раз тем молодым человеком, о котором Гийом мог только мечтать, поэтому как-то не верилось, что Гийом действительно его подцепил.

— Что будем пить? — спросил он нас. По его тону я догадался, что, не зная ни слова по-английски, он понял, что мы говорили о нем, и полагал, что мы его уже обсудили.

— Une fine a l'eau[1] — сказал я.

— Un cognac sec[2] — сказал Жак.

Мы выпалили это такой скороговоркой, что я покраснел. Джованни чуть заметно улыбнулся, и я понял, что он это заметил. Жак, истолковав по-своему ухмылку Джованни, сразу же кинулся в атаку.

— Вы ведь здесь недавно? — спросил он по-английски.

Джованни наверняка понял его вопрос, но предпочел разыграть полное недоумение, поглядывая то на меня, то на Жака. Тот переспросил по-французски.

Джованни пожал плечами.

— Я здесь уже с месяц, — ответил он.

Я знал, что за этим последует, потупился и отхлебнул из рюмки.

— Вам, наверное, многое здесь кажется странным? — Жак с ослиным упрямством старался придать разговору игривый тон.

---

1 Водку с водой *(фр.)*.

2 Рюмку коньяку *(фр.)*

— Странным? — переспросил Джованни. — Но почему же?

Жак хихикнул, и мне вдруг стало стыдно, что я сижу рядом с ним.

— Здесь столько мужчин, — продолжал, задыхаясь, Жак высоким бабьим голосом со знакомыми мне вкрадчивыми нотками, таким жарким и обволакивающим, каким бывает мертвый зной, нависший над болотом.

— Здесь столько мужчин, — вздохнув повторил он, — и почти нет женщин. Вам это не кажется странным?

— Наверное, женщины сидят дома и дожидаются мужей, — сказал Джованни и, отвернувшись, занялся другим посетителем.

— Вас, наверное, тоже ждут дома, — продолжал Жак, но Джованни ему не ответил.

— Ну, вот и поговорили, — сказал Жак, обращаясь то ли ко мне, то ли к тому месту, где только что стоял Джованни. — А ты еще хотел сбежать. Нет, я в твоем полном распоряжении.

— Ты просто неудачно взялся за дело, — сказал я, — он от тебя без ума, только скрывает это. Угости его аперитивчиком, узнай, где ему хочется купить костюм, скажи, что тебе не терпится преподнести какому-нибудь настоящему бармену свою прелестную «Альфу Ромео».

— Знаешь, неплохо придумано, — отозвался Жак.

— Вот видишь, — сказал я, — смелость города берет, это уже проверено.

— Мне почему-то кажется, что он спит с девчонками. Это должно ему нравиться. Знаешь, я слыхал про таких. Вот сволочи!

Некоторое время мы молчали.

— А почему бы тебе не пригласить его выпить с нами? — спросил вдруг Жак.

Я взглянул на него.

— Почему мне? Видишь ли, тебе, конечно, покажется невероятным, но я тоже из тех чудаков, которым нравятся девчонки. Вот если бы у него была сестра, такая же красивая, я не отказался бы с ней выпить. А на мужчин тратить деньги я не намерен.

Жака явно подмывало сказать, что, однако, я не возражаю, когда другие мужчины тратятся на меня. Я смотрел, как он мучается, криво улыбается, понимая, что он не посмеет сказать об этом.

Жак изобразил непринужденную открытую улыбку и сказал:

— Я и не думаю покушаться на твое мужское целомудрие, которым ты так дорожишь. Просто я хотел, чтобы это сделал ты, потому что мне он наверняка откажет.

— Послушай, дружище, — с ухмылочкой продолжал я, — произойдет путаница. Он решит еще, что я в него втюрился. Нам потом не распутаться.

— Если до этого дойдет, я буду счастлив все ему разъяснить, — с достоинством ответил Жак.

Некоторое время мы пристально смотрели друг на друга, и тут я расхохотался.

— Подождем, пока он подойдет к нам, ручаюсь, что он потребует бутылку самого дорогого шампанского.

Я отвернулся от Жака и облокотился на стойку. Мне вдруг стало хорошо. Жак стоял молча рядом, такой хлипкий, такой старый, что я почувствовал острую и странную жалость к нему. Джованни суетился в зале, обслуживая посетителей за столиками, потом появился с подносом, заставленным стаканами, и мрачно улыбнулся.

— Может, лучше сначала допить, а потом его позвать, — предложил я.

Мы допили. Я поставил стакан.

— Бармен! — позвал я.

— Повторить?

— Да.

Он собрался уже уйти.

— Бармен, — продолжил я скороговоркой, — не угодно ли выпить с нами?

— Eh, bien![1] — послышалось сзади. — C'est fort ça![2] Мало того, что ты, слава тебе, господи, совратил этого знаменитого американского футболиста, так теперь с его помощью подбираешься к моему бармену. Vraiment, Jacques! At your age![3]

За нашими спинами стоял Гийом. Он скалился, как кинозвезда, и обмахивался большим белым платком, с которым ни на минуту не расставался, во всяком случае в баре. Жак повернулся, невероятно польщенный тем, что в нем заподозрили опасного совратителя, и они кинулись друг другу в объятия, как две старые актрисы.

— Eh, bien, ma cheri, comment vas tu![4] Давненько тебя не было видно.

— Страшно был занят, — ответил Жак.

— Не сомневаюсь ни одной секунды. И тебе не стыдно, veile folle![5]

— Et toi?[6] Ты вроде бы тоже не терял даром времени.

И Жак бросил восхищенный взгляд в сторону Джованни, будто тот был прекрасной скаковой лошадью или редкой фарфоровой безделушкой.

---

1 Ну и ну! *(фр.)*

2 Здорово! *(фр.)*

3 В самом деле, Жак! Это в твои-то годы! *(фр., англ.)*

4 Ну, моя милая! Как поживаешь? *(фр.)*

5 Старый педераст! *(фр.)*

6 А тебе? *(фр.)*

Гийом перехватил его взгляд и сразу сник.

— Ah, ça, mon cher, c'est strictement du business, comprends-tu?[1]

Они отошли в сторону. И тут я почувствовал, как надо мной вдруг нависло напряженное мучительное молчание. Наконец, я поднял глаза и взглянул на Джованни, наблюдавшего за мной.

— По-моему, вы предложили мне выпить? — спросил он.

— Да, — отозвался я, — предложил.

— На работе я, вообще, не пью, но от кока-колы не откажусь.

Он взял мой стакан.

— А вам, конечно, повторить?

— Да, пожалуйста, — ответил я.

И тут я понял, что просто счастлив видеть Джованни, разговаривать с ним, понял это, и оробел, и не только оробел — испугался: ведь Жака не было рядом. Потом мне пришло в голову, что придется платить самому, это как пить дать, не тащить же мне Жака за рукав, будто я его нахлебник. Я кашлянул и положил на стойку бумажку в десять тысяч франков.

— Да вы богаты, — заметил Джованни и поставил передо мной стакан.

— Что вы! Просто у меня нет мелких.

Он ухмыльнулся. Я не понимал, чему он улыбается: думает, что я вру, или верит, что говорю правду. Джованни взял счет, молча выбил мне чек, деловито отсчитал мне сдачу и положил на стойку. Потом он налил себе стакан и встал на прежнее место у кассы. У меня вдруг что-то защемило в груди.

---

[1] Нет, дорогой, это исключительно для дела, понял? *(фр.)*

— A la votre[1] — сказал он.

— A la votre.

Мы выпили.

— Вы американец? — спросил он после паузы.

— Да, — ответил я, — из Нью-Йорка.

— Вот как? Говорят, Нью-Йорк очень красивый город. Он красивее Парижа?

— Нет, что вы! — возразил я. — Разве может быть город красивее Парижа?

— Стоило мне только предположить что-то, как вы уже сердитесь, — улыбнулся он. — Простите, честное слово. Я вовсе не хочу показаться оригинальным.

И потом, точно желая угодить мне, он серьезно добавил:

— А вы, должно быть, очень любите Париж?

— Нью-Йорк я тоже люблю, — ответил я, с неудовольствием отмечая, что вроде бы оправдываюсь, — Нью-Йорк очень красив, только по-другому.

— Как это? — Джованни нахмурился.

— Если ты там не жил, то даже не представишь, — сказал я, — он такой громадный, весь в неоновых огнях, это потрясающе!

Я помолчал.

— Его трудно описать. Понимаете, это настоящий двадцатый век.

— А Париж, по-вашему, не двадцатый век? — с улыбкой спросил он.

От этой улыбки я показался себе довольно глупым.

— Понимаете, — сказал я, — Париж — город старый, ему несколько сот лет. И в Париже кажется, что все эти долгие годы ты прожил здесь. В Нью-Йорке ничего подобного не испытываешь...

---

[1] За ваше здоровье! *(фр.)*

Джованни улыбнулся. Я замолчал.

— А что же испытываешь в Нью-Йорке? — спросил он.

— Скорее всего, — сказал я, — чувствуешь дыхание будущего. Там во всем такая мощь, все крутится, вертится, там все время думаешь, я, во всяком случае, что же с нами будет через сто лет.

— Через сто лет? Мы умрем, а Нью-Йорк состарится.

— Именно, — ответил я, — люди пресытятся, а Новый Свет американцам уже будет не в новинку.

— Не понимаю, почему он им в новинку, — заметил Джованни, — вы же, в сущности, переселенцы, да и уехали из Европы не так давно.

— Да, но нас разделяет океан, — сказал я, — жизнь у нас шла совсем иначе, чем в Европе, и мы пережили то, о чем вы тут и понятия не имели. Вот мы и стали другими людьми. Разве не ясно?

— Если бы вы стали другими людьми! — засмеялся Джованни. — По-моему, вы превратились во что-то другое. Может, вас забросило на другую планету? Тогда все понятно и рассуждать не о чем.

— Я охотно допускаю, — с некоторой запальчивостью ответил я (я не люблю, когда надо мной подтрунивают), — что мы иногда и впрямь кажемся пришельцами с другой планеты. Но, увы, живем-то мы здесь, на земле, да и вы, мой друг, тоже...

— Трудно оспаривать этот печальный факт, — снова с ухмылкой сказал Джованни.

Разговор на время оборвался: Джованни отошел к противоположному концу стойки, чтобы обслужить посетителей. Гийом с Жаком все еще разговаривали. Гийом, вероятно, смаковал один из своих бесчисленных анекдотов, которые, как правило, сводились к превратностям любви и случая, и губы Жака

растягивала вежливая улыбка. Я знал, что ему до смерти хочется вернуться в бар.

Джованни снова появился передо мной и принялся мокрой тряпкой вытирать стойку.

— Чудной народ вы, американцы! У вас вообще нет чувства времени, право, это довольно странно. Для вас время вроде нескончаемого праздника, триумфального шествия, что ли: знамена, войска, ликующая толпа. Точно, будь у вас много времени, ничего другого вам и не надо.

Он улыбнулся и насмешливо взглянул на меня. Я промолчал.

— В общем, получается так, — продолжал Джованни, — что при всей вашей чертовской энергии и прочих достоинствах вам недостает только времени, чтобы устранить неразбериху, все упорядочить и разрешить все проблемы. Я говорю все, — мрачно добавил он, — имея в виду такие серьезные и страшные вещи, как боль, любовь, в которые вы, американцы, не верите.

— Откуда вы взяли, что не верим? А во что вы верите?

— Во всяком случае, не в эту вашу галиматью про время. Она существует для всех, как вода для рыб. Все живут в этой воде, и никому из нее не вылезти, а если такое с кем и стрясется, так он, как рыба, подохнет. Вы знаете, что творится в этом океане времени? Крупная рыба пожирает мелкую рыбешку. Вот так. Жрет себе мелкую рыбешку, а океану до этого и дела нет.

— Нет уж, извините, — сказал я, — ничего подобного. Время — вода горячая, и мы — не рыбы и располагаем правом выбора: себя не давать есть и самим других не есть, других, то есть мелкую рыбешку, — поспешно добавил я и слегка покраснел,

потому что Джованни несколько иронически и вместе с тем восхищенно улыбался мне.

— Право выбора, — воскликнул он, отворачиваясь от меня и как бы обращаясь к незримому собеседнику, который мог слышать наш разговор.

— Право выбора! — Джованни снова повернулся ко мне. — Нет, вы стопроцентный американец. Я восхищен вашим оптимизмом!

— А я — вашим, — учтиво ответил я, — хоть вы и настроены весьма мрачно, не в пример мне.

— Интересно, — примирительно начал Джованни, — если мелкую рыбешку не есть, так что с ней делать? На что она годится?

— У нас в Америке, — заговорил я, чувствуя, что все сильнее волнуюсь, — мелкая рыбешка собирается в стаю и пожирает громадного кита.

— Но китом от этого она не делается, — возразил Джованни, — в лучшем случае, пропадает всякое величие и торжествует обыденность даже на морском дне...

— Так вот что вам в нас не нравится? Мы для вас чересчур обыденны.

Джованни улыбнулся, как улыбается человек, который, видя полную несостоятельность собеседника, хочет прекратить спор:

— Может быть.

— Невозможный вы народ, — сказал я, — сами же превратили Париж в обыденный город, закидали камнями его прежнее величие, а теперь разглагольствуете о мелкой рыбешке...

Джованни смотрел на меня с усмешкой. Я замолчал.

— Что же вы? — спросил он, продолжая усмехаться. — Я слушаю.

Я осушил стакан.

— Вы же сами нас перемазали дерьмом, а теперь, когда от нас несет им, заявляете, что мы — дикари.

В моих словах проступила затаенная обида. Это и подкупило Джованни.

— Славный вы малый, — сказал он, — вы со всеми так разговариваете?

— Нет, — ответил я, смутившись, — почти ни с кем.

— Мне лестно это слышать, — не без кокетства сказал он, и в его голосе промелькнула неожиданная, обескураживающая серьезность, правда, с оттенком едва уловимой иронии.

— А вы, — заговорил я, — давно здесь живете? Вам нравится Париж?

Он сначала замялся, потом усмехнулся и вдруг стал похожим на застенчивого мальчика.

— Зимы здесь холодные, — сказал он, — а я этого не выношу. Да и парижане, на мой вкус, не очень общительный народ, правда ведь?

И не дожидаясь моего ответа, продолжал:

— Когда я был помоложе, с такими людьми мне не приходилось сталкиваться. У нас в Италии все такие общительные, мы поем, танцуем, любим друг друга, а эти парижане, — Джованни окинул взглядом бар и, допив свою кока-колу, бросил, — ужасно холодные. Не понимаю я их.

— А французы говорят, — дразнил я Джованни, — что итальянцы ветрены, несерьезны и не знают чувства меры.

— Меры! — возмутился он. — Ох, уж эти мне французы с их чувством меры! Все они вымеряют по граммам, по сантиметрам, годами копят барахло, целые кучи накапливают, сбереженья держат в чулке, а какой им прок от этой меры? Франция с истинно французской размеренностью на глазах у них разваливается на куски... Им, видишь ли, меру

подавай! Простите за грубость, но эти французы все вымеряют и высчитают, прежде чем лечь с вами в постель. Это уж точно. Можно вам еще предложить выпить? — неожиданно спросил он. — А то ваш старик придет. Он вам кто? Дядя?

Я не знал, было ли это брошенное им «дядя» эвфемизмом или нет; мне страшно скорее хотелось растолковать Джованни, что и как, но я не знал, с чего начать, и засмеялся.

— Да нет, какой он мне дядя? Так, знакомый.

Джованни не сводил с меня глаз, и тут я почувствовал, что никто в жизни не смотрел на меня так, как он.

— Надеюсь, вы к нему не очень привязаны, — с улыбкой сказал Джованни, — он же наверняка дурачок. Нет, человек он, видно, неплохой, просто дурачок.

— Наверное, — ответил я и вдруг понял, что совершил предательство, — он неплохой человек, — поспешно добавил я, — в самом деле славный тип.

«Тоже врешь, — пронеслось в голове, — он далеко не такой уж славный».

— Но привязанности к нему у меня нет, — и я снова почувствовал, как голос странно зазвенел, а в груди что-то сжалось.

Джованни предупредительно налил мне стакан.

— Vive l'Amerique[1], — сказал он.

— Спасибо, — сказал я и поднял стакан. — Vive le vieux Continent[2].

Мы помолчали.

— А вы часто заглядываете сюда? — в упор спросил Джованни.

— Нет, — ответил я, — не очень.

---

[1] Да здравствует Америка *(фр.)*.

[2] Да здравствует Старый Свет *(фр.)*.

— А теперь вы будете приходить почаще? — продолжил он свой допрос, и лицо его просияло от подкупающего лукавства.

— А зачем? — заикаясь пробормотал я.

— Как?! — воскликнул Джованни, — неужели вы не поняли, что у вас тут завелся друг?

Я знал, что лицо у меня в эту минуту идиотское и что вопрос мой тоже идиотский.

— Так быстро?

— Почему же нет? — серьезно ответил он и посмотрел на часы. — Можно, конечно, часок подождать, если вам угодно, и стать друзьями потом или подождем до закрытия, тогда тоже еще не поздно подружиться. Или обождем до завтра, только завтра у вас, наверное, есть другие дела.

Джованни отложил в сторону часы и облокотился на стойку.

— Скажи мне, — заговорил он, — а что такое время? Почему лучше проволынить, чем поспешить? Только и слышишь: «Нам надо подождать, надо подождать». А чего ждать?

— Как чего? — Я почувствовал, что Джованни затягивает меня в глубокий и опасный омут. — Думаю, люди ждут, чтобы окончательно проверить свои чувства.

— Ах, чтобы проверить? — И он снова повернулся к своему незримому собеседнику и рассмеялся.

Мне вдруг показалось, что Джованни — призрак, чье появление наводит страх, и смех его звучал донельзя странно в этом безвоздушном тоннеле.

— Сразу видно, что вы настоящий философ. А когда вы раньше ждали, оно говорило вам, — и Джованни указал пальцем на сердце, — что чувства проверены?

Я не нашелся, что ответить на этот вопрос. Из темной глубины переполненного зала кто-то крикнул «гарсон», и Джованни с улыбкой отошел от меня.

— Теперь можете подождать. А когда я вернусь, скажите, проверили себя или нет...

Я довольно долго проторчал в одиночестве у стойки, потому что этот чертов Жак, удрав от Гийома, тут же ввязался в беседу с двумя тонкими, как лезвие ножа, мальчиками. Джованни на минуту появился передо мной и подмигнул.

— Ну, как, проверили?

— Ваша взяла! Философ-то, оказывается, вы!

— О, вам лучше еще немного подождать. Вы же меня плохо знаете, а говорите такие вещи.

Он поставил стакан на поднос и снова исчез...

Вот так я встретился с Джованни. Думаю, мы навсегда связали наши судьбы, с первого взгляда, и мы будем связаны вечно, несмотря на нашу скорую separation de corps[1], несмотря на то, что тело Джованни скоро будет гнить где-нибудь в общей яме для грешников неподалеку от Парижа. И до самого смертного часа, словно ведьмы Макбета, будут преследовать меня всплывающие как из-под земли воспоминания, и лицо Джованни будет являться передо мной, его лицо в разные моменты нашей совместной жизни, и в ушах будет пронзительно звучать его голос — его тембр и особенный говорок, и запах тела Джованни снова ударит мне в нос...

Жаку вдруг захотелось поиграть со мной в доброго дядюшку, хотя он спокойно мог предложить выпить любому из этих мальчиков.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он. — У тебя такой знаменательный день.

---

[1] Физическую разлуку *(фр.)*.

— Отлично, — ответил я, — а ты?

— Я? Как человек, которому явилось прекрасное видение.

— Да? — сказал я. — Поделись со мной впечатлениями.

— Я вовсе не собираюсь шутить, — заметил он, — и говорю о тебе. Ты и есть то прекрасное видение. Если бы ты мог посмотреть на себя со стороны: ты сейчас совсем не такой, каким был вчера вечером.

Я молча посмотрел на него.

— Сколько тебе лет? Двадцать шесть или двадцать семь? Мне примерно вдвое больше, и, смею тебя уверить, тебе сильно повезло, потому что это случилось с тобой сегодня, а не когда тебе стукнет сорок или около того, когда уже не растравляешь себя надеждой и ни к черту не годишься.

— Что же такое со мной случилось? — спросил я, стараясь придать голосу насмешливость, но вопреки моему желанию вопрос прозвучал слишком серьезно.

Он не ответил, вздохнул, бросив беглый взгляд на рыжеволосого мальчика, потом повернулся ко мне:

— Ты напишешь Хелле?

— Я пишу ей довольно часто, — заметил я, — думаю на днях отправить письмо.

— Ты уклонился от ответа.

— О, мне показалось, что ты спросил, буду ли я писать Хелле?

— Хорошо, задам вопрос иначе: ты напишешь ей о сегодняшней ночи?

— Честно говоря, не знаю, что в ней такого особенного, чтобы описывать в письмах. Тебе что до того, напишу я или нет?

Он кинул на меня взгляд, полный такого отчаяния, какого я в нем и не подозревал. Это почему-то здорово напугало меня.

— Мне-то ничего, — сказал он, — а вот тебе и ей вряд ли безразлично, как и этому бедному мальчику; ведь он и не предполагает, что, глядя на тебя во все глаза, сует голову прямо во львиную пасть. Ты с ним будешь обходиться так же, как и со мной?

— С тобой? Что ты имеешь в виду? Как я с тобой обходился?

— Со мной ты вел себя очень некрасиво, — сказал он, — ты вел себя непорядочно.

— Я понял, стало быть, ты считал бы меня пристойным и порядочным, вздумай я... — на сей раз слова прозвучали с издевкой.

— Нет, я просто думаю, что было бы пристойнее с твоей стороны не так откровенно меня презирать.

— Прости, но коль уж об этом зашла речь, мне кажется, что многое в твоей жизни не может не вызывать презрения.

— То же самое могу сказать о тебе, — ответил Жак, — знаешь, в человеке разные качества достойны презрения, но высокомерное отношение к страданиям ближнего достойно презрения больше, чем все прочие недостатки. Тебе стоило бы подумать о том, что человек, который стоит перед тобой, когда-то был моложе тебя и незаметно для самого себя превратился в порочную и жалкую развалину.

Мы замолчали, и долетевший до нас в этот момент смех Джованни прозвучал угрожающе.

— Скажи, — заговорил я, — неужели ты уже не можешь жить по-другому? Не ползать на брюхе перед бесконечными мальчишками и клянчить, чтобы они подарили тебе пять грязных минут в темноте?

— Ты лучше вспомни тех, кто ползал на брюхе перед тобой, пока ты витал в облаках и делал вид, будто не замечаешь, что кто-то лежит у тебя между ног и проводит с тобой те самые грязные пять минут...

— Пойми, — настойчиво продолжал он, — моя жизнь постыдна только потому, что таковы мои случайные попутчики. А они постыдны. Тебе надо бы спросить, почему?

— А почему они постыдны? — спросил я.

— Потому что они не знают ни привязанности, ни радости. Это как вставлять вилку в испорченную розетку, все сделано по правилам, а контакта нет, все по правилам, а ни контакта, ни света.

— Почему? — снова спросил я.

— А это ты себя спроси, — сказал Жак, — может, когда-нибудь ты и поймешь, что сегодняшнее утро было для тебя рождественским подарком.

Я взглянул на Джованни — он стоял в обнимку с какой-то весьма потасканной девицей, которая когда-то была, видно, очень хороша собой и больше уже такой никогда не будет. Жак перехватил мой взгляд.

— Здорово он в тебя влюбился, — сказал он, — совсем готов. А ты не счастлив и не гордишься этим, а надо бы. Вместо этого ты испугался и стыдишься этого. Зачем?

— Не знаю, что он хочет, — выдавил я, — я не знаю, что стоит за его дружеским расположением, как он понимает эту дружбу.

— Ты не знаешь, как он понимает эту дружбу, но и не уверен, что она-то тебе и нужна. Ты боишься, как бы дружба Джованни не изменила тебя. А какого рода отношения с людьми у тебя были раньше?

Я промолчал.

— Или, вернее, скажем так: какого рода любовные отношения были у тебя?

Я отмалчивался, а он принялся подбадривать меня:

— Смелее, давай, не теряйся!

Меня это рассмешило, и я ухмыльнулся.

— Полюби его, — горячо зашептал Жак, — и не мешай ему любить тебя. Неужели ты думаешь, что на свете есть что-нибудь важнее любви? А сколько будет длиться ваша любовь — какая разница? Ведь вы мужчины, стало быть, вас ничто не связывает. Эти пять минут в темноте, всего-навсего пять минут — они стоят того, поверь мне. Конечно, если ты станешь думать, что они грязные, они и будут грязными, потому что ты проведешь их без отдачи, презирая себя и его за эту плотскую любовь. Но в ваших же силах сделать их чистыми, дать друг другу то, от чего вы оба станете лучше, прекраснее, чего вы никогда не утратите, если, конечно, ты не будешь стыдиться ваших отношений и видеть в них что-нибудь дурное.

ЭКО

Умберто Эко (р. 1932) — итальянский ученый и писатель — специалист по семиотике, профессор Болонского университета. Автор книги «Семиотика и философия языка» (1984). Его перу принадлежит более 10 книг, посвященных литературе и искусству.

Роман «Имя розы» написан в 1980 году. В этом произведении писателю удалось сочетать увлекательность детективного повествования с глубиной философского исследования.

ИМЯ РОЗЫ

... Беренгара, как это было с некоторых пор известно большинству монахов, снедала нездоровая страсть к Адельму — страсть, на приверженцев которой пал Господень гнев в Содоме и Гоморре. Такими словами обошелся в данном случае Бенций, очевидно из снисхождения к моему невинному малолетию. Однако каждый из тех, кому выпало провести отрочество и юность в монастырских стенах, знает, что даже при самой целомудренной жизни никуда не укроешься от разговоров об этой страсти, и нужна величайшая осторожность, чтобы упастись от коварства тех, кто способен на все, превратившись в рабов этой страсти. Будто и не получал я сам, несмышленным монашком, у себя в Мельке от одного пожилого собрата записочки с такими стихами, которые у мирян принято обычно посвящать дамам? Монашеские обеты удерживают нас и отвращают от того поместилища пороков, каково женское тело, — но нередко они же подталкивают нас к рубежу иных прегрешений. Могу ли я в конце концов таить и не признаваться себе самому,

что и на мою собственную старость усердно покушается полуденный бес, и волнует меня в те минуты, когда рассеянно блуждающий взор упадает, в полумраке хора, на безусое личико послушника, гладкое и свежее, как у девочки?

Я рассказываю об этом не затем, чтобы подвергнуть сомнению давно совершенный мною выбор — подчинить свою жизнь монастырскому служению, — а затем, чтобы хотя отчасти оправдать грехопадение тех, кому ноша оказалась непосильной. Может быть, оправдать и мерзкое грехопадение Беренгара. Однако из рассказа Бенция выяснилось, что порочный монах добивался своего еще и самым недостойным из всех способов — вымогательством, — принудительно требуя от других того, к чему допускали их совесть и честь.

Итак, с некоторых пор братья посмеивались, замечая нежнейшие взгляды Беренгара в сторону Адельма, который, по-видимому, был очень хорош. Адельм же, безраздельно влюбленный в работу, из которой единственной, надо думать, черпал наслаждение, очень мало интересовался страданиями Беренгара. Однако кто знает? Возможно, душа его в потайных глубинах и лежала к упомянутому бесчестью. Так или иначе, Бенций подслушал его беседу с Беренгаром. Тот намекал на некую тайну, которую Адельм жаждал узнать, и предлагал ему низостную сделку. Суть ее, полагаю, ясна и самому неискушенному читателю. Бенций свидетельствовал, что Адельм тогда ответил согласием, якобы даже с облегчением. Это выглядело, убеждал нас Бенций, как если Адельм по существу и не желал иного, и радовался посторонней причине, оправдывавшей его падение и позволявшей утолить подавленную похоть. Таким образом — показывал далее Бенций — тайна Беренгара определенно должна была состоять в

некоем откровении науки; только тогда Адельм мог обольщаться, будто, поддаваясь плотскому греху, потворствует высшей потребности интеллекта — тяге к познанию. К тому же, с улыбкой добавил Бенций, он сам не раз переживал такие мучения любознательности, ради утоления которых согласился бы подчиниться чужим плотским желаниям, не разделяя их собственной плотью.

«Разве не бывает у вас, — обратился он к Вильгельму, — таких минут, когда согласитесь вы на возбранные действия, лишь бы получить книгу, которую ищете годами?»

«Мудрый и добродетельный Сильвестр II в свое время отдал драгоценнейший небесный глобус за сочинения Ситуаций или Лукана — не помню точно», — сказал Вильгельм. И рассудительно добавил: «Но то небесный глобус, а не собственная честь».

Бенций опомнился и признал, что, пожалуй, в воодушевлении хватил через край. Он продолжал рассказ. В ночь перед гибелью Адельма он, Бенций, охваченный любопытством, пошел за этой парой. Он видел, как после повечерия они прошествовали в опочивальни. Он надолго засел за полуоткрытой дверью своей кельи. Кельи этих двоих были близки. Бенций ясно видел, как Адельм, когда сон и тишина овладели зданием, скользнул в дверь кельи Беренгара. Он, Бенций, ждал, не в силах успокоиться, на ложе, и наконец услышал, как снова заскрипела беренгарова дверь. Адельм почти бегом побежал из кельи, а друг как мог удерживал его. Беренгар бежал за Адельмом до нижнего этажа. Бенций шел следом на цыпочках и в начале нижнего коридора чуть не наткнулся на Беренгара. Тот, трясясь, застыл в углу напротив двери Хорхе, глазами пожирая дверь. И Бенций понял, что Адельм пал

в ноги старшему брату, каясь в содеянном грехе. А Беренгар трясся, сознавая, что его тайна перестает быть тайной, хотя и под печатью исповеди.

И вот вышел Адельм, белый, как полотно, отстранил Беренгара, пытавшегося говорить, и двинулся из опочивален. Обогнув апсиду церкви, он вошел в северный портал хора, который в течение всей ночи остается открытым. Очевидно, он хотел молиться в церкви. Беренгар бежал следом, но лишь до двери хора. Войти не посмел и остался на кладбище, ломая руки...

Но дальше Бенций, опасаясь, что его раскроют, следить не стал, и воротился в опочивальни. Наступившим утром труп Адельма был найден у подножия скалы. Больше ничего Бенций добавить не мог.





Э. ЛИМОНОВ

Эдуард Лимонов (псевдоним Эдуарда Савенко) (р. 1943) — русский писатель-эмигрант. В 1975 г. поселяется в Нью-Йорке. В 1976 г. написан первый роман «Это я — Эдичка». Автор книг «Подросток Савенко», «Дневник неудачника», «Палач», «У нас была великая эпоха». В данное время живет в России.

ЭТО Я — ЭДИЧКА

... я вошел на территорию, где были качели и еще какие-то аттракционы для детей, в середине сиял фонарь, а все углы были заманчиво темными. Я пошел, конечно, в самую большую темноту. Пробираясь между железными балками, на которых покоился неизвестного назначения помост, я чертыхался и утопал в песке моими высокими каблуками. Зачем там был песок, я до сих пор не понимаю. Или это была песочница, чтобы в ней играли дети. Но зачем тогда эти железные балки? Или это была стоянка машин, и они во второй слой въезжали на помост. Не знаю. Это навсегда останется тайной, ибо недавно я пытался найти это место, но безуспешно. Может, там что-то перестроили, что невероятно в столь короткий срок, а скорее, я перепутал улицы. Пойду туда еще — как-нибудь поищу, если найду, скажу.

Я по железной лесенке влез на деревянный помост — спустил ноги и сидел на краешке помоста, болтая ногами. Хуля делать, ночь, я ждал приключений и поглядывал по сторонам. Было тихо, хотя откуда-то издалека доносились крики, топот, кто-то кого-то ловил, музыка, шарканье подошв. Я сидел и болтал ногами. Свободная личность в свободном

27 Заказ 773

мире. Можно было совершить что угодно. Зарезать кого-нибудь, к примеру. Все было доступно и просто. Алкоголь выветривался. Свободной личности надоело сидеть на помосте. Она прыгнула вниз. Я прыгнул вниз, в песок.

И тут я увидел Криса. То есть я, конечно, только потом узнал, что его зовут Крис. Прислонившись к кирпичной стене, сидел черный парень. Широкая черная шляпа лежала рядом на песке. Потом я имел время рассмотреть ее, она была украшена темно-зеленой лентой, расшитой золотыми нитками. Вообще, как я потом увидел, он был одет в эти три цвета — черный, темно-зеленый и золотой. Эти цвета включала его жилетка, его брюки, туфли и рубашка. Но, когда я спрыгнул и увидел его перед собой — он предстал мне черным парнем, одетым в черное, — таинственно и холодно сверкавшим мне навстречу глазами.

— Хай! — сказал я.

— Хай! — равнодушно ответил он.

— Меня зовут Эдвард, — сказал я, сделав пару шагов по направлению к нему.

Он издал какой-то ничего не значащий презрительный звук.

— У тебя нет ничего выпить? — спросил я его.

— Фак офф! — сказал он, что значит «отъебись».

Я подумал — интересно, почему он тут сидит, на пьяного или наркомана не похож, нет этой осоловелости, спать если собрался здесь, так вроде на бродягу не похож. Может скрывается от полиции? Я не из тех, кто кого-то выдает. Я бы ему еще и помог спрятаться. Злой он только очень. Я посмотрел на него, сделал несколько шагов по направлению к нему и присел рядом с ним. Он холодно наблюдал

и не двигался. Я, сидя на корточках, заглянул ему в лицо.

Широкий хищный нос, глубоко уходящие ноздри, губы необычайные для черного — строгие и не пухлые, крепкая грудь. Здоровый парень, наверное, если встанет, будет на голову выше меня. Молодой, лет 25—30, не больше. Широкие штанины черных брюк лежат на песке.

— Слушай, как тебя зовут? — сказал я.

Тут уж он не выдержал, видно, я ему крепко надоел со своим разглядыванием и расспросами. Он молча и быстро бросился на меня. Прямо из своей сидячей позиции он метнулся и моментально скрутил меня, через мгновение я уже лежал под ним, судя по всему, он собирался меня придушить, и совсем, не слегка.

Я сразу отказался от борьбы с ним, у меня была слишком невыгодная позиция. Единственное, что я успел сделать, когда он метнулся на меня, это подвернуть правую руку под правое бедро и одновременно подогнул под себя правую ногу. Таким образом, подмятый им, я лежал на правом боку. Это была хорошая хитрость, потому что моя спрятанная кисть свободно проникала в сапог и схватилась за рукоять ножа. «Если он имеет намерение придушить меня совсем — я зарежу его», — подумал я холодно. Он придавил меня всего, но правая рука могла свободно двигаться. Этого он не учел.

Мне не было страшно. Честное слово, совершенно не страшно. Я же говорю, что имел тогда какой-то подсознательный инстинкт, тягу к смерти. Пуст сделался мир без любви, это только короткая формулировка, но за ней — слезы, униженное честолюбие, убогий отель, неудовлетворенный до головокружения секс, обида на Елену и весь мир,

который только сейчас, честно и глумливо похохатывая, показал, до какой степени я не нужен, и был не нужен всегда, не пустые, но наполненные отчаянием и ужасом часы, страшные сны и страшные рассветы.

Этот парень душил меня, это было справедливо, потому что два месяца назад я душил Елену, ведь ничто не должно оставаться безнаказанным, он душил меня, а я не торопился со своим ножом. Может быть, я и не вынул бы его совсем, или вынул, не знаю, но он внезапно ослабил руки, может, гнев его прошел. Мы лежали, задыхаясь, он тоже задыхался от усилий, душить нелегко, я это знаю по себе, не так просто, как кажется.

Пахло сырым песком, шаркали подошвы за оградой, это по улице проходили одинокие ночные прохожие. Внезапно я высвободил свои руки и обхватил ими его спину. «Я хочу тебя, — сказал я ему, — давай делать любовь».

Я не навязывался ему, неправда, все произошло само собой. Я был невиновен, у меня встал хуй от этой возни и от тяжести его тела. Это не была тяжесть Раймоновой туши, природа тяжести этого парня была другая. Я ему сказал: «Давай делать любовь», но он и сам, наверное, понял, что я его хочу, — мой хуй наверняка воткнулся в его живот, он не мог не почувствовать. Он улыбнулся.

— Бэби, — сказал он.

— Дарлинг, — сказал я.

Я перевернулся, приподнялся и сел. Мы стали целоваться. Я думаю, мы были с ним одного возраста или он был даже младше, но то, что он был значительно крупнее и мужественнее меня, как-то само собой распределило наши роли. Его поцелуи не были старческими слюнопусканиями Раймона, теперь я понимал разницу. Крепкие поцелуи силь-

ного парня, вероятно, преступника. Верхнюю губу его пересекал шрам. Я осторожно погладил его шрам пальцами. Он поймал губами и поцеловал мою руку, палец за пальцем, как я когда-то делал Елене. Я расстегнул ему рубашку и стал целовать его в грудь и в шею. Особенно я люблю обниматься, как дети, закидывая руки далеко за шею, обнимая шею, а не плечи. Я обнимал его, от него пахло крепким одеколоном и каким-то острым алкоголем, а может быть, это был запах его молодого тела. Он доставлял мне удовольствие. Я ведь любил красивое и здоровое в этом мире. Он был красив, высок, силен и строен, и наверняка преступник. Это мне дополнительно нравилось. Непрерывно целуя его в грудь, я спустился до того места, где расстегнутая рубашка уходила в брюки, скрывалась под брючный пояс. Мои губы уперлись в пряжку. Подбородок ощутил его напряженный член под тонкой брючной материей. Я расстегнул ему зиппер, отвернул край трусиков и вынул член.

В России часто говорили о сексуальных преимуществах черных перед белыми. Легенды рассказывали о размерах их членов. И вот это легендарное орудие передо мной. Несмотря на самое искреннее желание любви с ним, любопытство мое тоже выскочило откуда-то из меня и глазело. «Ишь ты, черный совсем или с оттенком», — впрочем, не очень хорошо было видно, хотя я и привык к темноте. Член у него был большой. Но едва ли намного больше моего. Может, толще. Впрочем, это на глаз. Любопытство спряталось в меня. Вышло желание.

Психологически я был очень доволен тем, что со мной происходит. Впервые за несколько месяцев я был в ситуации, которая мне целиком и полностью нравилась. Я хотел его хуй в свой рот. Я чувствовал,

что это доставит мне наслаждение, меня тянуло взять его хуй себе в рот, и больше всего мне хотелось ощутить вкус его спермы, увидеть, как он дергается, ощутить это, обнимая его тело. И я взял его хуй и первый раз обвел языком напряженную головку. Крис вздрогнул.

Я думаю, я хорошо умею это делать, очень хорошо, потому что от природы своей я человек утонченный и не ленивый, к тому же я не гедонист, то есть не тот, кто ищет наслаждения только для себя, кончить во что бы то ни стало, добиться своего оргазма и все. Я хороший партнер — я получаю наслаждение от стонов, криков и удовольствия другого или другой. Потому я занимался его членом безо всякого размышления, всецело отдавшись чувству и повинуясь желанию. Левой рукой я, подобрав снизу, поглаживал его яйца. Он постанывал, откинувшись на руки, постанывал тихо, со всхлипом. Может быть, он произносил «О май Гат!»

Постепенно он очень раскачался и подыгрывал мне бедрами, посылая хуй мне глубже в горло. Он лежал чуть боком на песке, на локте правой руки, левой чуть поглаживал мою шею и волосы. Я скользил языком и губами по его члену, ловко выводя замысловатые узоры, чередуя легкие касания и глубокие почти заглатывания его члена. Один раз я едва не задохнулся. Но и этому я был рад.

Что происходило с моим членом? Я лежал животом и членом на песке и при каждом моем движении тер его о песок сквозь тонкие джинсы. Хуй мой отзывался на все происходящее сладостным зудением. Вряд ли я хотел в тот момент еще чего-нибудь. Я был совершенно счастлив. Я имел отношения. Другой человек снизошел до меня, и я имел отношения. Каким униженным и несчастным

я был целых два месяца. И вот наконец. Я был ему страшно благодарен, мне хотелось, чтобы ему было хорошо. Я не только поместил его крепкий и толстый хуй у себя во рту, нет, эта любовь, которой мы занимались, эти действия символизировали гораздо больше — символизировали для меня жизнь, победу жизни, возврат к жизни. Я причащался его хуя, крепкий хуй парня с 8-й авеню и 42-й улицы, я почти не сомневался, что преступника, был для меня орудием жизни, сама жизнь. И когда я добился его оргазма, когда этот фонтан вышвырнул в меня, ко мне в рот, я был совершенно счастлив. Вы знаете вкус спермы? Это вкус живого. Я не знаю более живого на вкус, чем сперма.

В упоении я вылизал всю сперму с его хуя и яиц, то, что пролилось, я подобрал, подлизал и проглотил. Я разыскал капельки спермы между его волос, мельчайшие я отыскал.

Я думаю, Крис был поражен, вряд ли он понимал, конечно, он не понимал, не мог понимать, что он для меня значит, и его поражал энтузиазм, с каким я все это проделывал. Он был мне благодарен со всей нежностью, на какую он был способен, гладил мою шею и волосы, лицом я уткнулся в его пах и лежал не двигаясь, так вот он гладил меня руками и бормотал: «Май бэби, май бэби!».

Слушайте, есть мораль, есть в мире приличные люди, есть конторы и банки, есть постели, в них спят мужчины и женщины, тоже очень приличные. Все происходило и происходит в одно время. И были мы с Крисом, случайно встретившись здесь, в грязном песке, на пустыре огромного Великого города, Вавилона, ей-Богу Вавилона, и вот мы лежали, и он гладил мои волосы. Беспризорные дети мира.

Я никому не был нужен, больше чем за два месяца никто и рукой не прикасался ко мне, а тут он гладил меня и говорил: «Мой мальчик, мой мальчик!». Я чуть не плакал, несмотря на вечный свой гонор и иронию, я был загнанное существо, вконец загнанное и усталое, и нужно мне было именно это: рука другого человека, гладящая меня по голове, ласкающая меня. Слезы собирались, собирались во мне и потекли. Его пах отдавал чем-то специфически мускусным, я плакал, глубже зарываясь лицом в теплое месиво его яиц, волос и хуя. Я не думаю, чтобы он был сентиментальным существом, но он почувствовал, что я плачу, и спросил меня, почему, насильно поднял мое лицо и стал вытирать его руками. Здоровенные были руки у Криса.

Ебаная жизнь, которая делает нас зверями. Вот мы сошлись здесь в грязи, и нам нечего было делить. Он обнял меня и стал успокаивать. Он делал все так, как я хотел, я этого не ожидал. Когда я волнуюсь, у меня поднимаются все волоски на теле, как бы мельчайшие уколы, сотни, тысячи мельчайших уколов поднимают мои волоски, мне становится холодно, и я дрожу. Впервые за долгое время я не относился к себе с жалостью. Я обнимал его за шею, он обнимал меня, и я сказал ему: «Ай эм Эди. У меня нет никого. Ты будешь любить меня? Да? И мы всегда будем вместе? Да?».

Он сказал: «Да, бэби, да, успокойся».

Тогда я оторвался от него, нырнул правой рукой в сапог и вытащил нож. «Если ты изменишь мне, — с еще невысохшими слезами на глазах сказал я ему, — я зарежу тебя!». По слабому знанию английского языка все это звучало очень тарабарски, такая сложная фраза, но он понял. Он сказал, что не изменит.

Я сказал ему: «Дарлинг!».

Он сказал мне: «Май бэби!».

— И мы будем всегда ходить с тобой вместе и не расстанемся, да? — сказал я.

— Да, бэби, всегда вместе, — сказал он серьезно.

Я не думаю, чтобы он врал. У него были свои дела, но я, охуевший от одиночества, ему подходил. Это не значило, что мы навеки соединялись в наших отношениях. Просто сейчас я был ему нужен, я мог бы с ним встречаться, он бы меня ждал в барах или просто на улицах, может быть, и наверняка я принял бы участие в каких-то его делах, возможно, криминальных. Мне было все равно, каких делах, я хотел этого — это была жизнь, я был нужен жизни, пусть такой, да какой угодно, но нужен. Он брал меня, я был совершенно счастлив, он брал меня. Мы разговаривали. Тогда-то я и узнал, что его зовут Крис. Он сказал, что утром мы пойдем к нему, туда, где он живет, но ночь мы должны пересидеть здесь. Я не стал расспрашивать, почему, с меня было достаточно того, что он предложил мне жить у него. Я был, как собака, опять нашедшая хозяина, я перегрыз бы сейчас за него глотку любому полицейскому или кому угодно.

Мы вполголоса беседовали на том же тарабарском языке. Иногда я забывался и начинал говорить по-русски. Он тихонько смеялся, и я тут же научил его нескольким словам по-русски. Это не были, с точки зрения порядочного человека, хорошие слова, нет, это были плохие слова: хуй, любовь и еще что-то в этом же духе.

Мне захотелось его среди этой беседы, я совсем распустился, я черт знает что начал творить. Я стащил с себя брюки, мне хотелось, чтобы он меня выебал. Я стащил с себя брюки, стащил сапоги. Трусы я приказал ему разорвать на мне, мне

хотелось, чтоб именно разорвал, и он послушно разорвал на мне мои красные трусики. Я отшвырнул их далеко в сторону.

В этот момент я действительно был женщиной, капризной, требовательной и, наверное, соблазнительной, потому что я помню себя игриво вихляющим своей попкой, упершись руками в песок. Моя оттопыренная попка, оттопыренности которой завидовала даже Елена, она делала что-то помимо меня, — она сладостно изгибалась, и помню, что ее голость, белость и беззащитность доставляли мне величайшее удовольствие. Думаю, это были чисто женские ощущения. Я шептал ему: «Фак ми, фак ми, фак ми!».

Крис тяжело дышал. Думаю, я до крайности возбудил его. Я не знаю, что он сделал, возможно, он смочил свой хуй собственной слюной, но постепенно он входил в меня, его хуй. Это ощущение заполненности я не забуду никогда. Боль? Я с детства был любитель всевозможных диких ощущений. Еще до женщин, мастурбирующим подростком, бледным онанистом, я придумал один самодельный способ — я вставлял в анальное отверстие всякие предметы, от карандаша до свечки, иногда довольно толстые предметы — это двойной онанизм — хуй и через анальное отверстие был, помню, очень животным, очень сильным и глубоким. Так что его хуй в моей попке не испугал меня, и мне не было больно даже в первое мгновение. Очевидно, я растянул свою дырочку давно. Но восхитительное чувство заполненности — это было ново.

Он ебал меня, и я начал стонать. Он ебал меня, а одной рукой ласкал мой член, я ныл, стонал, изгибался и стонал громче и сладостней. Наконец, он сказал мне: «Тише, бэби, кто-нибудь услышит!».

Я ответил, что я ничего не боюсь, но, подумав о нем, все же стал стонать и охать тише.

Я вел себя в точности так же, как вела себя моя жена, когда я ебал ее. Я поймал себя на этом ощущении, и мне подумалось: «Так вот какая она, так вот какие они!», и ликование прошло по моему телу. В последнем судорожном движении мы зарылись в песок, и я раздавил свой оргазм в песке, одновременно ощущая горячее жжение внутри меня. Он кончил в меня. Мы в изнеможении валялись в песке. Хуй мой зарылся в песок, его приятно кололи песчинки, чуть ли не сразу он встал вновь.

Потом, одевшись, мы устроились поудобнее, чтобы спать. Он занял свое прежнее место у стены, а я устроился возле, положив голову ему на грудь и обняв его руками за шею, — позу эту я очень люблю. Он обнял меня, и мы уснули.

Я не знаю, сколько я спал, но я проснулся. Может, прошел час, может, несколько минут. Было все так же темно. Он спал, дышал равномерно. Я проснулся и больше не мог заснуть. Я принюхивался к нему, разглядывал его и думал.

— Да, несомненно, я неисправим, — думал я. — Если первая моя женщина была пьяной ялтинской проституткой, то мой первый мужчина, конечно же, должен был быть найден мною на пустыре. Ту девицу я отчетливо помню. Она подобрала меня летней ночью на автовокзале в Ялте. Ей понравился смазливый мальчик, дремавший на лавке со своим другом. Она подошла ко мне, разбудила и нагло увела в скверик за автовокзалом, там она спокойно легла на лавку, была она под платьем голой. Я помню солоноватый вкус ее кожи и еще мокрые волосы — она только что искупалась в море, помню ее поразившую меня очень крупную пизду со многими складками, всю как бы текущую слизью, ведь

ей хотелось мальчишку, она ебала меня не за деньги, а по желанию. Южные запахи, жирная южная ночь сопровождали мою первую любовь. Наутро мы с приятелем уехали из Ялты.

Судьба подсмеивается надо мной. Теперь я лежу с уличным парнем. Годы не внесли в меня существенных изменений. «Босяк как есть босяк», — подумал я с удовольствием о себе, и опять стал разглядывать Криса. Он пошевелился, как бы ощущая мой взгляд, но потом опять застыл во сне.

Косые блики света от ближнего фонаря кое-где пробивались сквозь железные переплетения помоста. Пахло бензином, я был спокоен и удовлетворен, к ощущению довольства и спокойствия примешивалось чувство достигнутой цели. «Ну вот и стал настоящим педерастом, — подумал я и слегка хихикнул. — Не испугался, переступил кое в чем через самого себя, сумел, молодец, Эдька!». И хотя в глубине души я знал, что я не совсем свободен в этой жизни, что до абсолютной свободы мне еще довольно далеко, но все же шаг и какой огромный по этому пути был мною сделан.

Я ушел от него в 5.20. Так показывали часы, которые я увидел, выбравшись на улицу. Я обманул его, ушел тихо, как вор, не разбудив его, соскользнув с его груди. Зачем я это сделал? Не знаю, может быть, я боялся дальнейшей жизни с ним, не сексуальных отношений, нет, может быть, я боялся чужой воли, чужого влияния, подчинения меня ему. Может быть. Неосознанное, но довольно сильное чувство двигало мной, когда я обманом вылез из его объятий и, озираясь на него, искал свои железные очки и ключ от номера в отеле. Раза два мне показалось, что он смотрит, но он спал. Я чудом разыскал в песке очки, тогда я еще носил очки, но это меня мало портило, все равно я выглядел

забубенной личностью, Эдичкой, охуевшим человеком. Я отыскал очки, кое-как выполз на улицу и зашагал прочь с каким-то странным, доселе незнакомым удовольствием, покидая Криса и наши будущие отношения, которые, возможно, были одним из вариантов моей судьбы.

Я шел и отряхивался. В волосах у меня был песок, в ушах песок, в сапогах песок, везде был песок. Блядь возвращалась с ночных похождений. Я улыбался, мне хотелось крикнуть жизни: «Ну, кто следующий!». Я был свободен, зачем мне нужна была моя свобода — я не знал, куда нужнее мне тогда нужен был Крис, но я вопреки здравому смыслу уходил от него. Выйдя на Бродвей, я заколебался было, но всего мгновение, и снова решительно зашагал в сторону Иста.

Спустя пару недель я уже буду проклинать себя за то, что ушел от него, мутная тишина и одиночество снова надвинутся на меня, снова будет мучить образ злодейки Елены, и уже в конце апреля будет у меня припадок, сильнейший, страшный припадок ужаса и одиночества, но тогда, придя в отель и спросив второй ключ, и поднявшись на свой этаж, и бросившись устало в постель, я был счастлив и доволен собой, так же, как и на следующее утро, когда, проснувшись, лежал с улыбкой и думал о том, что, конечно, я единственный русский поэт, умудрившийся поебаться с черным парнем на нью-йоркском пустыре. Блудливые воспоминания о Крисе, сжимавшем мою попку, и его утихомиривающий мои стоны шепот: «Тэйкит изи, бэби, тэйкит изи», — заставили меня радостно расхохотаться.

ЕВГЕНИЙ ХАРИТОНОВ

Е. Харитонов (1941–1981) – русский поэт, драматург, актер, режиссер. При жизни не опубликовал ни строчки своих произведений. Проникновенный лирик, оригинальный стилист, строивший свои произведения так, что они создавали иллюзию подлинного документа.

ОДИН ТАКОЙ, ДРУГОЙ ДРУГОЙ[1]

В мастерскую по ремонту автомобилей пришел клиент поменять на своей машине помятую заднюю часть. Сильный рабочий раскрутил для проверки колеса, они откинули другого, кто там работал, физически слабого рабочего, но не настолько, чтобы расшибить. Сильному того было и надо, чтобы заказ этот целиком пошел ему. А клиент, пока сильный чинит, достал из кармана от нечего делать миниатюрный автомобиль и стал вертеть в руках, подарок, может быть, своему малышу. Слабый попросил его у него посмотреть пока сильный делает кузов, и моментально приладил к игрушке ювелирный моторчик размером с мандавошку. Но уж после этого не мог с ней расстаться и решил бежать от них хоть куда. Там был спуск в нижние коридоры под бомбоубежище, как в больнице на ул. Карбышева, и один из тупиков сходился в конце концов с подвальными помещениями жилого дома, где денежный жилец первого этажа вырыл из кухни яму под фотолабораторию. В этот момент жилец отогревался в ванной, думал звонить молодому человеку, известней и моложе Гены Бортникова, с длинными волосами и от чьего имени у многих

---

1 Сохраняется авторская орфография и пунктуация.

девушек останавливается дыхание. На вечерах в школах разыгрывается приз, кто выиграет, того при всех поцелует кумир, специально вывезенный в мороз на такси. Он по-братски обнимет и поцелует того, кто вытянет счастливый фант, подарит с себя нательную майку, но для этого надо хорошо учиться во всех четвертях, на медаль. Жилец вышел из ванной ему звонить, а слабый рабочий вышел через фотолабораторию в квартиру этого жильца и скорей, не раздумывая, спрятался в ванную от сильного рабочего и клиента и согреться после бомбоубежища. Те схватили бы его, но домработница подошла к нему потереть спину, не разобрала, что это уже не хозяин, сильный рабочий с клиентом подумали это они ошиблись, и схватили на кухне хозяина, он был похож на слабого рабочего, побили и потащили через фотолабораторию и бомбоубежище. Слабый рабочий зажил в квартире как хозяин. Безделушку с приделанным моторчиком отдал домработнице в подарок ее малышу. Домработница была приходящая, ей разрешалось ездить домой на хозяйской машине. Она за баранкой вынула из сумочки подарок малышу полюбоваться, другая рука соскользнула, настоящая машина стукнулась, и помялся кузов. Теперь и ей надо было ехать в мастерскую ремонта, где работал сильный рабочий, но ему помогал уже другой физически слабый рабочий, и не тот жилец, которого схватили по ошибке, просто совсем новый слабый рабочий. И тоже, пока сильный чинил ей кузов, а домработница вертела в ожидании в руках миниатюрную игрушку, новый слабый рабочий попросил у нее посмотреть и моментально что-то приладил, дистанционное управление. Но домработница не дала ему убежать, как сделал тот, кто стал хозяином квартиры, а скорее усадила в исправленную машину и повезла знакомить с хозяином, то есть с тем, который был первым слабым рабочим;

но это забыто. Они втроем выпили за знакомство, ели деликатесы, и домработница, пьяная, была бестактна с этим новым слабым рабочим, болтала в глаза что попало, но слабый рабочий и не принимал во внимание, привык такие вещи не замечать. Но отвечать достойно как умеют другие, без срыва, не научился. То домработница, то хозяин как попало заводили машинку, а она сорвалась с управления и изранила как человек в отместку сначала хозяина, домработница пьяная за это накинулась на слабого рабочего, и машинка изранила ее всю так, что их с хозяином отвезли в больницу. На Карбышева. Теперь уже этот новый слабый рабочий остался за хозяина квартиры и все увлекательные знакомства и связи того перешли к нему. А еще в недавней безвестности он много думал и любил до смерти того кумира девочек и мальчиков, кому еще самый первый хозяин квартиры шел звонить из ванной, и давно стремился к кумиру попасть. Он позволял себе, еще в былой безвестности, раз может быть в два-три года послать кумиру обдуманное письмо с надеждой, восхищаясь его красотой и дерзостью. И как только сам теперь чуть расцвел в квартире и со знакомствами, к нему стал заходить для вида напускающий на себя развязность, на самом деле бедный и привязчивый молодой человек, готовый беспредельно любить молодого человека-хозяина. Но тот с давних пор думал о кумире. В недавней безвестности считал каждую редкую удачную встречу с молодыми людьми за подарок, а теперь к нему, когда он хочет и не хочет, мог приходить этот трогательный привязчивый напускающий на себя развязность молодой человек, ужасно, жопа тощая, ноги слабые в штанах болтаются, и молодой человек, держащий в голове кумира, любил ему рассказывать, как он любит о кумире думать. Он стал просить привязчивого молодого человека познакомиться с

кумиром, раз привяз. мол. чел. любил хвалиться, что ему ничего не стоит познакомиться и заинтересовать собой кого угодно. Привязч. м. ч. первое время только обещал, вернее, пренебрежительно хвалился, что ему ничего не стоит. Но потом, за недостаточное внимание к нему мол. чел. с кум. в голове, прив. м. ч. действительно завязал знакомство с кумиром. Мол. чел. с к. в г. стал выпытывать у п. м. ч. подробности о к. Прив. м. ч. сердился, что он интересует м-го ч-ка с к. в г. лишь как средство попасть к к. М. ч. с к. в г. упрашивал, упрашивал сводить его к к., но п. м. ч. не хотел, вернее всего не мог. Вряд ли у него могло завязаться с к. настолько простое знакомство, чтобы звонить когда угодно и приходить. Наконец, мчсквг выпытал от пмч засекреченный на 09 телефон к., решился и сам позвонил. И вдруг кумир здоровается с ним просто как с хорошим знакомым и разрешил к себе прийти. Молодой человек с кумиром в голове на всякий случай застраховался: оставил у себя под домом ключ с запиской для молодого человека, но не для бедного привязчивого, а для совсем другого с которым недавно познакомился в чинных обстоятельствах и про которого было неясно, как себя с ним вести. И вот молодой человек с кумиром в голове как в редком сне сидит напротив кумира у кумира на квартире, выпивают и заедают, и когда кумир вышел пописать, мол. чел. с ним в уме звонит домой сказать неясному молодому человеку, если тот пришел, чтобы дожидался, не уходил. Мол. чел. с кум. в голове не смел надеяться на невероятное — что у кумира можно будет еще и посидеть и даже, на что совсем нельзя надеяться, можно будет совсем не уходить. Но при таком обороте и не стоит предупреждать по телефону неясного мол. человека — пусть сидит дожидается в неясности там в квартире, и это хорошо на

будущее: неясный молодой человек приехал, ждет, хозяина нет, и от этого только больше будет дорожить шансом встречи с таким непостоянным в своем слове хозяином. Неуловимое любим. Если же, разбирался мол. чел. с кумиром в уме у кумира на квартире, я не задержусь у кумира, конечно не задержусь, только так и надо думать, потому что если так думать если твердо считать не задержусь, жизнь может сделать наоборот, она любит делать наоборот, а если хитрить, думать не задержусь, нарочно чтобы жизнь сделала наоборот, жизнь догадается и все равно перехитрит, сделает так, как ты думал, потому что в глубине-то ты думал не так. Итак, я здесь не задержусь. Но я уже получил сверх ожидания. Побыл здесь, а не надеялся. То есть в глубине надеялся и, значит не надеялся, зная, что жизнь, за то что я надеюсь, в глубине, сделает, чтобы я здесь не побывал. Но она, любя свою непредсказуемость, зная, что я не надеюсь, потому что надеюсь в глубине и уж знаю, что она за это должна сделать наоборот, сделала наоборот-наоборот. Я здесь побывал-побывал. А теперь, когда вернусь домой, не надо будет без конца перебирать в уме, все, что сейчас было, обстановку, слова, не веря что было: дома новая новость, неясный молодой человек, и что-то еще будет. И тут у кумира может быть еще будет так, что лучше не думать, а то не будет. И там дома замечательная неясность, а не такая ясность, что ничего не будет. Молодой человек с кумиром в голове звонит неясному молодому человеку, чтобы дожидался, и через гудки слышит с того конца простые слова любви. У него сердце подлетело. Он еще только думал о том молодом человеке как о неясном, как тот, не думая сам. В этот момент в комнату возвращается кумир и говорит: это я тебе сказал слова любви. У молодого человека с кумиром в голове помутилось в уме. Не может быть. Но

видит, что так и было: кумир говорил из другой комнаты со сдвоенного аппарата. Потому слова слышались на гудках. А там дома просто никто трубку не брал. То, на что нельзя было надеяться ни в глубине, никак. Кумир сам. Жизнь сделала не так, как не надеялся. Друг приехал к другу на машине и тот вывел собственную машину из гаража, чтобы друг поставил туда свою, а сам вышел ночевать на улицу. А там, в квартире самого молодого человека с кумиром в уме неясный молодой человек ждал-ждал, пошел в ванную погреться и слышит звонят. Он побежал голый к телефону. В этот момент снизу из фотолаборатории опять вырвался слабосильный рабочий, уже совсем новый, а за ним как в те разы за теми сильный рабочий с клиентом. Совсем новый рабочий тоже как прежние кинулся в ванную прятаться, но домработницы уже не было, никто не подошел тереть спину, никто не запутался, сильный рабочий с клиентом схватили того, за кем гнались, то есть этого рабочего. А неясный молодой человек вернулся в ванную и так и не узнал, что в ванной только что побыл другой, а его могли ни за что словить. Он взял трубку, когда на том конце молодой человек с кумиром в уме уже ее повесил, услышав не от него слова любви. И вот когда молодой человек с кумиром в голове там, у кумира на квартире, дожил до своего часа. Кумир просто так кинул счастливый фант. Только так он и понимал что это так, игра, как человеку пойти за ягодами и ничего нет, и вдруг поляна, и вы берете берете берете, но если забыть, что только что ничего не было, и считать, что так, как стало, это в порядке вещей, поляна возьмет и исчезнет. Не надо слишком горячиться ловить и срывать, а то кумир заскучает совсем. Неуловимая зависимость, чем вы с большим рвением, тем к вам слабее интерес. Одному то, что здесь происходит,

сон, другому в порядке вещей. И чтобы как-нибудь себя развлечь, тот должен над этим потешаться, например, приказывает раздеться, осматривает, говорит годится и велит залезть к себе в постель, а сам нарочно звонит знакомым девушкам, как будто хочет ехать к ним. Если резко повести себя в ответ и не на шутку одеться, чтобы кумиру был интерес задерживать не пускать, мало ли, игра зайдет далеко и кумир спокойно даст уйти. Наконец кумиру самому надоело вести себя то так, то так. Он сам разделся и лег вместе, молодой человек выдернул свет над кроватью, чтобы кумир не нашел в нем при свете изъянов. Кумир сам его обнял и прижал к себе. Молодой человек ему рубашечку расстегнул, все пуговицы донизу, а кумир помог расстегнуть себе рукава. Молодой человек прижался к нему как мог задрожал на груди, кумир сказал какой нервный, сердце у тебя бьется как воробей. Молодой человек сам снял с него шерстяные плавки и расцеловал его всего, кумир сказал ему ну ладно спать спать спать и отделил от себя рукой. А молодой человек так долго невозможно кумира любил, что у самого даже хуй на него не шевельнулся как на девушку, и чем сильнее он на это обращал внимание, тем больше хуй был как мертвый. А это было бы в самую точку крепко и просто с кумиром, как солдат с девкой, в предстательную железу, хотя и тот хорохорился при свете наоборот, и наоборот молодому человеку следовало вести себя, как тому хотелось. Под утро он как можно раньше оделся умылся просмотрел альбом с фотографиями и пожеланиями, спустился в магазин купил кумиру молока поцеловал на прощанье и пшел вон.

ПРИМЕЧАНИЯ

ХАРИТОНОВ Е.	Листовка. – Печ. по: Евг. Харитонов. Слезы на цветах // Глагол. 1993. № 10 (1).
РОЗАНОВ В.	Люди лунного света //Розанов В. В. Соч. Т. 2. М. Правда. 1990. С. 26–27, 28–30.
АНАКРЕОНТ	О дитя с взглядом девичьим. – Печ. по: Античная лирика. М. 1968.
САПФО	Стихи. – Печ. по: Сапфо. Лирика. – Кемерово. 1981.
КСЕНОФОНТ	Пир. – Печ. по: Ксенофонт Афинский. Сократические сочинения. – М. – Л. 1935.
ПЛАТОН	Душу свою на губах я почувствовал; Астеру; Стоило мне лишь однажды. – Печ. по: Античная лирика. М. 1968.
	Пир; Федр. – Печ. по: Платон. Соч. В 3-х тт. Т. 2. М. 1970.
ФЕОКРИТ	Дафнис, ты дремлешь. – Печ. по: Античная лирика. М. 1968.
СТРАТОН	Разновидности членов //Древнегреческая застольная, шутливая и эротическая эпиграмма. В переводах Е. В. Свиясова. СПб. Гуманитарное агентство «Академический проект». 1997. С. 102.
	Эпизод в бане //Там же. С. 105.
	Поцелуй юноши //Там же. С. 105.
	Приобщение к любви //Там же. С. 107.
ЦИЦЕРОН	О дружбе. – Печ. по: Цицерон Марк Туллий. О старости, о дружбе, об обязанностях. М. 1975.
КАТУЛЛ	Стихи. – Печ. по: Катулл, Тибулл, Проперций. М. 1963.
ТИБУЛЛ	Стихи. – Печ. по: Катулл, Тибулл, Проперций. М. 1963.
ПРОПЕРЦИЙ	Часто твоя госпожа. – Печ. по: Катулл, Тибулл, Проперций. М. 1963.
СЕНЕКА	О смерти друга. – Печ. по: Античная лирика. М. 1968.

ПЕТРОНИЙ	Сатирикон; Когда лобзал я мальчика. — Печ. по: Петроний Арбитр. Сатирикон. — М.—Л. 1924.
АХИЛЛ ТАТИЙ	Левкиппа и Клитофонт. — Печ. по: Библиотека всемирной литературы. Серия первая, т. 7. М. 1968.
ЛУКИАН	Разговоры богов; Две любви. — Печ. по: Лукиан из Самосата. Избранные произв. — М. 1962.
МИКЕЛАНДЖЕЛО	Стихи, посвященные Томмазо Кавальери. — Печ. по: А. М. Эфрос. Микеланджело Буонаротти. Жизнь и творчество. — М. 1964.
МАНН Т.	Эротика Микеланджело. — Печ. по: Манн Т. Собр. соч. В 10 тт. Т. 10. М. 1961.
МОНТЕНЬ	О дружбе. — Печ. по: Монтень М. Опыты. Кн. 1. М. 1979.
ШЕКСПИР	Сонеты. — Печ. по: Шекспир У. Избранные произв. — Л. 1975.
УАЙЛЬД	Портрет мистера W. H. — Печ. по: Уайльд О. Полн. собр. соч. Изд-во А. Ф. Маркса. Т. 3. СПб. 1912.
ДИДРО	Монахиня. — Печ. по: Д. Дидро. Избр. атеистические произв. — М. 1956.
ДЕ САД	Философия в будуаре. — Печ. по: Маркиз де Сад. Философия в будуаре. МП «Проминформ». М. 1992.
	120 дней Содома. — Печ. по: Маркиз де Сад. 120 дней Содома. М. 1993.
ГЕЛЬДЕРЛИН	Сократ и Алкивиад. — Печ. по: Фридрих Гельдерлин. Гиперион. Стихи. Письма. — М. 1988.
ЛЕРМОНТОВ	Разлука. — Печ. по: Лермонтов М. Ю. Соч. Т. 1. М. 1988.
	К ***. — Печ. по: Михаил Лермонтов. Юнкерские стихотворения // Барков и Барковиана. Русская эротическая поэзия. ТОО «Рондо»: СПб. 1992.
УАЙЛЬД	Портрет Дориана Грея. — Печ. по: О. Уайльд. Полн. собр. соч. Изд-во А. Ф. Маркса. Т. 1. СПб. 1912.

РОЛЛАН	Жан Кристоф. — Печ. по: Р. Роллан. Собр. соч. В 9 тт. Т. 1. М. 1974.
ЗИНОВЬЕВА-АННИБАЛ	Тридцать три урода. — Печ. по: Л. Д. Зиновьева-Аннибал. Тридцать три урода. — Изд-во «Оры». СПб. 1907.
ГЕОРГЕ	О, больше не могу я длить прощанье. — Печ. по: Немецкие поэты в переводах Владимира Эльснера. — М. 1913.
ЖИД	Фальшивомонетчики. — Печ. по: Андре Жид. Фальшивомонетчики. — М. 1990.
КУЗМИН	Стихи из циклов «Сети» и «Осенние озера». — Печ. по: М. Кузмин. Избранные произв. М. 1990; Стихи из цикла «Занавешенные картинки». — Печ. по: М. Кузмин. Занавешенные картинки. — Амстердам. 1920.
ПРУСТ	Содом и Гоморра. — Печ. по: М. Пруст. Содом и Гоморра. — М. 1987.
МОЭМ	Театр. — Печ. по: Уильям Сомерсет Моэм. Малый уголок. Театр. — Минск. 1980.
ДАНИЛОВСКИЙ	Мария Магдалина. — Печ. по: Г. Даниловский. Мария Магдалина. — М. 1990.
МАНН Т.	Тонио Крёгер. — Печ. по: Т. Манн. Соч. В 10 тт. Т. 7. — М. 1960. Волшебная гора. — Печ. по: Т. Манн. Собр. соч. В 10 тт. Т. 3. — М. 1959. Признание авантюриста Феликса Круля. — Печ. по: Т. Манн. Признание авантюриста Феликса Круля. — М. 1957. Смерть в Венеции. — Печ. по: Т. Манн. Собр. соч. В 10 тт. Т. 7. — М. 1960. Карлу Марии Веберу. — Печ. по: Манн Т. Письма. — М. 1975.
ЦВЕЙГ СТ.	Смятение чувств. — Печ. по: Ст. Цвейг. Собр. соч. Изд. З. Т. З. — Кооперативное изд-во. Б/г.
ПЕССОА	Антиной. — Печ. по: Ф. Пессоа. Лирика. — М. 1989.
ИВНЕВ	Стихи. — Печ. по: Р. Ивнев. Избранное. — М. 1988.

ЕСЕНИН	Прощание с Мариенгофом; До свиданья, друг мой, до свиданья. — Печ. по: Есенин С. Собр. соч. В 3 тт. Т. 1. — М. 1973.
ПАРАНДОВСКИЙ	Король жизни. — Печ. по: Ян Парандовский. Избранное. — М. 1981.
КЁППЕН	Смерть в Риме. — Печ. по: Вольфганг Кёппен. Смерть в Риме. — М. 1980.
УИЛЬЯМС Т.	Однорукий //Теннеси Уильямс. Желание и чернокожий массажист. М., издательская группа «Прогресс» «Гамма». 1993. С. 267—282.
ПРАТОЛИНИ	Квартал. — Печ. по: Васко Пратолини. — Квартал. — М. 1962.
КОРТАСАР	Выигрыши. — Печ. по: Хулио Кортасар. Избранное. — М. 1971.
БОЛДУИН ДЖ.	Комната Джованни. — Печ. по: Джеймс Болдуин. Комната Джованни //Глагол. Литературно-художественный журнал. 1992. № 15.
ЭКО	Имя розы. — Печ. по: Умберто Эко. Имя розы. — М. 1989.
ЛИМОНОВ	Это я — Эдичка. — Печ. по: Лимонов Э. Это я — Эдичка. — Глагол, 1990, № 1.
ХАРИТОНОВ Е.	Один такой, другой другой. — Печ. по: Харитонов Е. Слезы на цветах //Глагол. 1993. № 10 (1).

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ

Антология шедевров мировой литературы

Издательство «КЭТ»

ЛР № 734-Р от 12.03.92 г.

Оригинал-макет изготовлен ООО «Фирма КОСТА»

Формат 84 × 108$^{1}/_{32}$. Бумага офсетная.
Гарнитура Кудряшовская. Печать офсетная.
Заказ 773 . Тираж 2000 экз.
Сдано в набор 22.10.97 г. Подписано в печать 24.11.97 г.

Отпечатано в ОАО ПП-3. 191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 55



24, KARAVANNAYA STR.

☎ 315—380/3900

13.00 — 01.00
LUNCH & DINNER

Menu Highlights

APPETIZERS

"Tenderness" Salad ($4.00) • Salted Salmon ($6.00) • Bliny Leontyev With Raw Mushrooms ($6.00)

ENTREES

Hussar's Sturgeon ($19.00) • Fried Perch ($9.00) • "Roman" Schnitzel ($6.00)

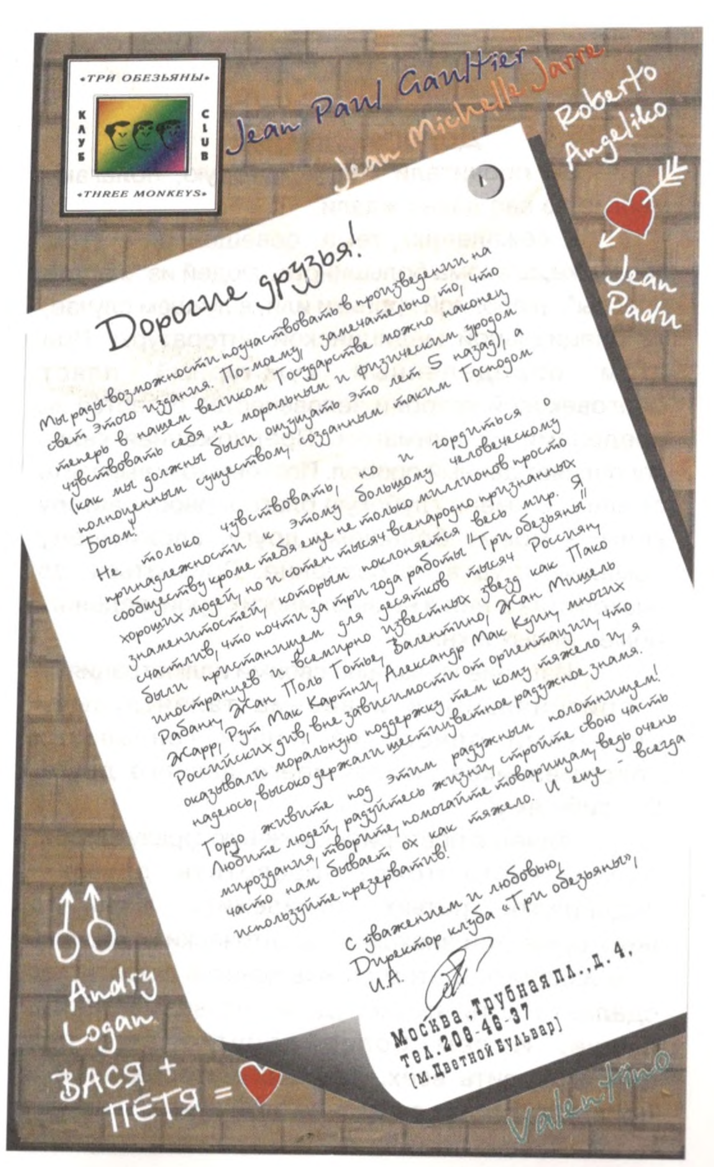
DESSERTS

"Cat" Dessert ($5.00)

ПРЕЛЕСТНЫЙ РЕСТОРАНЧИК «КЭТ» ИЗВЕСТЕН ГРОМКИМИ именами посетителей. Уверяют, что Мстислав Ростропович, гостивший в Петербурге 5 дней, ужинал здесь четырежды. Хозяин ресторана граф Сергей Осинцев с удовольствием показывает автографы многочисленных знаменитостей с наилучшими пожеланиями. Интересно, что же больше привлекает публику? Уют? Или отменная кухня, экологически чистые продукты для которой привозят из карельских владений графа?

THE LIST OF GUESTS SPEAKS FOR ITSELF. MSTISLAV Rostropovich, for example, has dined here on four occasions. Cont Sergei Osintsev, the owner, will delight in showing you the autographs and best wishes of all the big names he has welcomed. You only wonder what the key to the restaurant's success actually is — its warmth, or the splendid dishes, prepared from ecologically pure products from the count's own Karelian estate.


Club 69



Дорогие друзья!

Мы рады возможности поучаствовать в произведении на свет этого издания. По-моему, замечательно то, что теперь в нашем великом Государстве можно наконец чувствовать себя не моральным и физическим уродом (как мы должны были ощущать это лет 5 назад), а полноценным существом, созданным таким Господом Богом!

Не только чувствовать, но и гордиться о принадлежности к этому большому человеческому сообществу, кроме тебя еще не только миллионов просто хороших людей, но и сотен тысяч всенародно признанных знаменитостей, которым поклоняется весь мир. Я счастлив, что почти за три года работы "Три обезьяны" были пристанищем для десятков тысяч Россиян, иностранцев и всемирно известных звезд как Пако Рабанн, Жан Поль Готье, Валентино, Жан Мишель Жарр, Рут Мак Картни, Александр Мак Куин, многих Российских див, вне зависимости от ориентации, что оказывали моральную поддержку тем кому тяжело и я надеюсь, высоко держали шестицветное радужное знамя.

Гордо живите под этим радужным полотнищем! Любите людей, радуйтесь жизни, стройте свою часть мироздания, творите, помогайте товарищам, ведь очень часто нам бывает ох как тяжело. И еще - всегда используйте презервативы!

С уважением и любовью,
Директор клуба «Три обезьяны»,
И.А.

Москва, Трубная пл., д. 4,
тел. 208-46-37
[м. Цветной Бульвар]

ОТ ПРОДЮСЕРА

Дорогие друзья!

Вы прочитали книгу, которую, полагаю, многие из вас давно ждали.

К сожалению, тема, освещенная в этом сборнике, знакома большинству людей из “желтой прессы”, уголовной хроники или, в лучшем случае, из специальной медицинской литературы. При этом определенный культурный пласт многовековой истории человечества остается за пределами их внимания. Предложенная книга восполняет данный пробел. Поэтому хочу выразить от вашего имени глубокую благодарность автору книги - моему большому другу, вложившему немалый труд в ее создание. Признаться, до знакомства с ней я не знал многих произведений, помещенных в книге.

Издание уникально своими иллюстрациями - оригинальными и весьма талантливыми рисунками одного из наших гениальных современников, также моего давнего друга. Спасибо ему!

Хочется повторить ключевую фразу автора: “Одних книга может просветить, других - поддержать, третьих - обнадежить”. Жаль, что некоторые мои знакомые скептически отнеслись к ее изданию. В этом случае хочется сказать: так сделайте хоть что-нибудь и, по-возможности, лучше. И тем более приятно еще раз поблагодарить всех, внесших материальный и моральный вклад в издание этой книги.

Желаю всем читателям крепкого здоровья и большой любви.

